

РЮРИКОВИЧУ

ЕВПРАКСИЯ



РЮРИКОВИЧИ

ЕВПРАКСИЯ



РЮРИКОВИЧИ



ЕВПРАКСИЯ
ВСЕВОЛОДОВНА
1069 — 1109



ЕВПРАКСИЯ



Михаил Казовский

МЕСТЬ АДЕЛЬГЕЙДЫ

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН



Москва
Астрель
Транзиткнига
2005

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
К 14

Оформление
В. И. Харламова

Казовский, М. Г.
К 14 Евпраксия: Месть Адельгейды: ист. роман / Михаил Казовский. — М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2005. — 428, [4] с.: ил. — (Рюриковичи).

ISBN 5-17-029191-4 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 5-271-12320-0 (ООО «Издательство Астрель»)

ISBN 5-9578-2239-6 (ООО «Транзиткнига»)

О жизни и судьбе Евпраксии (1069—1109), дочери великого киевского князя Всеволода Ярославича, ставшей германской императрицей Адельгейдой, рассказывает новый роман современного писателя М. Казовского.

УДК 821.161.1-311.6
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Подписано в печать 20.06.2005. Формат 84 x 108 ¹/₃₂.
Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная. Усл. печ. л. 23,52
Тираж 5000 экз. Заказ № 333.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.02.953.Д.001056.03.05 от 10.03.2005 г.

ISBN 5-17-029191-4
(ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 5-271-12320-0
(ООО «Издательство Астрель»)
ISBN 5-9578-2239-6
(ООО «Транзиткнига»)

© Казовский М. Г., 2005
© ООО «Издательство Астрель», 2005

ISBN 5-17-029191-4



9 785170 291915



*Из книги В. В. Богуславского,
В. В. Бурминова «Русь Рюрико-
вичей. Иллюстрированный ис-
торический словарь». М., 2000 г.*



Евпраксия Всеволодовна (1069 – 1109) — германская императрица, дочь великого князя Киевского Всеволода Ярославича. Просватанная еще девочкой (1083) за маркграфа Штаденского (в Северной Саксонии) Генриха Длинного, юная Евпраксия Всеволодовна прибыла в Германию и до 1086 года воспитывалась в монастыре. Достигнув брачного возраста, была обвенчана с маркграфом, но вскоре овдовела и вернулась в монастырь. В молодую вдову влюбился император Генрих IV, и в 1089 году она вышла за него замуж, став императрицей Адельгейдой. Этим браком Генрих IV преследовал двоякую цель: найти поддержку в лице могущественного киевского князя и примириться с саксонскими маркграфами. Расчеты Генриха не оправдались, что вызвало его ненависть к Евпраксии Всеволодовне. Она подверглась оскорблениям и издевательствам со стороны мужа и его придворных, стала причиной ссоры Генриха с сыном Конрадом, осуж-

давшим насилие отца над мачехой. Не выдержав атмосферы германского двора, Евпраксия Всеволодовна бежала к Папе Урбану II. Дело Евпраксии Всеволодовны было передано на рассмотрение церковных соборов в Констанце и Пьяченце. Соборы осудили поведение Генриха IV, что ускорило его поражение в борьбе с Папой. Оправданная, Евпраксия Всеволодовна развелась с мужем и уехала (1097) в Венгрию, а оттуда — на родину. В 1106 году постриглась в одном из киевских монастырей.

Михаил Казовский

МЕСТЬ АДЕЛЬГЕЙДЫ

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН





Киев, 1106 год, лето

есть о смерти тысяцкого¹ Яна Вышатича прибыла с монахом, посланным от игумена Печерской обители. Инок, стоя во дворе, потный, жалкий, кланялся и крестился, а великая княгиня, сидя на крыльце за столом и потягивая прохладный кумыс, подставляла лицо дуновениям, шедшим от опахала, слушала бесстрастно. Да чему ж удивляться? Удивительно не то, что Вышатич умер, а, наоборот, как ему посчастливилось дотянуть до своих девяноста лет! Прямо-таки библейский возраст. При его-то жизни, полной войн, погонь и опасностей! Человек был неглупый, сильный, не слезал с коня до последних дней. Царствие ему Небесное!

Вестник, поклонившись, спросил:

— Что сказать их высокопреподобию? Ожидать ли тебя, свет мой, матушка, на похоронах?

А великая княгиня ответила с сильным половецким акцентом:

— Нет, не ждать-пождать, голёва болеть. Плякать не хотеть. — И, подумав, добавила: — Я Опраксушке повелеть сказать. Может приходить.

— И на том спасибо. Мы княжну Евпраксею свет Всеволодовну любим всей душою, страстотерпицу нашу. Мученицу, голубушку...

— Замолкать, чернец! — отмахнулась от него бархатным платочком княгиня. — Вон ступать!

Продолжая кланяться, нарочный попятился к выходу.

Этот разговор состоялся во дворце вдовствующей великой княгини в Вышгороде — в нескольких верстах к северу от Киева. Дочку половецкого хана Осеня, о пятнадцати годах от роду, выдали ее за великого князя Киевского Всеволода Ярославича и, крестив, дали имя Анна. Родила от супруга княгиня трех детей. Прожила среди русских больше полувека, но язык в совершенстве так и не осилила. Да и многие ханские обычаи сохранила: поднималась поздно, была холопок по щекам за малейшую провинность, обожала кумыс и катык, конные прогулки верхом и протяжные половецкие песни, исполняемые под комуз² специально обученной девушкой. Говорила всегда с некоторой брезгливостью, выворачивая и кривя нижнюю губу. И практически никогда не плакала, даже на отпеваниях мужа и сына, что произошли тринадцать лет назад, чуть ли не одно за другим.

После смерти князя Анна переехала из Киева в Вышгород. И жила здесь со своей старшей дочерью — Евпраксией (в обиходе — Опраксой, или просто Ксюшей). Та была затворницей, появлялась на людях редко и всегда опускала черный плат на глаза, чтоб ее меньше узнавали. Но народ узнавал всегда и показывал пальцами. Говорил вполголоса: «Ишь, пошла, пошла — сука-волочайка!» И смеялся зло. А когда кто-нибудь незнающий, из приезжих, недоумевал: «Да за что же вы хулите столь пригожую молодую скромницу?» — киевляне скалились: «Скромницу? Конечно!» — и подмигивали похабно. Страшную историю Евпраксии знали многие. Но, как всякие рассказы,

от бесчисленных повторений обрастала она несуразицами и бреднями. Даже повторять совестно.

А когда мать-княгиня за вечерней трапезой сообщила дочери о кончине Яна Вышатича, та чуть слышно охнула и нечаянно пролила на колени щи. Подняла глаза, полные тоски и страдания:

— Господи, помилуй! Как сие прискорбно! Я его любила. — Вытащив платок из левого рукава, промокнула закипевшие слезы. Тяжело вздохнула: — Помнишь, маменька, он возглавил свадебный поезд мой в Неметчину?

— Помнишь, помнишь, — подтвердила княгиня.

— И к подружке моей, Фекле-Мальге, собственной племяннице, относился по-доброму. Разрешил нам поехать вместе.

— Помнишь, помнишь, — повторила родительница. — Как там есть Мальга? Жив ли, нет ли?

— Сказывали, в здравии. Родила четверых детишек. И совсем онеметчилась, с нашими купцами-гостями знаться не желает.

— Вах, вах, вах, это непорядок. Род свой забывать плёх. Я не забывать. Я куманка есть, половка-куманка. Мой народ велик! Киевский народ тож велик! Забывать плёх.

Евпраксия слушала мать невнимательно, думая о своем. Вспоминала прошлое. Столь уже далекое, но всплывавшее в памяти отчетливо, словно это было вчера. Ян Вышатич, свадебный поезд, незнакомые города и веси, страх в душе и веселое щебетание Феклы-Мальги над ухом... Да, подруга теперь — маркграфиня³ фон Штаде. А она, Опракса, брошенная всеми, жалкая и не нужная никому, кроме близких женщин — матери, сестры и приемной дочери, — прозябает в Вышгороде. Дома — как в изгнании. Никаких надежд. Никакого проблеска впереди.

Черные ее думы перебила Анна:

— Ты пойти на отпевание Ян Вышатич?

Ксюша сдвинула брови, возвращаясь мысленно к матери, утвердительно покивала:

— Да, конечно, надо бы сходить, попрощаться.

— Ну, сходить, сходить. От мене поклёниться тож. Я дружить с Ян Вышатич. А с его брат не очень дружить. Хитрый, как лиса.

Евпраксия поднялась к себе в терем. Заглянула в светелку, где кормили Васку — Вассу, восьмилетнюю сироту, что была у княжны на попечении. Та вскочила и поклонилась.

Ксюша усадила ее на место и погладила нежно по головке. Ласково спросила:

— Как ты поживаешь, голубушка? Сытно ли тебе?

— Слава Богу, не жалуюсь.

— Кушай, кушай. Я с тобой посижу, попотчую. Как же ты похожа на свою несчастную маменьку, Царствие ей Небесное!

Девочка спросила, продолжая уплетать ложкой кашу:

— А какая она была, маменька моя?

Женщина задумчиво улыбнулась:

— Шустрая, веселая. Спорая да ловкая. На язык острая. Настоящая немка.

— И отец мой — из немцев?

— Нет, отец — бургундец. Лыцарь и маркиз. Великан ростом. Ну а маменька — маленькая, кругленькая...

— Не из благородных?

— Маменька-то? Нет. Из простых горожанок.

— А отец, стало быть, вельможа?

— О, еще какой!

— Получается, родители мои не были обвенчаны?

Евпраксия смутилась, помолчала немного, но таиться не захотела:

— Да, выходит...

— Получается, что я — плод греха? — Васка смотрела на княжну не мигая изумрудными, пронзитель-

ными глазами, совершенно такими, как у Паулины-покойницы.

Опекунша взяла воспитанницу за руку:

— Для чего бросаться хлесткими словами? По закону — греха, а по справедливости — плод любви. Ведь любовь всегда праведна.

— А твоя любовь к императору Генриху?

Изменившись в лице, Евпраксия ответила строго:

— Сей вопрос не для твоего разумения.

Девочка, поняв, что зашла слишком далеко, залилась густой краской. И, уставившись в миску с кашей, стала бормотать:

— Извини меня, матушка, мой свет, не подумавши брякнула...

Взрослая, смягчившись, вновь дотронулась пальцами до ее расчесанных на прямой пробор светло-русых волос:

— Ладно, ладно, не сержусь боле. Кто тебе напел про мою любовь к Генриху?

Девочка пожала плечами:

— Дык ведь все, кому не лень, бают...

— Вот ведь балаболы, ей-богу! Делать людям нечего, кроме как перемывать мои косточки. Ты не слушай их.

— Хорошо, не буду.

— А начнут говорить — не верь.

— Ничему не поверю, матушка, мой свет.

— Я одна знаю правду.

— Мне ея поведаешь? — Васка посмотрела на княжну снизу вверх, с любопытством.

Евпраксия произнесла твердо:

— Нет. — А потом пояснила: — Это никого не касается.

— Никого-никого?

— Совершенно. — Опекунша встала. — Заруби сие на своем маленьком носу. — Наклонилась и поцеловала девочку в лоб. — Доедай, допивай, и пойдем помо-

лимся. Чтоб Господь наш Иисус Христос сжалился над нами. И над теми, кого мы любим. — Осенила ее крестом и вышла.

И пока проходила в свои покои, вдруг подумала: «Ну а что, если сочинить Генриху письмо? Тайно передать через иудейских купцов? Завтра и отправить? Может, он теперь, после отречения, вновь захочет соединиться со мною?» Затворила дверь и, упав у себя в светелке на колени в Красном углу, заломила руки, протянула их к иконе Матери и Младенца:

— Пресвятая Богородица, Дева Мария! Вразуми и наставь! Как мне поступить? Ведь моя жизнь без него — не жизнь!..

Киев, на следующий день

Отпевание Яна Вышатича в церкви Спаса на Берестове проводил сам митрополит Киевский и Всея Руси Никифор. Был он константинопольский грек, худошавый, с бородкой клинышком. Говорил исключительно на греческом и по-русски понимал плохо. Вкруг него и гроба сгрудилась со свечками высшая киевская знать: правящий князь Святополк Изяславич и его супруга-половчанка; брат покойного — тоже тысяцкий, Путята Вышатич; прочие бояре; из Переяславля прибыл тамошний князь Владимир Мономах; тут же стоял игумен Печерского монастыря Феоктист и игуменья Андреевской обители Янка. Резко пахло ладаном. Чистые, высокие голоса певчих трогали за самое сердце.

Ян Вышатич лежал в гробу и напоминал деревянную куклу. Совершенно не был похож на того молодцеватого воеводу, что сопровождал Евпраксию в Германию: басовитого, стройного, осанистого, несмотря на свои тогдашние шестьдесят с лишним лет, с золотой серьгой в правом ухе и раскатистым, задиристым смехом.

Как давно это было!

Евпраксия стояла и вспоминала. Восковая свеча горела в ее руке, чуть потрескивая и тая. На душе было горько, пусто, одиноко, тоскливо...

Неожиданно услышала брошенное кем-то недовольным шепотом: «Кто пустил сюда суку-волочайку?» — вздрогнула, подняла глаза. И увидела гневные глаза настоятельницы Янки.

Та напоминала ворону: в черном одеянии, узком черном платке, стягивавшем щеки, черном клобуке и с большим носом-клювом. Бледное невыразительное лицо... Синеватые недобрые губы...

К ней наклонился Мономах и сказал что-то на ухо. Янка фыркнула, дернула плечом, отвернулась. Мономах посмотрел на Опраксу и едва заметно кивнул: мол, не беспокойся, улажено. Значит, защитил. Ксюша облегченно вздохнула.

Но ушла из церкви, не дождавшись выноса тела. Выскользнула тихо, не желая больше обращать на себя внимание. Да и надо было успеть до конца церемонии заглянуть к киевским евреям, чтобы передать заветную грамотку.

Торопливо спустилась с паперти, разместилась в коляске, на которой ее привезли из Вышгорода, наказала кучеру:

— По дороге домой заверни в Лядские ворота.

Тот не ожидал подобного распоряжения; обернувшись, проговорил:

— А княгинюшка велели никуда, значит, не сворачивать.

— Делай, как сказала.

— Волюшка твоя. Нам чего? Мы холопы. Наше дело помалкивать. — И, причмокнув, щелкнул кнутом: — Н-но, залётный!

А еврейский квартал Киева находился как раз возле Лядских ворот (в обиходе их порой называли еще Жиновскими) и включал в себя несколько десятков домов, в том числе и каменную синагогу. Обретались тут бе-

женцы из Германии, где еврейские погромы не были редкостью. На Руси же иудеи занимались торговлей и ростовщичеством. И за пребывание в городе князь взимал с иноверцев очень крупную пошлину, на которую содержал всю свою дружину. Но евреи с готовностью подчинялись, лишь бы жить в спокойствии и достатке. Местные, киевские, купцы и ростовщики, разумеется, много раз пытались известить конкурентов. Жаловались князю — мол, нельзя терпеть на святой Руси эту нечисть, что распяла Христа. Князь их не слушал, почитая выгоду выше богословских размолвок.

В синагоге раввином был некто Лейба Черный (по-немецки — Шварц) — тощий дядька с пейсами, крючковатым носом и большой оттопыренной нижней губой. Говорил негромко, вкрадчиво, с характерным акцентом и заметно грассируя. Выступал посредником в связях между князем и еврейской общиной, лично приносил раз в полгода пошлину во дворец. Евпраксию знал со молодых ногтей и всегда ей почтительно кланялся, даже когда та была еще маленькой девочкой.

И теперь, завидев княжну, поклонился, приложив руку к сердцу. Маслено сказал:

— О, какая честь видеть столь значительную особу в наших скромных стенах...

Ксюша перебила его:

— Не тринди, Лейба. Некогда плести словеса. У меня к тебе дело.

— Понимаю, сударыня. Разве ж Лейба кому-то нужен без дела? Такова моя доля на земле: помогать людям в их заботах.

Поборов волнение, гостя произнесла:

— Можешь передать со своими грамотку? Я ведь знаю, что твои зятя посещают Южную Саксонию по торговой части.

— Да, конечно. Как не ездить? Не поедешь — не продашь и не купишь. И в Саксонию, и в Швабию, и в Баварию. А тебе куда?

— В крепость Гарцбург.

Лейба всплеснул руками:

— Господи, Святый Боже, прости нас, помилуй нас и даруй нам искупление!.. Уж не самому ли Генриху ты отважилась бить челом?

Вся пылая от смущения, Евпраксия ответила:

— Да, ему.

Шварц сочувственно покачал головой, отчего его пейсы-кудряшки стали дергаться и подпрыгивать, как пружинки:

— Ах, наивная, светлая душа! Мало ль он тебя мучил? Мало ль унижал? Так не лучше ли забыть о нем навсегда? — Но потом вздохнул невесело: — Впрочем, понимаю: любовь... Тот, кто любит, до последнего мига надеется... — И процитировал из Торы: — «Прости нас, о Отец наш, ибо мы согрешили; помилуй нас, о Царь наш, ибо мы нарушили Твой завет; ибо Ты прощаешь и милуешь...»

Евпраксия спросила:

— Так сможешь передать или нет?

У еврея лоб собрался в гармошку:

— Разве Лейба смеет отказать госпоже? Разве Лейба смеет выражать свое мнение? Он его имеет, но держит при себе. Муж моей дочки Хавочки отправляется в Чехию и Силезию в первых числах июля. Ну а там твоё письмо отдадут купцам из Германии. Думаю, что не позже начала августа грамота окажется в Гарцбурге.

Ксюша извлекла из-за пазухи летника⁴ скрученный кусочек пергамента, перевязанный лентой и скрепленный сургучом с выдавленной печаткой. Протянула раввину. Из-за пояса достала золотую монетку:

— Вот тебе, Лейба, за труды.

Иудей воскликнул:

— Ты считаешь, что Лейба не способен помогать бескорыстно? Нет, способен. Потому что добродетель дороже золота. Потому что моя доля на земле — помогать людям в их заботах. Но когда люди платят, Лейба

соглашается и берет... Потому что у него шестеро детей и одиннадцать внуков. И у каждого внука имеется рот. В этот рот надо каждый Божий день отправлять что-то вкусное. И одной добродетелью сыт не будешь... — Он почтительно склонил голову, на которой была шапочка-кипа, и пробормотал: — «Благодарим Тебя, Господь, Бог наш, ибо Ты даровал нам пищу, которой подкрепляешь нас ежечасно... Бог наш, Отец наш, веди нас, питай нас, поддержи и вызволи нас, Господь, из всех бед наших...»

А Опракса, бросив «прощай», быстро вышла из синагоги. И, уже проехав Лядские ворота, покидая Киев и направляясь в Вышгород, чуть не повернула назад: «Нет, забрать грамоту у Лейбы, разорвать, помешать отправке!» — и не повернула... Смежив веки, решила так: «Будь что будет. Хуже все равно некуда!»

А в ее послании, составленном по-немецки, говорилось следующее:

«Ваше Императорское Величество! Окажите милость! Дочитайте до конца сию весточку!

Низко кланяется Вам бывшая Ваша супруга, бывшая Императрица Священной Римской империи Адельгейда, урожденная Киевская княжна Евпраксия Всеволодова Рюриковна.

От купцов иудейских я узнала о Вашем отречении от престола. И поэтому только решилась написать. Ибо Вы теперь — частное лицо, и на личные наши отношения больше не сможет влиять политика. Слава Богу!

Пребывая ныне на родине, в материнском доме, и придя в себя после всех моих злоключений, осознала я спорность и во многом несправедность прежних своих поступков. Ибо впала в тяжкий грех гордыни и непослушания, не смогла понять Ваших чаяний, устремлений и убеждений. И, пойдя на поводу у врагов Вашего Величества, нанесла Вашему Величеству ощутимый вред. Я разрушила наше с Вами счастье.

Помните ли Вы, как ходили в Каноссу к Папе Римскому? Как Вы в рубище, босиком, по январскому снегу шли по горным тропам Альп, чтоб покаяться, чтобы получить отпущение всех грехов и благословение на дела святые? Так и я готова приползти к ногам Вашего Величества и молить о прощении. Каюсь, посыпаю голову пеплом.

Не держите зла, снизойдите!

Ибо Сам Господь наш Иисус Христос нам велел прощать. Ибо кающийся грешник, осознавший грехи свои, даже ближе к Богу, чем праведник.

Призовите меня к себе, как однажды в Штирии. Но тогда Вы были еще при власти и надеялись, что мое возвращение Вам поможет обрести ее полноту. А теперь иное: Вы уже не у дел, правит Ваш наследник, и поэтому мы могли бы соединиться просто по любви. Доживать свой век в мире и согласии, в стороне от дворцовых дразг.

Призовите, Генрих! И тогда Вы найдете во мне самого преданного друга, любящую жену, мать возможных будущих детей. Я люблю Вас, Ваше Величество. Я люблю Вас еще сильнее, чем раньше. И без Вас мне одна тропа — смерть.

Умоляю, не отвергайте! Заклинаю Вас памятью покойного Леопольда!»

Лейба не обманул Евпраксию: зять его, отправляясь для закупок товаров в Чехию, взял с собой письмо несчастной княжны. Оставалось только ждать ответа монарха.

Там же, пять месяцев спустя

Накануне Опраксу посетила ее младшая сестра — Катя Хромоножка. Получив увещье при рождении, девочка припадала на правую ногу и поэтому выросла слегка скособоченной, развитой неправильно, некрасиво. И лицо ее не было здоровым: желтоватая кожа, тем-

ные круги под глазами. Но имела добрую и светлую душу, нрав улыбчивый, сострадательный. Говорила, как пела. Десять лет уже была инокиней Янчина монастыря: так в народе называли Андреевскую обитель, настоятельницей которой была Янка.

Тут необходимо сделать небольшое биографическое пояснение. Сын Ярослава Мудрого — Всеволод — был женат два раза. Первым браком — на дочери византийского императора Константина Мономаха, Марии. От нее имел двух детей — Янку и Владимира, взявшего себе «фамилию» матери — Мономах. После смерти Марии Всеволод сочетался с половецкой княжной, нам уже известной, Анной, подарившей ему Евпраксию, Ростислава и Катю Хромоножку.

Следовательно, Янка была сводной сестрой Кати и Опраксы. А Владимир Мономах, соответственно, сводным братом.

Он к своим младшим сестрам относился тепло, заботливо. А она, Янка, невзлюбившая мачеху-половчанку с самого начала, не терпела и детей Анны. Впрочем, нет: к Кате Хромоножке относилась достаточно сдержанно. И взяла к себе в монастырь — для начала послушницей, а затем монахиней. Но красивую, яркую Опраксу отчего-то на дух не выносила. И особенно — после ее развода с Генрихом и приезда на Русь...

Ну, так вот: Катя Хромоножка, посетив Евпраксию в Вышгороде, сообщила радостно:

— Говорила с Янкой. И она не против, чтобы Васка занималась в монастырской школе для девочек и работала в вышивальной мастерской!

Ксюша согласилась:

— Очень хорошо. Ей пора подружиться с кем-то. Я ее выучила грамоте и счету, а теперь пускай черпает премудрости у других наставников. — Но в словах княжны не звучало счастья: фразы произносила, не престанно вздыхая.

Катя не поняла:

- Ты не рада разве?
- Рада, рада. Отчего не рада?
- Но как будто плачешь.

— Нет, совсем не плачу, — и буквально сразу же после этих слов разрыдалась в голос. Но взяла себя быстро в руки; вытирая слезы, поясняла досадливо: — Ты пойми, родная: сердце не на месте... Остаюсь одна-одинешенька... Васка для меня — свет в оконце, такая отдушина в мир... А теперь — тоска! Нечем даже заняться.

— Не преувеличивай, ласточка, — гладила ее по плечу Хромоножка. — Можно хлопотать по хозяйству, шить, вязать, перекладывать греческие и латинские книги на русский... и еще придумать много чего полезного.

— ...никому не нужного...

— Ах, оставь, пожалуйста! Коль явилась на Божий свет, стало быть, нужна Господу. Да и нам — любящим тебя всей душою.

— Маменька как будто бы без меня не тужит. Ей всегда доставало собственных забот! Ты — черница, молишься у себя в обители. Васка тоже выпорхнет из нашего дома, вырастет совсем, оперится — поминай как звали. Я как будто сбоку припека.

— Выходи замуж сызнова. Народи ребяток.

Евпраксия взмахнула руками:

— Слушать не желаю! После Генриха ни один мужчина не люб.

— Так ступай в монашки.

— К Янке в ноги падать? Так она сперва надо мной станет измываться, вывалиет в грязи, а потом и прогонит!

— Ой, да будто бы! Ведь меня же не прогнала.

— Ты — другое дело. Я — известно кто.

— Кто? — спросила Катя.

— «Сука-волочайка».

— Как тебе не совестно мерзкие слова повторять?

Евпраксия ответила:

— Нет, не утешай. Сука-волочайка и есть.

Ни о чем не договорившись, обе повели Васку в монастырь, чтоб определить в школу. Много лет назад, целых четверть века тому, Ксюша, Катя и подруга их — Фекла-Мальга — тоже посещали эти занятия. Школу основала первая жена князя Всеволода — Мономахиня Мария, по константинопольским образцам. Девочки из знатных семей постигали тут главные тогдашние дисциплины — от Закона Божьего до изящной словесности, рисования и пения. Все ходили будто послушницы — в белых платочках с перекрещенными под подбородком и завязанными сзади шеи концами, в черных свободных платьях. Помогали монашкам в саду и на грядках. Пели в церкви. И работали в вышивальной мастерской. Время учебы оставалось ярким пятном в памяти Опраксы. Время детства, светлых надежд на будущее, беззаботности, предвкушения счастья. Ей учиться нравилось. Узнавать новое — о далеких странах и городах, о великих героях прошлого, о бесчисленных мудрецах и подвижниках. Нравилось листать старинные книги, писанные от руки на пергаменте, в кожаных обложках («корках»), иногда окované железом, точно сундуки или ворота... Да они и были вроде ворот — к знаниям, к Абсолюту, к Истине... Четверть века прошло. Все надежды рухнули. Господи, помилуй!

Но Андреевский монастырь совершенно не изменился. Да и школа осталась прежней: те же белые стены, сводчатые потолки, чистые столы и скамейки; тот же гомон послушниц, те же платица и платочки; только лица новые, нет уже знакомых, — все знакомые выросли давно, нарожали собственных детей, а иные уже в могиле...

Вот монашек старых было немало: подходили, кланялись, здоровались. А с сестрой Гликерьей, что преподавала греческий, латынь, географию и историю, даже

расцеловалась. Из дверей выплыла келейница Серафима — женщина дородная, говорившая басом. Увидав мирянок и не проявив удивления, ближе подошла:

— Здравствуй, здравствуй, Опраксушка. Катерина, здравствуй. Это ваша воспитанница, о которой речь? Ясно, ясно. Матушка дала распоряжения, все давно улажено. Может оставаться. — И немного свысока обратилась к девочке: — Васса, да? Ты гляди ж, Васса: баловать не смей. Мы шалуний не любим, а особо непослушных наказываем, оставляем без сладкого.

— Да она не такая, смиренная, — поспешила заверить Ксюша.

— Ну, дай Бог, дай Бог. А сама-то девица чего надулась? Испугалась, что ль? Нечего бояться. Мы детей не кушаем. Но, наоборот, наставляем на путь истинный. Хоть и строгие, да не злые. Без пригляда и ласки не оставляем. Не молчи, будто бы язык проглотила, и произнеси что-нибудь. Нравится у нас?

Васка ей ответила через силу:

— Да, красиво... Благодарна всем... Матушке Опраксушке... — И моргала жалобно.

— Ну, ступай с сестрой Катериной, пусть тебе покажет обитель и мастерские. — Те ушли, а келейница посмотрела на Евпраксию хмуро: — Ты-то как, сердешная? Маешься, поди?

У княжны покраснели веки. Вспухшими губами сказала:

— Я везде маюсь. На Наметчине маялась, думала — вернусь восвояси, малость успокоюсь. На Руси ж тоска взяла пуще прежнего. Я для всех «сука-волочайка». Лишняя, чужая.

Серафима ответила:

— Всех-то не черни. Многие тебя любят. Я люблю. С малых лет люблю, ты ведь знаешь.

— Знаю, знаю, спасибочки, — со слезами на глазах улыбнулась княжна. — Только не боисься игуменьи? Янка как прознает — может заклевать.

— Не на ту напала. Да она и знает. Я ей говорила открыто: Евпраксию при мне не трожь. Неча было девку за немца выдавать. Выдали — терпите, не осуждайте.

— Ох, да дело не в немце. Дело во мне самой. У меня на роду написано: умереть неприкаянной.

— Перестань скулить. Тошно слушать: молодая, пригожая, именитая, а стоит гундосит, как дремучая баба. У тебя все еще наладится.

— Ох, твоими бы устами да мед пить!

Из монастыря княжна покатила в еврейский квартал и зашла в синагогу. Лейба появился не сразу и произносил приветствия как-то нервно, суетливо, отводя глаза. Заподозрив недоброе, женщина потребовала:

— Не виляй, пожалуйста, говори напрямки. Возвратился ли зять твой из Неметчины?

— Точно так, сударыня, прибыл благополучно. «Благослови Ты, Господь наш, Бог, Который сохранил нас живыми, дал нам силы, позволил дожить нам до этого часа...»

— Выполнил ли просьбу мою — передал ли с торговыми людьми в Гарцбург письмо?

— Передал, а как же? Обязательно передал.

— Получил ли взамен ответ?

Черный-Шварц захлопал ресницами, снова заюлил:

— Нет, увы, возвратился свиток обратно...

Сердце больно сжалось в груди у княжны, на душе стало холодно, противно, словно бы задули свечу. Еле слышно спросила:

— Что, нераспечатанный?

У раввина пейсы запрыгали, как пружинки. Он потряс головой в кипе:

— Да, как видишь. — И достал из-за пазухи пергамент с неразломанным сургучом.

Ксюша его взяла как-то отстраненно, вялыми, безжизненными пальцами.

— На словах-то что передали?

— Ничего, совсем...

— Да дошла ли вообще грамотка до Генриха?!

— Не дошла...

— Как же так, Лейба? Объясни.

Он молчал, не решаясь озвучить главное. Наконец сказал:

— Генрих... их величество... был не в Гарцбурге, а в Льеже... повезли туда... не успели...

— Почему?

— Потому как аугуста в седьмой день... император преставился...

Евпраксия стояла как громом пораженная. Не могла понять до конца. Даже улыбнулась невольно:

— Что за чепуху ты городишь? Как — преставился? Быть того не может. Кто тебе велел меня огорчать?

Иудей развел костлявые руки:

— Мог бы обмануть, но зачем? Говорю, что знаю.

— Да неужто убили? Или захворал?

— Нам сие неведомо. Слухи были, повредился в уме, а затем почил в Бозе.

Ощувив дрожь в коленях, русская присела на ближайшую лавку. Дурнота подступала к горлу. Свет мутился в ее глазах.

— Господи, неужто?.. — прошептала она. — Императора нет на свете? Боже мой... Одна!.. Вот теперь уж точно одна!.. — И, лишившись чувств, повалилась на-земь.

Девять лет до этого, Австрия, 1097 год, весна

— Паулина, живо собирайся! Надо ехать! Слышишь, Паулина?

Евпраксия в дорожном плаще с откинутым капюшоном поднималась по лестнице и звала служанку. Немка вышла заспанная, терла кулаком правый глаз, левым же смотрела на хозяйку в недоумении.

— Ехать? Да куда ж ехать на ночь глядя?

— Не сейчас, понятно: завтра на рассвете. Герцог мне дает провожатых до Штирии.

Помогая госпоже снять накидку, Паулина задала вопрос:

— А до Штирии этой далеко?

— День езды, не больше. Тетка моя проживает в замке Агмунд.

— Стало быть, жива?

— Герцог говорит, что жива. После смерти сына — бывшего короля Венгрии — без конца молится и уже построила два монастыря.

— Значит, при деньгах.

— Ну, само собой. Все-таки была королевой, а затем — королевой-матерью. Кое-что скопила, я думаю.

— А чего обретается не в Венгрии, а в Штирии?

— Потому что на троне ее недоброжелатель.

— М-да, — заметила Паулина, — у царей это вечная история.

Все свои пожитки собирали недолго, потому что пожитков было немного, и уже за полночь легли, но княжна никак не могла успокоиться, продолжала рассуждать вслух:

— Если тетя Настя меня не примет, то поеду дальше на Русь.

— Отчего же ей вашу светлость не принять? — отзывалась немка, откровенно зевая.

— Ну, во-первых, мы же не знакомы. Ведь ее отдали за венгерского принца лет за двадцать пять до того, как я появилась на свет. Во-вторых, может быть слышана о моем разрыве с императором Генрихом.

— Если и слышана — что с того? Вы не виноватые, это даже Папа Римский признал. Генрих — суций дьявол. Кто с ним уживется?

— Ты не понимаешь! — восклицала Опракса. — Тетя Настя может защищать Генриха. Несмотря ни на что!

— Это почему?

— Потому что сын ее покойный был женат на ком — знаешь?

— Нет. На ком?

— На сестре Генриха!

— Господи, помилуй!

— То-то и оно. Тетя Настя, убегая из Венгрии от врагов, долго проживала при дворе императора. Не известно, что немецкое ей теперь дороже, чем русское.

— Нет, ну все-таки вы — родная племянница, кровь одна течет в жилах. А сестра Генриха и он сам хоть и родичи ей, да не кровные.

— Я надеюсь тоже...

Помолчали. Паулина спросила:

— А сестра эта — стало быть, невестка вашей тетушке, — где сейчас живет?

— Знать не знаю, ведать не ведаю.

— С братом не дружна?

— Нет, по-моему. Он о ней всегда отзывался с пренебрежением. Говорил, что жадная и сластолюбивая... Впрочем, Генрих никого из сестер не жалуется. И вообще никого не любит, кроме себя.

— Ой, ну в вашей-то светлости он души не чаял.

— Разве это любовь, Паулина? Если бы не чаял души, поступал бы иначе...

Задремали только под утро. А едва прокричали пехоты и на башне замка герцога Австрийского протрубили в рог, надо было вставать. Неожиданно попрощаться с Опраксой прибыли Балдуин Лотарингский и его оруженосец Густав Верзила. Граф, сойдя с коня, поклонился ей и поцеловал руку. Улыбаясь, сказал:

— Пожелайте же нам победы, несмотря на то что считаете наш Крестовый поход несправедливым.

Евпраксия ответила, тяжело вздохнув:

— Я желаю вам остаться живыми. Ни один Иерусалим не дороже жизни.

Молодой человек запальчиво произнес:

— Нет, напротив! Иерусалим превыше всего!

Евпраксия сморщила нос:

— Что ж, останемся каждый при своем. И не будем ссориться напоследок.

— Хорошо, не будем. Да хранит вас Господь в пути, сударыня, а Пречистая Дева Мария пусть дарует вам счастье.

— Благодарствую. Кланяйтесь брату от меня. Мы всегда относились друг к другу с нежностью. Если бы не Готфрид... то есть, я хотела сказать, если бы не герцог де Бульон, я бы никогда не выбралась из Италии. Вы меня спасли.

— Он и я были рады услужить вашей светлости...

В это время Густав с Паулиной обменивались шуточками, и украдкой, чтобы госпожа не увидела, немка поцеловала бургундца в щеку. Тот захохотал и сказал:

— Вот отнимем у сарацин Гроб Господень, завоюем Землю обетованную, и тебя выпишу в Иерусалим.

— Ой, да больно надо было! — с деланным пренебрежением покривилась служанка.

— Как, совсем не надо? — удивился Верзила.

— Ни на грош. Ваша милость на мне ведь не женится.

— А тебе обязательно надо, чтоб женился?

— Для серьезной жизни — конечно. А для пустяков — для чего ж выписывать? Пустяков и тут предостаточно.

— Вот неблагодарная! Я-то думал осчастливить тебя.

— Вы меня уже осчастливили. Дальше — не судьба.

Вскоре кавалеры вскочили в седла и умчались к своим войскам. Рыцари и волонтеры из Бургундии, Лотарингии, Швабии и Баварии двигались на юго-восток, чтобы влиться в армию крестоносцев, зимовавших на подступах к Константинополю. А княжна со служанкой и пятеркой всадников, посланных в сопровождение от Австрийского герцога, направлялись на юго-запад, через Венский Лес, в Штирию.

Лиственные рощи Венского Леса чем-то напоминали окрестности Киева. Так же поднимались вековые де-

ревья, создавая зеленый шатер из крон, так же по краям тропы извивались, выходя из земли, мощные корявые корни, голосили птицы, а в траве можно было заметить рыжий лисий хвост. Евпраксия ехала, беспрестанно волнуясь: как воспримет ее появление тетя Настя, то есть Анастасия Ярославна, средняя дочь Ярослава Мудрого? Больше полувека тому назад принц Венгерский со своим братом скрылся от врагов в Киеве и обосновался при дворе великого князя. Здесь мадьяр и взял себе в жены юную русскую княжну. Ярослав Мудрый, сам женатый на шведской принцессе, всех своих детей оженил с иностранцами — греками, поляками, немцами, венграми, норвежцами и французами... Ксюша и подумала: перееду из Италии в Венгрию — все-таки намного ближе к Руси, к маме, к дому, так надежнее, и отправилась вместе со знакомыми крестоносцами...

Мысли госпожи прервала Паулина:

— Густав обещал, что меня выпишет в Иерусалим.

— Что? — переспросила Опракса. — Для чего? Когда?

— Ну, когда они завоюют Гроб Господень.

Наконец княжна посмотрела на служанку несколько испуганно:

— Но ведь он не женится!

— Ясно, что не женится. Я и не поеду поэтому. Пошалили, и хватит. — На губах у немки появилась многозначительная улыбка.

Русская взглянула на нее с укоризной:

— Вот ведь ненасытная! С кем не путалась только на моей памяти! Хуже кошки.

Та захмыкала:

— Дело молодое, горячее. И природа требует.

— За грехи Бог тебя накажет.

— Нет, любовь не грех. Я с Верзилой встречалась по любви.

— Ох, не знаю, не знаю. Как в такого влюбиться? Он ведь здоровее медведя. Может придавить ненароком.

— Не-ет, наоборот: ласковый и нежный. А огня мужского — на троих хватит. До сих пор всё во мне гудит, ни жива ни мертва, клянусь!

Евпраксия перекрестилась:

— Господи, спаси и помилуй! Что за речи мы ведем богомерзкие?

Паулина пожала плечами:

— Почему богомерзкие? Самые простые, житейские.

Замок Агмунд в красном свете заходящего солнца, с островерхими башенками, зубчатыми стенами, среди густой зелени листвы на горе, выглядел игрушечным. Ниже, под горой, извивалась река. Было слышно, как вращается с шумом, под напором воды, колесо мельницы. Замок приближался, становился крупнее, незаметно превращаясь из игрушки в громадину, подавляющую своими размерами. Сердце у княжны билось где-то в горле.

Наконец оказались возле рва. Мост к воротам долго не опускали, недоверчиво спрашивая из сторожевой амбразуры: кто, зачем приехал? Люди от герцога Австрийского разъясняли внятно: прибыла племянница вашей госпожи, бывшая императрица, мы ее сопровождаем от Вены. Полчаса прошли в тягостном безмолвии, в ожидании участи. Слава Богу, механизм заскрипел, цепи побежали по желобкам, поднялась решетка, и повозка с Ксюшей застучала колесами по бревенчатому помосту.

Встретить путников вышел начальник охраны замка — седоватый мужчина с тусклой физиономией. Поклонившись коротко, он проговорил:

— Ваша светлость, милости прошу во дворец. Вас не ожидали, и ее королевское величество не готовы пока к приему. Выйдут чуть попозже. Не взывайте уж.

Евпраксия ответила:

— Как им будет угодно. Мне не к спеху.

Зал для трапез поражал отделкой из красного дере-

ва, гобеленами уникальной работы и массивной резной мебелью. В вазе китайского фарфора благоухала сирень. От горящего камина подошла борзая собака, вытянула узкую длинную морду и опасно понюхала край одежды Опраксы. Как-то боком заглянула в глаза, чуть пошевелила хвостом — неподъемным от нестриженной шерсти — и вернулась обратно в угол, на персидский ковер. Видимо, она была очень старой.

Ожидание длилось больше часа. Дверь открыли, и возник распорядитель замка, звавшийся сенешалем. Верткий, егозливый, больше походивший на учителя танцев, он склонился в затейливом реверансе и сказал, что ее величество скоро спустятся, сразу, как гарцун⁶ накроют на стол. Замелькали слуги, сервируя вечернюю трапезу. Четверть часа спустя камергер объявил:

— Вдовствующая королева Венгрии в изгнании — ее величество Анастасо!

В зале появилась невысокая шестидесятисемилетняя дама в темном. Посмотрев на нее, Ксюша вспомнила виденную в детстве на стене собора Святой Софии в Киеве иконописную группу — Ярослав Мудрый с семейством; дети были отражены маловыразительно, но жена князя — шведка Ингигерда (в православном варианте — Ирина) — врезалась в память хорошо, четко: удлиненное аскетичное лицо с узкими, сжатыми губами. Тетя Настя походила на мать совершенно.

Встав, племянница поклонилась и произнесла по-немецки:

— Здравия желаю, ваше величество.

— Да и ты, родимая, не хворай, — отозвалась королева по-русски; голос ее звучал глуховато, будто бы со сна. — Слышала, слышала про твои деяния на Неметчине, про разрыв с Генрихом... Стыдно, дорогая! Нешто не могли разъехаться по-простому? Ладно, не бледней. Я покойного братца Всеволода Ярославича, твоего отца, больше всех любила. И его наследницу не обижу.

Сядь, поешь. И поведай вкратце, правда ли, что Генрих продал душу нечистому?

Тетя ела медленно — по причине отсутствия нескольких зубов. А княжна, повествуя с жаром свою историю, не могла проглотить ни крошки, только иногда смачивала горло, схлебывая из серебряной чарки легкое белое вино. Изложив все перипетии, попросила робко:

— Тетушка, дозвожь приютиться у тебя. Хоть недолго, месяца на два. А затем, коли пожелаешь, я покину замок, возвращусь к матушке на Русь.

Королева Венгрии проворчала мягко:

— Ничего, живи. Можешь погостить. Я тебе поверила, да и Папа Римский на твоей стороне, значит, не виновна. Плохо лишь одно: королева Юдита, что доводится мне невесткой, а проклятому Генриху сестрой, будет вредничать.

Евпраксия похолодела:

— Где ж она теперь?

— Где ей быть, поганке? Здесь, в Агмонде. Ждет, когда я помру, чтобы распоряжаться богатствами. Коротает дни, предаваясь бражничеству и блуду.

— Свят, свят, свят! Я пропала!

— Ладно, не дрожи раньше времени. Как-нибудь уладим. Я тебя в обиду не дам, под моей защитой ты не пропадешь. А потом уж — Бог весть... Ешь давай. Отощала, вижу, до крайности. Надо поправляться.

Там же, шесть месяцев спустя, Штирия, 1097 год, осень

Королева Юдита внешне мало напоминала Генриха; только черные с проседью волосы и упрямое выражение губ говорили об их родстве; остальные черты лица — ядовито-яркие щеки, небольшой нос и какое-то неестественно мертвое выражение глаз — отличали их абсолютно. Но зато по характеру сорокапятилетняя немка повторяла брата полностью: вспыльчивая, нервная,

грубая и дерзкая. Первый раз увидев невестку, оглядела ее презрительно с ног до головы и воскликнула, покривившись: «Пфуй!» — что должно было означать приблизительно следующее: «И от этой вот замарашки братец потерял голову? Недоумок!» Но спросила чинно:

— Вы надолго к нам, ваша светлость?

Евпраксия произнесла скромно:

— Как позволит ее величество королева-мать.

— Значит, ненадолго. Вы ведь знаете, что она неизлечимо больна?

Ксюша распахнула глаза от ужаса:

— Нет, помилуйте! Неужели?

— У нее опухоль на шее. Вырезать нельзя, так как рядом расположена становая жила. Но когда шишка разрастется, перекроет жилу, так свекровь умрет.

Справившись с волнением, Евпраксия заметила:

— Вы с таким спокойствием говорите об этом!

У Юдиты в глазах всплыло удивление:

— Что же — разрыдаться? Пожила бабушка неплохо, и пришло время на погост.

— Все во власти Божьей... — подытожила гостя.

— О, так вы святоша? Правда, правда, я забыла, что вас обучали в Кведлинбурге, у моей дорогой сестрицы. Эта ненормальная из любой сделает монашку.

— С матушкой Адельгейдой мы остались в дружеских отношениях. Я взяла ее имя, обращаясь в католичество.

— Да, конечно: «императрица Адельгейда»! — И присела нарочито-почтительно: — Ваше императорское величество... разрешите откланяться?.. — Но ушла, повернувшись к ней спиной, с явным пренебрежением. А потом, под наплывом злости, не сказав никому ни слова, снарядила всадника с тайной грамотой к брату Генриху:

«Довожу до сведения, император, что противница Ваша, бывшая жена Адельгейда, пребывает ныне у своей тетки в Агмонде (Штирия). Не хотите ли

поквитаться? Ваше слово — и она будет уничтожена».

Разумеется, Евпраксия ничего об этом не знала. Подружившись с теткой, ездила с ней на моление в Тормов. Вскоре появилась у них новая забота: Паулина призналась, что ждет ребенка. Эта новость почему-то развеселила родственниц, и они стали опекать будущую маму, словно та была не простой служанкой, а камерффрау: заставляли чаще гулять в саду и лесу, угощали фруктами и не разрешали поднимать тяжелые вещи.

А в конце сентября из Германии возвратился гонец от Генриха. Он привез два свитка — для Юдиты и Евпраксии. Но коварная дама забрала себе оба и прочла сама. В первом говорилось:

«Добрая сестрица! Несмотря на то что послание от Вас не было подписано, я узнал Ваш почерк. И хочу заверить: если хоть один волос упадет с головы Адельгейды по Вашей милости, я такое учиню с Вами, что геенна огненная Вам покажется сущим раем. Берегитесь! Несмотря на козни Папы, я еще при власти и найду силы, чтобы проучить Вас как следует. А за сим примите уверения в искренней любви и предельной нежности». Далее следовал росчерк императора.

Громко выругавшись, бывшая венгерская королева скомкала пергамент и швырнула на пол. Распечатала второй и увидела:

«Здравствуйте, Адель! Я по-прежнему называю Вас этим именем, чем даю понять, что в моем сердце нет обиды. Более того: я молюсь за Вас. Бедная моя девочка! Сколько мук претерпели Вы за последние годы, как Вам было тяжело обвинять меня в ереси! Понимаю и не сержусь. Вы прошли путь на свою Голгофу и очистились, и приблизились к Абсолюту, и терзаниями искупили грех. Как мне одиноко без Вас! Возвращайтесь, прошу, и давайте соединимся вновь. Это не уловка и не хитрый расчет, чтобы заманить, а потом рас-

правиться. Говорю, словно на духу: Вы — единственная женщина, о которой я мечтаю, как влюбленный юнец. Бросим все дела, устранимся от света, от постылой политики, скроемся в каком-нибудь замке и последние годы жизни проведем вдвоем, как простые люди. Потому что я теперь знаю: власть, богатство, полчища рабов ничего не значат по сравнению с истинной любовью. Вы — и больше никто мне не нужен. Приезжайте — не пожалеете. До конца дней бесконечно Ваш!»

— Он совсем свихнулся! — вырвалось у Юдиты. — Разве это правитель? Жалкий и отвратный слизняк! — И хотела было сжечь оба свитка, но потом подумала: «А пускай эта жужелица прочтет письмо и узнает о намерениях братца. Может, уберется отсюда?» Больше всего Юдита боялась, что свекровь пожалует часть наследства Опраксе, и хотела оставить все сокровища у себя одной.

Встретившись с невесткой, холодно сказала:

— Генрих передал мне для вас письмо.

Та мгновенно разволновалась:

— Генрих? Для меня? Как же он узнал?

Королева прикрыла веки:

— У него обширные связи...

— Ах, так это вы ему сообщили?

— Не имеет значения. Он с гонцом прислал два пергамента — мне и вам. Я случайно их перепутала и открыла ваш... Вы уж не взыщите, сударыня.

Евпраксия дрожащими пальцами раскатала послание. Пробежала глазами и испуганно посмотрела на собеседницу:

— Я не верю ни единому слову. Здесь ловушка.

— Нет, не думаю. Он же уверяет в чистоте своих мыслей. Можете отправиться к Генриху спокойно.

— Я не про него, я про вас.

— Про меня? — Ксюшина золовка вопросительно изогнула бровь. — Что-то не пойму. Вы о чем?

— О пергаменте. Дело ваших рук. Он не настоящий.

— Кто, пергамент?

— Вы его состряпали сами.

Немка рассмеялась:

— Что, и расписалась за императора?

— Разумеется. А печатку подделать не смогли и поэтому мне представили, будто бы взломали сургуч по ошибке.

Королева фыркнула:

— Вы такая же ненормальная, как мой бедный братец.

— Думайте, пожалуйста, что угодно.

Рассердившись, Юдита рывкнула:

— Да поймите вы своими птичьими мозгами — я не опущусь до подлога! Этого еще не хватало! Если я бы имела намерение вас убить, то могла бы устроить все намного проще. Пару зерен мышьяка в пищу — и прощай, Адель! Для чего затевать глупости с гонцами? Нет, моя золотая, свиток подлинный. Памятью моего отца клянусь — императора Генриха Третьего!

Евпраксия молчала. А потом задумчиво ей ответила:

— Мне необходимо подумать. Посоветоваться с тетей Анастасией. — Медленно пошла к выходу. Обернувшись, добавила: — И в любом случае, раньше весны не смогу выбраться отсюда. Скоро из-за дождей будет не проехать, и к тому же Паулина на седьмом месяце.

— Паулина? Служанка? Вы готовы пренебречь зовом императора и остаться с горничной, нагулявшей пузо со своим любовником?

— Паулина мне больше чем служанка. Мы почти подруги. Я обязана ей стольким, что и перечислить нельзя. Я ее никогда не брошу. И тем более в таком положении. — Повернулась и теперь уже окончательно удалилась.

Королева пробормотала:

— Вот свинья! Лучше бы действительно отравить ее мышьяком.

**Там же, шесть месяцев спустя,
Штирия, 1098 год, весна**

Евпраксия, окончательно убедившись, что письмо от Генриха было настоящее, тем не менее не решилась возвратиться к супругу. Раны не зажили, страхи не улетучились. И потом, она не могла забыть, как он поступил с Бертой, первой своей женой... правда, нелюбимой... но ведь это не повод для убийства!.. Словом, никуда не поехала. И все время продолжала терзаться: может быть, напрасно? Может, поступила по-детски, потеряла шанс на семейное счастье?

Тетя Настя сказала так:

— Не переживай, дорогая. Если он действительно любит, то пришлет сюда за тобой людей, чтобы увезти в Гарцбург.

— Да, а если вдруг придет, чтобы умертвить?

— Не придумывай ерунды. Генрих — человек безрассудный, взбалмошный, но отнюдь не дурак. Избавляются от врагов или же от тех, кто стоит поперек дороги. Ну а ты больше не представляешь для него никакой опасности. Всё, что могла плохого, ты уже совершила на церковном соборе.

Паулина разрешилась от бремени в ночь с 4-го на 5-е декабря 1097 года, без особых мук, словно рожала не в первый раз, и произвела на свет крепкую, здоровую девочку, с волосами и двумя нижними зубами. Ксюша стала ей крестной матерью. Имя выбрали поистине звездное — Эстер.

А в конце января у Анастасии Ярославны начались постоянные головокружения, зачастую сопровождавшиеся потерей сознания. Опухоль давила на сонную артерию, кровь с трудом поступала в мозг, и возникло кислородное голодание. Женщина почти не вставала с постели. Состояние ее ухудшалось с каждым днем.

Как-то престарелая королева позвала к себе Ксюшу, а служанок удалила из спальни. И проговорила слабею-

щим голосом — даже не из боязни оказаться подслушанной, просто в силу немощи:

— Скоро я умру... нет, не возражай и не утешай: это очевидная вещь... Скоро я умру, и Агмонд перейдет к Юдите... вместе со всем имуществом и деньгами... я не стала переписывать завещания, а тебя в нем нет...

— Тетушка, не надо. Я сама пока еще в состоянии...

— Не перебивай. Мне и так слова даются с трудом... Значит, в завещании ты не упомянута. Это даже к лучшему, чтобы у Юдиты не возникло поводов для интриг... Без меня она тебе приюта не даст. И попросит удалиться скорее... Не сопротивляйся. А когда станешь уезжать, поверни направо от реки Мур, к озеру Нейзидлер-Зё. У дороги увидишь часовню Святого Варфоломея. У часовни — дуб... Если будешь копать в трех аршинах к востоку от него, то найдешь сундучок... Всё, что в нем, твое. Не благодари. Ты мне сделалась как родная дочь, я довольна, что мы провели эти дни вдвоем... Жаль, что их выпало немного. Хорошо, что они были нам дарованы!..

Королева-мать умерла 9 марта. Упокоили ее в склепе замка после соответствующих погребальных церемоний, а затем помянули скромным ужином, проведенным для узкого круга приглашенных. На другое утро, встретив Евпраксию за завтраком, новая владелица Агмонда заявила:

— Ну, теперь, надеюсь, вы уже покинете наши стены?

— Несомненно, сударыня. Вы дадите мне провожатых?

— Да, но только до границ Штирии.

— Как, а дальше?

— Поступайте, как знаете. Я и так делаю для вас больше, чем положено... исходя из того, как вы опозорили императора.

— Он меня простил.

— Он простил, а я нет. Честь моей семьи выше милосердия брата.

— Хорошо, можете вообще не давать охраны. Только об одном я хотела бы попросить вашу светлость: разрешите Паулине остаться. У нее на руках трехмесячная малышка, и ребенок не вынесет всех превратностей моего путешествия.

Но Юдита не вняла ее словам:

— Ничего не желаю знать, у меня своих челядинок много. Вот еще придумали! Нежности какие! Дети простолудинов никогда не болеют. Или живут здоровыми, или умирают. Чем суровее обстоятельства, тем они становятся крепче.

Спорить с ней было бесполезно.

Двое суток спустя русская княжна со своей прислужницей выехала из замка. Двигались неспешно, и спеленутая лоскутным одеяльцем Эстер не выказывала признаков недовольства. Трое конников все же сопровождали повозку до границ Штирии. Миновав отроги Венского Леса, повернули направо — к озеру Нейзидлер-Зе, как указывала тетя Настя. Тут, на въезде в Бургенланд, стражники их покинули, сухо попрощавшись. Из мужчин остался только кучер Хельмут. Повернувшись с облучка к женщинам, он сказал:

— Радуйтесь, что я не ушел. Ведь Юдитка приказала и мне вернуться.

— Ах она змея! — от души обозвала ее Паулина. — Чтоб она лопнула от злости! Чтоб ей пусто было, дрянь этакой!

Евпраксия ответила:

— Нет, с другой стороны, посуди сама: почему она должна быть ко мне сочувственной? Я ведь столько огорчений принесла ее брату.

— Он вам — больше.

— Трудно подсчитать...

— И потом, разве Юдита не христианка? Не обязана помогать ближнему своему? Проявлять милосердие даже и к противникам?

— На словах — конечно...

— В том-то все и дело, что в натуре семейка Генриха — сплошь безбожники и хриstopродавцы!

Ксюша возразила:

— Как, а матушка Адельгейда, старшая сестра? Я жила у нее в обители очень хорошо.

— Ну, не знаю, не знаю, ваша светлость, только яблоко от яблоньки завсегда рядом падает.

Хельмут обернулся опять:

— Дальше-то поедем? Или здесь заночуем?

Евпраксия кивнула:

— Едем, едем. Знаешь, где часовня Святого Варфоломея?

— Как не знать! Аккурат на берегу озера. Там кругом дубрава красивая.

— Вот туда и направимся.

Немка удивилась:

— Помолиться вздумали?

— Можно и помолиться. Свечечку поставить за упокой души рабы Божьей Анастасии...

Между тем не успели охранники, бросившие Опраксу, доскакать до Агмонда, как услышали позади себя конский топот. Посмотрели и увидели четырех кавалеристов в дорогих одеждах — явно из приближенных венценосных особ. Натянув поводья, стражники Юдиты предпочли встретить неизвестных лицом к лицу. Задали вопрос:

— Кто вы, господа, и куда путь держите? Не нуждаетесь ли в нашем добром слове?

Старший из прибывших коротко сказал:

— Я — архиепископ Герман Кёльнский. Мы — посланцы его императорского величества. Едем в Агмонд за ее величеством императрицей Адельгейдой.

Те переглянулись, и один из них пояснил:

— Сожалею, ваше высокопреосвященство, но она не далее как сегодня утром отбыла из замка. И теперь уже далеко отсюда, за пределами Штирии.

Герман, негодуя, воскликнул:

— Лжешь, мерзавец! Я тебе не верю!

Всадник из Агмонда тоже разъярился:

— Как вы смеете оскорблять меня, сударь? Я не посмотрю, что вы священнослужитель и доверенное лицо императора, и отделаю вас, как нашкодившего мальчишку!

Порученец Генриха выхватил меч из ножен:

— Ах ты тварь паскудная и навозная жижа! За такие слова отвечают жизнью!

И разгневанные мужчины сшиблись в поединке. Силы, разумеется, были неравны: четверо приезжих против троих штирийцев. Но сторонники архиепископа, утомленные долгой скачкой, не смогли воспользоваться численным преимуществом, и к тому же местные действовали решительней, по-мужицки нахрапистей: не обученные тонкостям фехтования, просто шли напролом, подавляли силой. Вскоре на земле, обливаясь кровью, оказались двое приезжих и один охранник из Агмонда. Стали биться двое на двое. В результате обе стороны потеряли еще по одному человеку, и остались только главные зачинщики заварухи. Нападали друг на друга, как бойцовые петухи. Искры сыпались от ударов меча о меч, из груди обоих вырывались короткие стоны: «ух!», «эх!» — и ругательства. Неожиданно Герман, изловчившись, полоснул клинком по открывшейся шее стражника. У того из раны хлынула черная кровь, он забулькал и упал лицом в гриву лошади.

Архиепископ снял перчатку и утер пот с лица... В те далекие времена клирики католической церкви не всегда отличались святостью: одеваясь в гражданское платье, принимали участие в походах, как обычные воины, выполняли мирские поручения самодержцев, не давали обета безбрачия. Папы Римские только-только начинали выступать против этого и нередко встречали мощное сопротивление... Впрочем, разговор на подобные темы нам еще только предстоит, а пока вернемся на тенистую лесную дорогу, что вела к Агмонду.

Спешившись, Герман осмотрел тела своих спутников — те не подавали признаков жизни. Он, вздохнув, оттащил их к обочине — с мыслью на обратном пути, помолясь, предать убиенных земле. Трех противников тоже не оставил лежать на проезжей части — откатил на другую обочину, с отвращением пиная каблуком сапога. Наконец запрыгнул в седло и помчался к замку.

Королева Юдита встретила его настороженно. Медленно прочла верительную грамоту, отложила в сторону и спросила:

— Неужели брат действительно простил Адельгейду?

— Он считает, что Папа — самозванец, признает лишь Климента Третьего и к церковному собору в Пяченце относится иронично. Стало быть, развод не действителен и они по-прежнему муж и жена.

— Адельгейда, по-моему, так не думает. Прочитав письмо Генриха, испугалась, что ее хотят заманить в ловушку, и к нему не поехала.

— Что ж, напрасно. Генрих искренне желает с ней соединиться. Я надеюсь в этом оказать им содействие. Вы, конечно, тоже?

Новая хозяйка Агмонда с напускной горячностью согласилась:

— Нет сомнений, сударь.

— А куда направились их императорское величество?

— Собирались домой, на Русь.

— Через Венгрию или через Польшу?

— Разумеется, через Венгрию — так короче. И к тому же нынешний король Венгрии Калман — сосунок, мерзавец! — снюхался с великим князем Киевским, создает с ним союз, чтобы окончательно избавиться от немецкого протектората. Мой покойный супруг — ясно, что с моей помощью! — проводил иную политику и дружил с Германией. А тупые венгерские бояре взяли и свергли его.

Кёльнский архиепископ слушал ее в пол-уха, думал о своем. И прервал почти что на полуслове:

— Значит, через Венгрию... Надо поторопиться, дабы не упустить. — Встал из-за стола и раскланялся.

— Да куда же вы, ваше высокопреосвященство? — удивилась Юдита. — Даже не отобедали!

— Я могу три дня ничего не есть и не пить.

— Ах, зачем без необходимости предаваться аскезе? Адельгейда далеко не уедет — у ее прислужницы маленький ребенок, и они катят не спеша. Ничего не случится, если вы останетесь до утра... — Королева отвела глаза в сторону, но румянец на ее упругих щеках разгорелся еще сильнее.

Герман улыбнулся:

— Может, вы и правы... Я на резвом скакуне догоню их повозку быстро. Отдохну уж, а завтра, с первыми лучами, брошусь догонять.

— Вот и замечательно. Я сейчас распоряжусь насчет ванны и обеденного стола. Чувствуйте себя в Агмонде как дома.

— Ваша светлость необычайно добры ко мне...

Оба скоротали вечер и ночь ко взаимному удовольствию.

Там же, день спустя

Клад Анастасии Ярославны отыскиали не сразу. Раздобыв лопату у церковного сторожа, охранявшего часовню Святого Варфоломея, Ксюша заставила Хельмута копать. Первая попытка оказалась бесплодной: кучер углубился по пояс, но заветного сундука не нашел. Сели на траву и поужинали продуктами, взятыми с собой из Агмонда, а служанка покормила ребенка грудью. Начали копать под другим дубом, и опять обнаружить ничего не смогли. Попросились на ночлег к сторожу, жившему в убогой лачужке, посулив ему серебряную монетку. Тот разжег в очаге огонь и устроился с кучером на полу, подложив попону, а служанке и госпоже постелил тюфяки на лавках. Спали плохо:

сторож богатырски храпел, без конца кусались блохи и клопы, а малышка из-за этого хныкала. Поднялись разбитыми. И к тому же погода неприятно испортилась: небо заволокли тучи, дул прохладный ветер, капал мелкий дождь. Вместе с тем сторож поспособствовал в поисках сокровищ: разузнав, в чем дело, он определил:

— Вы не там, сударыня, ищите. Видимо, имелся в виду старый дуб, с корнем вырванный позапрошлым летом в налетевшую бурю. — И пошел показывать, где стояло дерево.

Хельмут принялся копать в обозначенном месте и довольно скоро ковырнул лезвием лопаты по окованной крышке. Сторож с кучером извлекли из ямы сундук, стали разбираться с замком, наконец открыли. Дождь окропил веселые россыпи золотых и серебряных монет. Все взволнованно ахнули. А охранник церкви почесал затылок:

— Если б знать заранее! Все богатство забрал бы себе!

Ксюша расплатилась с ним щедро — зачерпнув пригоршню денежек, без разбора. Тот благодарил и покорно кланялся. Отопнул церковные двери и впустил путешественников внутрь. Евпраксия помолилась перед Распятием и поставила свечу в память о тете Насте. А когда приезжие, погрузившись в повозку, укатили в сторону озера Нейзидлер-Зе, пограничному между Штирией и Венгрией, сторож загасил фитиль, запер дверь и отправился в ближнюю деревню, к своему знакомцу, некоему Карлу Головорезу, не чуравшемуся разбоя. И сказал: если тот обещает поделиться с ним захваченным состоянием, сообщит, как его добыть. Карл пообещал.

Не успел сторож возвратиться к часовне, как увидел всадника. Это был архиепископ Герман, прискакавший из Агмонда и успевший по дороге прочесть молитву над могилами только что похороненных жертв кро-

вавого поединка. Порученец монарха обратился к крестьянину:

— Здравствуй, сын мой. Отвечай мне как на духу, ибо я священнослужитель и мне можно исповедоваться во всем. Не видал ли ты экипажа, на котором едет молодая госпожа со служанкой и маленьким ребенком?

— Здравия желаю, святой отец, — поклонился старож. — Нет, не видел ничего похожего за последнее время.

— Ни вчера, ни сегодня утром?

— Вот вам крест! А сказать по правде, вечером вчера загулял с дружками и продрал глаза только попелудни. Может, что и было, да я не помню.

— Разве ты не знаешь, что пить грешно?

— Знаю, как не знать, ваше высокопреподобие.

— Отчего же пьешь?

— Потому как слаб. Искушает меня нечистый.

— Надо сопротивляться. А не то он и вовсе утащит тебя к себе.

— Понимаю, как не понимать!

— Бойся, бойся адского пламени! — Герман перекрестил мужика. — Этот грех тебе отпускаю, но клянись, что не станешь далее внимать проискам лукавого.

— Чтоб мне провалиться! — И умильно поцеловал руку Герману. Проводив архиепископа взглядом, проворчал: — Ишь какой святоша! Мы таким не верим. Отчего не в сутане, а в мирском платье? И с мечом на боку? Тоже поживиться задумал старым золотишком? Ничего у тебя не выйдет, милый. Карл Головорез путников настигнет быстрее, потому как знает, куда скакать. А на денежки эти я поеду к сестрице в Вену и открою лавку. Надоело сидеть в глуши и питаться одним луком с огорода!

Озеро Нейзидлер-Зе было беспокойное, серое, с камышами по берегам и бесчисленными птицами, вспархивавшими из зарослей. Ветер гнал в лицо водяную пыль. Вскоре одежда путников здорово промокла,

и пришлось завернуть в деревню, чтобы обогреться, высушить белье и поесть. Местный парень, Миклош, венгр, говоривший хорошо по-немецки, вызвался сопровождать их до крепости Дьёр, где нередко бывает сам король. «Там-то знают, как его найти, — утверждал он с уверенностью, словно состоял при дворе. — Калман приезжает сюда охотиться. А и то: уток пострелять — завсегда забавно. Да и прочей живности тут всегда хватает, здешние края не обижены Богом».

Выехали в три часа дня, чтобы к вечеру оказаться в крепости. Путь лежал вдоль реки, вытекавшей из озера строго на восток. Но один из мостов оказался сломан, вынужденно сделали крюк, чтобы переправиться в другом месте. Да еще повозка застряла в луже, всем пришлось сойти и опять промокнуть, Миклошу и Хельмуту — до нитки, так как оба вызволяли экипаж из грязи. Но веселый венгр приоблаживал загрустивших женщин:

— Ничего, ничего, вот минуем Заколдованный лес, и уже до Дьёра будет рукой подать.

— Почему — Заколдованный? — струсила Паулина, прижимая кулек со спящей Эстер к груди.

— А считается, что там черти водятся. И вообще нечистая сила. Ночью лучше туда не соваться, это верно. Защекочат насмерть.

— Ладно врать-то, — усмехнулся возникший. — Я в нечистую силу не верю.

— И напрасно, — наставительно сказал молодой человек. — Жил у нас в деревне малый — Иштван по прозвищу Бродяга. Беспшашный такой, гуляка. Тоже всё кричал, что чертей не боится. Как-то раз вызвался пройти через Заколдованный лес. Говорит мужикам: если выйду под утро целым и невредимым, покупаете мне бочонок вина. Те ему в ответ: покупаем два, только выйди. Ну, и проводили беднягу...

— Что, не вышел? — с дрожью в голосе спросила служанка.

— Вышел, почему. Только полоумный. Никого уж не узнавал, лопотал бессвязно и ходил под себя, как маленький. А потом в одночасье умер. Вот вам и нечистая сила.

Хельмут все равно не поверил:

— Это он с испугу. Тронулся от страха. Больше ничего.

Миклош согласился:

— Может быть, и так. Только упаси вас Господь оказаться ночью посреди Заколдованного леса!

Лес действительно выглядел мрачнее, чем Венский: мшистый, старый, весь какой-то опрелый и темный; непогода и отсутствие солнца завершали безрадостную картину. Ветер налетал на засохшие кроны и обламывал сучья; те, хрустя, падали на землю. Женщины от этого вздрагивали.

— Конский топот, нет? — неожиданно прислушался немец.

Венгр, ехавший на козлах рядом с ним, вытянул встревоженно шею:

— Разве? Показалось. Вроде никого.

Но мгновение спустя стук копыт обозначился совершенно явно.

— Кто-то догоняет.

— Да не может быть. Почему за нами? Просто едут.

— У меня дурное предчувствие, — заявила Ксюша. — А нельзя ли свернуть с тропы и укрыться за деревьями?

Провожатый ответил:

— Нет, нельзя сворачивать, может выйти хуже: это ж Заколдованный лес!

Оставалось ждать в неопределенности.

Вскоре на дороге появилась четверка всадников. Увидав повозку с Евпраксией и Паулиной, все они, привстав в стременах, радостно заикались. И, нагнав экипаж, осадил Хельмута:

— Стой! Стоять! Приехали.

Евпраксия спросила их по-немецки, пряча за разгневанностью волнение:

— Кто вы, господа? Что вам нужно?

Карл Головорез — как вы догадались, во главе налетчиков был приятель сторожа деревенской часовни, — ухмыляясь, проговорил:

— Мы грабители, с вашего разрешения... И нужны нам денежки, что лежат у вас в сундуке... — А потом добавил: — Если отдадите безропотно, то отправитесь дальше с миром. Станете капризничать — будем применять силу.

Воцарилось молчание. Евпраксия повернулась к служанке и дрожащим голосом прошептала:

— Я, пожалуй, выполню их желание. Как считаешь?

— Видимо, придется. Денежки накопятся, а вот жизнь одна.

Ксюша согласилась и, взглянув на Карла, громко произнесла:

— Вот, берите. Он стоит у меня в ногах и закрыт рогожей.

Два разбойника спрыгнули с коней и, приблизившись, взялись за рогожу. Неожиданно Миклош, выхватив клинок из-за голенища, ловким движением перерезал горло одному из бандитов и, пока тот, хрипя и падая, упустил ручку сундука, поразил второго, яростно вонзив лезвие под ребра. А потом, оскалившись, обернулся к Карлу:

— Ну, приятель, получил по заслугам?

Но Головорез тоже был не промах. Он достал прикрепленную к заднику седла деревянную палку, на которой болталась цепь с металлическим шариком, сплошь утыканным острыми шипами, и, раскручивая цепь, засвистевшую в воздухе, двинул лошадь на венгра. Тот пытался отбиться, но, понятное дело, положение пешего и конного не равны; шарик обрушился на голову Миклоша и в мгновение ока проломил ему череп. Парень рухнул на землю как подкошенный.

А Головорез, продолжая размахивать палкой, про-
рычал зловеще:

— Ну, кто следующий? Я предупреждал...

Ксюша отозвалась:

— Не сердитесь... простите... забирайте сундук, по-
жалуйста...

Карл ответил:

— Убирайтесь прочь из повозки! Станьте сбоку. Ру-
ки на затылок! — И перевел глаза на Хельмута. — Эй,
а ты что сидишь, болван? Становись рядом с ними.
И давай без глупостей!

Кучер слез с облучка и покорно присоединился
к женщинам. А четвертый разбойник караулил, чтоб
они не сбежали. Тут главарь увидел, что служанка по-
прежнему прижимает к себе ребенка.

— Я кому сказал: руки на затылок!

Паулина взвилась, точно взнузданная кобыла,
и в ответ заорала на него:

— Ты ослеп, кретин? Как прикажешь поступить
с дочкой? Бросить на обочину?

— Мне плевать! Руки на затылок!

— Да пошел ты!..

Карл опять поднял палку над головой, засвистела
цепь, и проклятый шарик был готов уже поразить
строптивую горничную. Но внезапно Евпраксия от-
толкнула ее и воскликнула, обращаясь к Головорезу:

— Нет! Не смей! Бог тебя покарает!

Тот не внял ее причитаниям и нанес удар. У Опраксы
потемнело в глазах, и она осела на глинистую дорогу...

Пролежав без движения неизвестно сколько, посте-
пенно пришла в себя, начала слышать, приоткрыла
глаза.

— Ваша светлость, ваша светлость, очнитесь! — го-
ворил Хельмут, теребя ее за плечо. Он стоял на коле-
нях, мокрый, перепуганный, с крючковатым носом,
чуть ли не касающимся верхней губы, волосы стояли
торчком.

Сумерки сгущались. Дождь по-прежнему моросил.

Киевлянка попробовала подняться, голова ее снова закружилась, а из горла вырвался стон. Подняла руку и ощупала рану на голове; та саднила сильно и сочи-лась кровью, но была не смертельна, даже кость оста-лась целой. Кучер произнес радостно:

— Господи Иисусе, слава Богу, вы живы!

Морщась, Евпраксия спросила:

— Где грабители? Паулина где?

Немец запричитал:

— Ой, не поминайте об этом... Мы остались вдвоем: вы, да я, да еще малое дитя... больше никого...

— То есть как? — Женщина окончательно пришла в себя.

— Никого, никого, ваша светлость. Лиходеи забра-ли нашу конягу и деньги. Миклош умер еще при вас. А несчастную Паулину, наклонившуюся над вами, тот, второй, поразил дубиной. К сожалению, насмерть...

— Боже мой! — задрожала Ксюша. — Где она? Где она лежит?

— Тут, недалеко. Подымайтесь, я помогу...

Увидав мертвую служанку, бывшая императрица заплакала, стала гладить безжизненное тело и просить прощения. Скорбные стоны княжны прервала девочка, заснувшая рядом в кулке.

— Свят, свят, свят! — бросилась к ребенку Опрак-са. — Эсти, дорогая... Вся промокла, продрогла... и еды у нас никакой... Хельмут, посмотри там в повозке — кринка со сметаной... Может, не разбилась?

Нет, по счастью, была цела. Евпраксия, перенеся малютку под матерчатый верх экипажа, попыталась накормить ее с ложки. А возничий, орудуя выронен-ным Миклошем ножом, вырыл в песчаной почве не-большую яму и соорудил из еловых веток корявый крест. Подошел к повозке:

— Надо бы предать убитых земле. Поклониться их праху.

— Да, сейчас иду.

Встали на колени у могильного холмика, низко поклонились. И, молясь, призвали Господа пропустить души Паулины и Миклоша в Царствие Небесное.

Вечер постепенно сделался непрогляден. Хельмут предложил:

— Не заночевать ли на месте? Разожжем костер и чуток погреемся. Я улягусь под днище, вы с девчушкой — в повозке. На заре побредем к жилью.

— Нет, идем немедленно! — приказала та. — Я здесь не останусь. Заколдованный лес — понимаешь? Жуткое, проклятое место! — Помолчав немного, объяснила грустно: — Все равно не смогу уснуть... Лучше уж идти. И в движении, в действии разогнать тоску. А потом, боюсь за Эстер. Ела плохо, и сметана заменить молоко не может. Где-нибудь под утро мы разыщем кормилицу.

— Ну, как знаете, воля ваша.

Немец взял на плечо сундучок княжны с неразграбленными вещами — нижними юбками и рубашками, несколькими книжками и пергаменатами, металлическим зеркальцем и заколками для волос; Евпраксия прижала к груди сверток с девочкой, и, благословясь, отправились в путь.

Шли небыстро, в полной темноте, различая дорогу только иногда, если между туч проглядывала луна. Дождик перестал, но земля под ногами сохраняла влагу, и, не приспособленные к длительной ходьбе, туфли Евпраксии быстро пропитались водой, стали хлюпать и чавкать. Да еще Хельмут нагонял страху:

— Как бы волки не объявились. Если стая — разорвут в клочья...

Где-то из дупла ухал филин, и его дикий хохот заставлял леденеть в жилах кровь. У княжны от ужаса и ночной прохлады начали стучать зубы, волны дрожи прокатывали по телу. «Господи, — шептала она, — сохрани меня и прости. Я была верна тебе, Господи, и не отреклась от Креста, как того желал Генрих. Столько

мук и невзгод претерпела стойко... стыд, позор и презрение окружающих... смерть друзей и любимого сына... Неужели, Господи, Ты теперь меня не помилуешь и не выведешь на свет Божий?»

Лес внезапно кончился, и они пошли по бескрайнему глинистому полю, комковатому и еще не вспаханному. Тут безумствовал ветер, бил то в спину, то в грудь, норовя свалить с ног. Вдруг дорогу им преградил забор.

— Ох, никак жилье? — удивился Хельмут. — Без причины загородки в поле не ставят...

И действительно, лунный диск, промелькнувший в тучах, осветил в низине деревенские домики. Совершенно окоченевшие странники, несмотря на тяжесть в ногах, устремились по склону к вероятному крову. Принялись дубасить в первую попавшуюся дверь. И — о счастье! — четверть часа спустя грелись у огня, лакомились бобовой похлебкой и отдали Эстер хозяйке, у которой у самой оказался новорожденный и она согласилась покормить своим молоком бедняжку... А какое блаженство испытала вчерашняя государыня, растянувшись на твердой крестьянской лежанке, — не сравнимое даже с тем, что порой возникало у нее в царственных покоях!..

Поутру напросились в телегу к одному из соседей, направлявшемуся в Дьёр с несколькими бочками сливочного масла. В небе сияло солнце, рыжая кобыла весело махала хвостом, отгоняя оводов, а спокойный сытый ребенок безмятежно дремал на коленях Опраксы. Неужели Небо вняло ее мольбам и теперь все у них сложится по-доброму? Зря надеялась. Не успели они оказаться в крепости, как попали в плен к зорким караульным. «Что за люди? Чем докажете? Есть при вас верительные грамоты?» — сыпались вопросы. Ссылки на разбойников выглядели сказками. А поверить в то, что усталая хрупкая женщина в перепачканном глиной одеянии — бывшая императрица Адельгейда, было невозможно.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств русскую с ребенком заперли в одной из комнат дворца ко-

менданта крепости. А ее возничего — в небольшом сараюшке во дворе. Но кормили на всякий случай щедро.

Там же, три дня спустя

Герман двигался в Дьёр окружной дорогой, не переезжал реку и поэтому не попал в Заколдованный лес. И достиг крепости на вторые сутки. Сразу же пришел к коменданту, предъявил пергамент от Генриха, удостоверяющий данные ему полномочия. И спросил без обиняков:

— Здесь ли ее величество Адельгейда?

Комендант смутился, глазки его забегали:

— Нет... не знаю... не могу судить...

— Как это — не можете? — высоко поднял брови немец.

— Третьего дня к нам пришла особа... с маленьким ребенком... и слугой-кучером... утверждая, что она королевской крови... но доподлинно мы установить не сумели...

— Где ж она теперь?

— Под домашним арестом у меня в покоях. А слуге, паршивцу, удалось сбежать из-под стражи.

— Да? Сбежать?

— Мы его заперли в сарае. Так — поверите? — эта обезьяна сквозь трухлявую крышу вылезла наружу, оказалась на крепостной стене и, рискуя разбиться насмерть, сиганула в реку. Догонять не стали. Ночь была, темно. А к утру, я думаю, удалился от Дьёра на приличное расстояние.

— Бог с ним, со слугой. Я желал бы увидеть вашу арестантку.

— С удовольствием вас провожу...

Евпраксия повернула голову в сторону вошедшего. Он ее узнал сразу. Этот нежный профиль, мягкий овал смуглого лица, темно-русые курчавые волосы — цвета хорошо поджаренной хлебной корочки, и коричневые

глаза — как лесные орехи... Но насколько императрица повзрослела за последние годы! Герман видел ее впервые в Кёльне, десять лет назад, на венчании с Генрихом. Ей тогда было девятнадцать: легкая, воздушная, вся какая-то неземная, хрупкая, как китайский фарфор, и щебечущая, как пеночка... А теперь перед ним была усталая взрослая женщина с первыми морщинками возле губ и носа. Взгляд такой тревожный, неласковый, умудренный жизненными невзгодами. Бледность щек. Черное закрытое платье. Черная накидка на волосах...

Порученец кесаря поклонился:

— Здравия желаю, ваше императорское величество... Вы не узнаете меня?

Евпраксия нахмурилась:

— Вы архиепископ Кёльнский?

— К вашим услугам, государыня.

— Я не государыня. Мы в разводе с мужем. А развод утвержден Папой Римским на соборе в Пьяченце.

— Ошибаетесь. Император заклеил Урбана Второго как самозванца. Настоящий Папа — Климент Третий. И развод ваш в Пьяченце не действителен.

— Это казуистика. Крючкотворство. Не желаю вдаваться в мелочи. Главное одно: я навеки порвала с Генрихом и хочу вернуться на Русь.

Герман подошел ближе, заглянул ей в глаза:

— Вы давали клятву Создателю, перед алтарем.

— Да, давала.

— Я с архиепископом Гартвигом, совершавшим обряд венчания, был тому свидетелем. Вы клялись сохранять верность императору, стать его помощницей, разделяя и радости, и невзгоды. И оставили потом в трудную минуту!..

Ксюша возразила:

— Прежде Генрих сам изменил обетам. Клялся на Кресте, а затем принуждал меня от Креста отречься. Разве это не святотатство?

Не смутившись, Герман продолжал настаивать:

— Заблуждался — да, находился под влиянием Рупрехта Бамбергского. Но, со смертью последнего, встал на путь истинный и вернулся опять в лоно церкви.

Женщина ответила сухо:

— Я не верю ни единому слову. Ни его, ни вашему.

— Ах, как вы меня огорчаете! — с сожалением произнес священнослужитель и прошелся по комнате взад-вперед. — Ибо нарушаете заповедь Спасителя о милости к падшим. Генрих раскаялся, пожалел о содеянном и простил вам ваши слова на Пяченском соборе. Так простите и вы его.

— Ни за что.

Говорить было больше не о чем, но архиепископ не отступил и, слегка помедлив, с нежностью сказал:

— Не упорствуйте, Адель. Вы же любите его.

Евпраксия молчала, опустил голову и поглаживая одеяльце Эстер.

— Любите, я знаю. Потому что любовь и ненависть — аверс и реверс одной медали. И тогда, в Пяченце, и теперь... чтоб ни говорили... Он для вас — главный человек в жизни. Так же, как и вы для него. Связаны навечно. Можно уезжать, убегать, отречься, поливать грязью, оставаясь преданными друг другу. Если он умрет, вы умрете тоже.

Побледнев еще больше, Евпраксия спросила:

— Но умри я, разве он умрет? Сомневаюсь.

— И напрасно. Получив пергаменты с вашей речью в Пяченце, Генрих слег в постель, перестал есть и пить и вставал только для молитвы. Нам, друзьям, чудом удалось его образумить, убедив, что Папа — самозванец и развод не действителен.

Снова помолчав, женщина смягчилась:

— Император — человек настроения. И в Каноссу ходил под настроение, а потом, получив прощение у прежнего Папы, не замедлил его проклясть. Где гарантии, что, решив со мной воссоединиться, не запрет меня опять в замке, как прежде, и не станет издеваться с удвоенной силой?

— Вот гарантии. — И церковный иерарх вынул из-за пазухи свиток пергамента; раскатав его, торжественно прочитал: — *«Мы, милостью Божьей, император Священной Римской империи и король Германский, Генрих Четвертый, сын Генриха Третьего, из Франконской династии, повелеваем. Не считать брак с императрицей Адельгейдой, урожденной великой княжной Киевской Евпраксией, расторгнутым по причине нелегитимности Папы Урбана Второго и собора в Пяченце. Сохранить пожизненно за императрицей все ее привилегии и регалии. А возможных будущих детей, в этом браке рожденных, объявляем заранее полноправными наследниками нашими, наравне с сыновьями Конрадом и Генрихом от первого брака».* Руку приложил... вот... взгляните...

Евпраксия взмахнула ладонью, не желая смотреть. Да и не могла, если откровенно, потому что по щекам ее текли слезы, застилая глаза. Из груди несчастной вырвалось:

— Как же это всё... запоздало!.. — И, достав платок, вытерла лицо.

Герман, чувствуя, что она колеблется, начал говорить с жаром:

— Никогда не поздно, ваше величество! Лишь одна необратимость существует на свете — смерть. Остальное можно поправить.

Дрогнув, Ксюша посмотрела на него снизу вверх, как испуганное дитя:

— Я боюсь его... Я не знаю, что делать...

— Ехать, ехать в Германию! Не теряйте своего счастья!..

**Восемь лет спустя,
Киев, 1106 год, осень**

Получив известие о кончине Генриха, Ксюша заболела нервной лихорадкой и лежала пластом в кровати две недели. Не хотела никого видеть, только плакала и молилась. Мать увещевала ее:

— Так нехорошо, тэвочки моя, ты себя убивать и со свету сживать, делать очень плёх. На кого меня оставлять? Князь великий Всеволод умирать, Ростислав-сын утонуть, Катя в монастырь, ты одна у мене доченьки-подруженьки. Разве нам с тобой вместе худ?

— Ах, не ведаю, маменька, не ведаю, — отвечала княжна. — Будто свет померк. Пустота в душе. Жить не хочется.

— Нет, не говорить таких слов. Только Бог решать — жить, не жить. Если жить — должен потерпеть.

Катя Хромоножка приводила к ней жизнерадостную Эстер, получившую в православии имя Вассы. Васска щебетала:

— Я спервоначалу пужалась в монастыре — все такие строгия да сурьезныя, страх! Апосля ничего, подружилася с Мартемьяшкой Чурилой и Парашкой Лодочницей, нам втроем забавней. Вместе в хоре поем на клиросе.

Катя подтвердила:

— Сестры отзываются хорошо. Говорят, девочка способная, память цепкая, все науки постигает на раз. И поет справно. Спой, голубушка, что-нибудь Опраксе.

— С превеликой радостью. Только что?

— А пожалуй что Богородичен тропарь — в нем такие слова пронзительные, я всегда от них трепещу.

— Так изволь, спою.

И затягивала тоненьким голоском, по-цыплячьи вытянув шею из воротника платья и прикрыв глаза:

— «Чем Тебя наречём, о Благодатная? Небом, так как озарила нас Солнцем Истины. Раем, ибо прорастила древо Жизни. Девой, — по Рождестве была нетленна. Чистой Матерью, потому что держала во святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. Моли же Его спасти души наши!»

Ксюша слушала поначалу как-то отрешенно, даже с недоверием, но проникновенное, звонкое пение дочки

Паулины постепенно растопило лед в ее душе, сильно растрогало, слезы потекли по щекам — но уже не горькие, а умильные, очистительные, и подобие улыбки промелькнуло на губах бывшей императрицы. Притянула Васку к себе, обняла и поцеловала, а потом спросила у Хромоножки:

— Может, мне постричься во Христовы невесты, как считаешь?

Катя, вдохновленная уже тем, что сестра не думает больше о смерти, а интересуется жизнью, хоть и в монастыре, покивала радостно:

— Ну конечно, постричься! Самое разумное. Станем вместе на молитвы ходить и прислуживать в храме. Отдалимся от суетного мира.

— Я боюсь, Янка не допустит.

— Ты ее обойди.

— Это как же?

— Бросься в ножки к митрополиту. Он поймет и поможет. Их высокопреосвященство, будучи из греков, в наши русские дразги не встревает. И приблизил к себе только Феоктиста, настоятеля Печерского. Остальных держит в отдалении.

Евпраксия нерешительно согласилась:

— Может быть, и брошусь. Мне теперь либо в монастырь, либо в петлю.

— Ох, да что ты! — осенила себя крестом младшая сестра. — Как не стыдно речи вести такие? Да еще при дитятке!

Девочка откликнулась:

— Лучше в монастырь. Мы и видаться тогда сможем чаще.

— Надобно подумать еще. Шаг-то непростой и бесповоротный. Как его маменька воспримет? Не хотелось бы ее слишком огорчать.

Хромоножка заметила:

— Маменька посетует и потом смирится. А тебе будет много легче. Знаю по себе: как решилась постриг

принять, сразу на душе просветлело; я в миру-то мучилась от своей убогости — что меня замуж не берут, что детишек никогда не рожу, и так далее; а в Христовых невестах это всё ушло, в воду кануло и быльем поросло. Начала думать о возвышенном. А с другой-то стороны, мы не на Афоне, где заведены строгие порядки и монастыри общежитские — надо ночевать обязательно в кельях, трапезничать вместе и свое тело истязать скупостью в еде. В наших-то обителях всё попроще.

Ксюша возразила:

— Нет уж, коль решусь, буду по-афонски или по-католически — в Кведлинбурге-то привыкла, и меня это не страшит.

— Ну, решай, как знаешь. Мы тебя завсегда поддержим.

Евпраксия порывисто обняла обеих:

— Милые вы мои! Как же хорошо, что вы рядом. Я без вас точно бы преставилась!

У митрополита в хоромаш появление бывшей германской государыни вызвало немалое удивление, странное движение, приглушенный говор. Провели гостью в теплую палату, взяли шубу, положили на лавку, попросили не сердиться и подождать. Та сидела и трепетала внутренне. Как-то примет ее Никифор? Говорят, он терпеть не может католиков, Западную церковь, а Опракса более двенадцати лет пребывала в ее лоне. И потом, тот скандал в Пьяченце, шумный развод с Генрихом, некрасивые слухи... Добрались до Руси давно. Уж недаром прозвище дали: «сука-волочайка»! И митрополит, разумеется, тоже знает. Так захочет ли проявить снисходительность? Если не захочет, то пиши пропало, Янка не захочет тем более, на порог монастыря не пустит. «Дабы не сквернить наших стен»! Тоже мне святоша! Строит из себя внучку византийского императора... Нет, понятно, внучка-то она внучка, только есть немалое подозрение, что Мария Мономах, мать Владимира Мономаха и Янки, не законная дочка импе-

ратора Константина Мономаха, не порфирородная, а побочная, от его рабыни Склерины! Так что не известно еще, кто из них знатнее — Янка или Ксюша; Ксюша хоть от матери-половчанки, но законной дочери хана Осеня, в жилах нет ни капли холопской крови!

Дверь открылась, и вошел митрополит. Посмотрел приязненно и сказал по-гречески:

— Здравствуй, дочь моя. Что же побудило тебя появиться в сих священных чертогах?

Евпраксия, потупившись, попросила:

— Разрешите, владыка, ручку облобызать?

— Лучше крест.

— О, благодарю... — И с немалым чувством приложилась губами к золотому массивному кресту, что висел на груди у первосвященителя.

— Значит, признаешь символ христианства? — отозвался Никифор и устроился в деревянном кресле напротив. — Сядь и отвечай.

— Как иначе, отче?

— Говорили, что будто бы супруг твой, Генрих, в ереси замешан, от Креста отрекся и тебя к этому склонял. Правда ли сие?

Глаз не смея поднять на митрополита и ломая от волнения пальцы, Ксюша подтвердила:

— Да, склонял, врать не стану. И хотя была предана мужу всей моей душой, отказалась. Что, в конце концов, и явилось причиной нашего разрыва.

— И теперь не желала б к нему вернуться? Если бы позвал?

Русская ответила:

— Он не позовет. Генрих умер.

Грек проговорил грозно:

— Но ведь ты писала к нему? Через иудеев киевских?

Та похолодела. «Господи, он знает! — ужаснулась Опракса. — Донесли! Донесли! Неужели Лейба?» — и произнесла тихо:

— Проявила слабость... Что-то шевельнулось в груди, проблеск света и неясной надежды — после отречения императора... Он ведь сам отправлял мне письмо — много лет назад, в Штирию, и потом прислал даже порученца, чтобы убедить меня приехать назад. Уверял, будто бы покался и ересь свою заклеил... Только я ему не поверила... А потом подумала... Ах, простите, ваше высокопреосвященство! — И она опустилась на колени. — Разрешите замолить все мои грехи. Мысль одну лелею — удалиться от мира суетного и принять постриг. Так благословите же, отче!

Иерарх молчал. Не сказав ни «да», ни «нет», снова задал вопрос:

— Отчего ты пришла ко мне, а не прямо к Янке? Думала, она не простит, а меня удастся разжалобить?

Евпраксия почувствовала себя уничтоженной. Маленькой нашкодившей девочкой перед ликом сурового учителя. И, как девочка, разрыдалась — горестно, беззвучно, — повторяя опухшими губами:

— Извините, отче... извините меня, пожалуйста...

Он сказал примирительно:

— Хватит, хватит, сядь. Дело не во мне и не в Янке. Ты готова ли сама к постригу? Походи в послушницах, а потом решай. Для чего спешить?

— Нет, хотела бы как можно скорее. Жить в миру не имею сил. Всё кругом постыло, мерзко и бессмысленно. Лишь служение Господу вижу для себя целью. Дабы вымолить у Спасителя прощение — и покойному императору, и себе, грешной.

У Никифора прищурился правый глаз:

— Императору? Продолжаешь печься?

Уронив руки, пригорюнившись, Ксюша заявила неожиданно твердо:

— Я его бывшая жена. А теперь вдова. Я его любила. И надеюсь соединиться на небесах.

Грек не зло поёрничал:

— Или в преисподней?

— Или в преисподней... Лишь бы только встретиться.

Иерарх вздохнул:

— Не о том заботишься... Ладно, Бог с тобой. Я не против твоего пострига. Можешь передать Янке. Но последнее слово все равно за ней, ибо настоятельница — она. — И поднялся, говоря тем самым, что беседа завершена.

Русская поклонилась в пояс, а первопрестольник ее перекрестил. И, насупившись, удалился молча, вроде недовольный своим мягкосердечием.

Ксюша прошептала:

— Ничего, неважно... Главное, что благословил... Если и не к Янке, так в другую уйду обитель. На одном Андреевском монастыре свет клином не сошелся...

Там же день спустя

Янке было в ту пору около пятидесяти лет. Младшая сестра Владимира Мономаха, с детства отличалась она въедливым характером и высокомерием. Всех считала ниже и глупее себя. На лице девочки читалось: «Дед мой — Константин Мономах, я не вам чета, вы не стоите моего мизинца!» Стала сиротой на тринадцатом году жизни и возненавидела мачеху — половчанку Анну, старше Янки только на два года и ровесницу Владимиру. «Мразь, дикарка! — думала о ней падчерица. — Как она посмела затесаться в нашу семью, приобщиться к Рюриковичам? Чтоб ей пусто было!»

Вскоре отроковицу стали волновать новые заботы: ведь отец сговорил ее за правителя Византии — императора Константина Дуку — и отправил с пышным свадебным поездом в Царь-град. Но судьба не улыбнулась девице: ехала и плыла она около двух месяцев, а за это время греки совершили у себя государственный переворот, Константина свергли и насильно постригли в монахи. Так что он жениться уже не мог. Опо-

зоренной Янке ничего не оставалось, как вернуться обратно. Больше замуж ее не брали, и она, основав на деньги отца Андреевский женский монастырь, стала его игуменьей.

Впрочем, духовное призвание не мешало ей ненавидеть по-прежнему Анну и ее детей. И особенно — Евпраксию, уродившуюся писаной красавицей. Ведь саму Янку Бог не наградил ни пригожестью, ни изяществом. «Эта замарашка неожиданно стала германской самодержицей?! — рассуждала игуменья. — Господи, помилуй! Все мужчины одинаковы: что отец, прельстившийся глупой, но смазливой куманкой, что германец Генрих...» Слава Богу, вскоре немец понял свою ошибку и прогнал Опраксу. А она, распутница, обвинила его же в ереси! Сука-волочайка! Ни стыда, ни совести!

И когда келейница Серафима доложила матушке, что пришла ее младшая сестра, Янка недовольно спросила:

— Катя Хромоножка? Что еще ей надо?

— Нет, не Хромоножка — Опракса.

Настоятельница от этого имени даже передернуло:

— Как она посмела? Не желаю видеть.

— Говорит, с благословения самого митрополита.

Догадавшись, что ее объехали на кривой козе, Янка сжала кулаки:

— Ах она паскуда! Прорвалась к Никифору... и своими чарами... грек не устоял... Ну, понятно! — и ругалась довольно непристойно несколько минут.

Переждав очередную тираду, Серафима хладнокровно осведомилась:

— Что же ей сказать?

— Прогони ракалию в шею.

— Неудобно, матушка. Будет жаловаться их высокопреосвященству.

— Ну и пусть. Мне не больно страшно. Ничего не сделает, только пожурит.

— Для чего же затевать распрю на пустом месте? Можно тут решить.

— Не учи меня! Я не допускаю к себе падших женщин! Выстави ее. Слышишь, выстави!

Уходя, келейница проворчала:

— А Господь наш Иисус Христос допускал...

Янка вспыхнула:

— Что такое? Что ты там бубнишь?

Посмотрев на нее из-под седоватых бровей, Серафима ответила:

— Ничего, вырвалось нечаянно.

— Нет, скажи.

— Говорю — нечаянно.

— Повтори немедленно!

Та, поколебавшись, решилась:

— Иисус Христос допускал к себе падших женщин. И учил: их раскаяние во сто крат дороже, чем моление праведниц.

Настоятельница спросила:

— Не рехнулась ли ты, сестра? Упрекаешь меня в отступлении от истинной веры?

— Я не упрекаю. Я напоминаю.

— Прочь иди. Мне казалось, что ты умнее. И тебя околдовала эта паскудница?.. — Но когда келейница собиралась уже выйти за порог, бросила надменно: — Хорошо, так и быть, пригласи ее. Пусть изложит просьбу.

Евпраксия и вправду напоминала кающуюся Магдалину: бледное осунувшееся лицо и круги под глазами, черная накидка и опущенные долу глаза. Настоятельница отметила про себя — не без доли злорадства: «Подурнела-то как! Постарела даже. Тридцать семь не дашь. Сорок семь — пожалуй...»

— Здравия желаю, сестра, — поклонилась Ксюша.

— Здравствуй, здравствуй, коли не шутишь. Что сказать желала? Для чего ходила к митрополиту?

Та ответила кротко:

— Била ему челом. Чтоб на постриг благословил.

Янка рассмеялась ехидно:

— Ты — в монашки? И хватает совести?

Покраснев, Опракса произнесла:

— Бог ко всей пастве милостив. В том числе и к заблудшим тварям. Отчего же я, даже не заблудшая, а бездольная просто, не могу надеяться на спасение?

Но игуменья отразила ее наскок:

— Раньше о спасении надо было думать. Не надеяться на всемилостивого Всевышнего. Бог не только милует, но и воздает по заслугам. И таким, как ты, нет прощения.

— Да каким «таким»?

— Снюхавшимся с дьяволом. Христонпродавцам. И еретикам.

Посетительница воскликнула:

— Как ты можешь судить об этом, если даже не знаешь всей моей гистории?

Янка хмыкнула:

— Мне твою *гисторию* слушать недосуг. Есть дела важнее.

— Значит, митрополиту, первосвятителю, был досуг, а тебе, получается, нет? Значит, слово его для тебя — звук пустой? Память о батюшке нашем, Всеволоде Ярославове, внуке Володимера Святого, давшем благословение отеческое на мое венчание с Генрихом, так — пустое?

Старшая сестра отвернулась к окну и сказала холодно:

— Не стражай, не стражай, голубушка. Уважаю и память о родителе, и Никифорову жалость к тебе. Почему бы нет? Но имею и свое мнение. Голова на плечах не отсохла, чай! И отвечу так: коль желаешь — ладно, благословлю на постриг. Но потом, в обители, роздыху не дам. Света белого у меня не взвидишь. Каяться заставляю денно и нощно. Сразу предупреждаю, дабы не роптала.

Евпраксия ответила просто:

— Не взропцу. И любую повинность сочту за благо.

— Что ж, тогда ступай. Кто твой духовник?

— Так отец Евлампий из Вышгорода — что и маменькин.

— Исповедуйся ему, пусть грехи отпустит. И наставит, как вести себя дальше перед постригом. На великомученицу Варвару приходи.

— Слушаю, сестра.

— Я теперь тебе не сестра, но матушка.

— Матушка игуменья.

— То-то же, ступай. И молись, несчастная!

А когда Опракса, поклонившись, удалилась из кельи, Янка усмехнулась ей вслед: «Дурочка — она и есть дурочка. Понимает, что не люблю, только все равно лезет. В голове мякина! Хочешь — получай. Я три шкуры с тебя спущу. Генрих-еретик ангелом покажется!» Посмотрела в оконце, взгляд перевела в Красный угол и перекрестилась. И спросила сама себя: «Чтой-то я разгневалась будто? Сердце тук-тук-тук. Из-за этой девки?! Недостойной во всех отношениях? Полно, полно, нужно успокоиться. И быть выше мелких чувств. Я не только Рюриковна, но и Мономаховна. Не пристало мне злиться по пустякам». Кликнула келейницу и сказала:

— Я дала согласие на ея постриг. Ты была права: надо проявлять милость к падшим.

Серафима, перекрестившись, вздохнула:

— Слава Богу! Мы должны учиться у тебя добродетели, матушка.

Настоятельница заглянула монашке в лицо: уж не ерничает ли, мерзавка, уж не издевается ли? И не поняла. И махнула пренебрежительно рукой: мол, иди, иди, расскажи сестрицам, как умею я преодолевать личное и покорно исполнять Заповеди Господа.

До насильственной смерти Опраксы оставалось всего лишь два с половиной года.

**Восемь лет до этого,
Венгрия, 1098 год, весна**

Герман, архиепископ Кёльнский, уговаривая ее величество Адельгейду, урожденную Евпраксию, возвратиться к мужу, Генриху IV, и почти достигнув в этом деле успеха, не учел одного момента. Хельмут, кучер, убежал из-под стражи не просто так. Раскачав пару досок на трухлявой крыше сарая, где его держали, и благополучно выбравшись на свободу сквозь проделанную дыру, сразу не помчался прыгать с крепостной стены в реку, а направился под покровом ночи к дому коменданта. Влез на дерево, а с него перебрался на карниз второго этажа. И, рискуя поломать шею в случае падения, двинулся по узкому уступу, незаметно подглядывая в незашторенные окна. Наконец нашел нужное окно — в комнате увидел свою хозяйку, наклонившуюся над кроватью с Эстер. И чуть слышно постучал в ячеистое стекло. Женщина испуганно оглянулась. Он махнул ей рукой, и она, бросившись к окну, распахнула раму.

— Господи, неужто? — улыбнулась Опракса. — Залезай скорей. Как сумел сбежать?

— Бог помог. Я за вами. Ваша светлость в состоянии улизнуть отсюда?

— Что? Сейчас? — озадачилась та.

— А иного случая может и не представиться.

— Ты меня смутил... А Эстер? Подвергать ее опасности я бы не отважилась.

— Да, девчушку-то придется оставить.

— Ни за что, ни за что, слушать не желаю! Мне и так нет прощения за смерть Паулины. Позаботиться о ее кровиночке — мой священный долг. — Усадила кучера в кресло, угостила принесенными ей от коменданта фруктами и бисквитами. А потом продолжила: — И еще одно обстоятельство: я опять подумываю, не вернуться ли к его величеству...

Хельмут оторопел и застыл с непрожеванным персиком во рту. Проглотил и спросил:

— Вы готовы его простить?

Ксюша покраснела:

— Да, наверное... До конца не решила...

— Сами ж говорили: «дьявол во плоти»!

— Говорила, да... Но ты понимаешь...

— Ох, побойтесь Бога! Я, конечно, человек маленький, не имею права наставлять господ, но скажу по-нашему, по-житейски. У меня была жена Хельга. Я и обратил на нее внимание из-за имени. Я вот — Хельмут, а она — Хельга. Интересно, правда? И сама из себя — ничего такая, фигуристая. Поженились, в общем, стали вместе жить. Так она мне наставляла рога на каждом шагу. Ненасытная была — просто страх. Уж чего я с ней ни делал — и упрашивал, и грозил, даже колодил — никакого сладу. Чуть я за порог — а она уже с кем-нибудь милуется. И тогда я сказал: разведусь — и точка. Потому как за прелюбодеяние разводят, сами знаете. Церковь наша святая за супружескую измену карает строго. После этих слов Хельга в ножки — бух! — умоляет не разводиться. Говорит — исправлюсь, буду себя блюсти и не посмотрю ни на одного постороннего мужика. Поклянись, говорю, на святом Распятии! Поклялась. Я ее простил...

— Ну вот видишь!

— Так, а после что ж из этого получилось? Я повез королеву-мать в Тормов, на моление, а моя благоверная — вновь за старое. Стала клятвопреступницей. И Господь ее наказал: тот, с которым она сошлась, стукнул ее, хмельной, по башке — и убил насмерть.

— Свят, свят, свят! Ужасы какие!

— То-то и оно. Ну, того дурака герцог Штирский приговорил к пожизненной каторге на своих каменоломнях. Но не в этом суть. Рассказал я вам для того, чтобы стало ясно: несмотря на клятвы, люди не меняются. Вот и Генрих ваш, опасаясь, вашу светлость об-

манет. Может, и не сразу, но потом все равно. Если дьявол в тебе засел — от него не отвяжешься.

Евпраксия не знала, что ответить. И тогда Хельмут предложил:

— Вы желали встретиться с королем Венгрии, дабы вам помог возвратиться домой. Коли мне удастся выбраться отсюда, я могу попробовать передать грамотку от вас. Вы пока погодите ворочаться в Германию. Обождите с неделку. Если сгину я или Калман помогать не будет, станете решать.

Евпраксия взяла его за плечо и сказала с чувством:

— Добрый человек! Сделай, как задумал. Я сейчас напишу самодержцу Венгрии челобитную. Отдадимся на суд Божий. Как захочет Бог, так и поступлю.

— Мудрые слова!

Спрятав свиток за пазуху, Хельмут попрощался и, поцеловав руку госпоже, выскользнул в окно.

Оказавшись на крепостной стене, кучер напоролся на часовых и, спасаясь бегством, прыгнул прямо в воды реки Раба, что впадает в Дунай. К счастью, это место оказалось глубоким, и возникший не разбил себе голову о подводные камни. Выбрался на берег и, поскольку ночь была лунной, хорошо понимая, куда идет, двинулся по течению, чтоб достичь другой крепости, Эстергом, где, как утверждал в свое время Миклош, также регулярно бывает король. После трех часов непрерывной ходьбы немец понял, что ушел от Дьёра на приличное расстояние, и заночевал у какого-то озерца, под перевернутой лодкой. Утром, просушив письмо Адельгейды, он отправился дальше, промышляя по огородам, чтобы утолить голод. Путь его вдоль Дуная занял целый день, и, к закату ближе, башни Эстергома появились на горизонте. Тут-то Хельмут и столкнулся с вооруженным отрядом. Он со страху снова посчитал, что попал к разбойникам. Те его окружили, но не причинили вреда, потому что оказались королевскими егерями и ловчими. Говорили исключительно по-венгер-

ски и понять возникшего не могли. Для порядка кучера связали и отконвоировали в крепость, где и сдали с рук на руки охране. Тут нашли человека, лекаря, знавшего немецкий; арестованный объяснил, кто он и чего добивается.

— Грамота? От императрицы? Опозорившей Генриха в Пяченце? — выпучил глаза медик. — Не могу поверить! — Но понесся рассказывать о своем открытии коменданту Эстергома.

День спустя в крепость Обуду, где тогда находился Калман, усакал гонец с грамотой от Ксюши. А беднягу Хельмута все-таки пока держали под стражей — до дальнейших распоряжений монарха.

Там же спустя сутки

Калман занимал венгерский престол только третий год. Молодой двадцатичетырехлетний мужчина, хорошо сложенный, красивый, был искусным наездником, фехтовальщиком и прекрасным стрелком из арбалета. Мог всю ночь пировать и не захмелеть. Незаконных детей имел кучу, а в церковном браке не состоял, не особенно стремился. Он, в отличие от прежнего короля — сына Анастасии Ярославны, проводившего явную прогерманскую политику, — был сторонником независимости Венгрии, Генриха IV считал сумасбродом и сближался с Русью. Даже не отверг предложение великого князя Киевского Святополка, сватавшего за него Евфимию Владимировну — дочку Мономаха. Впрочем, окончательного согласия тоже не давал, вроде колебался.

А когда ему доставили свиток от императрицы Адельгейды, не поверил своим глазам. Разломал сургуч, пробежал глазами послание, писанное по-немецки, и сидел какое-то время крайне озадаченный. Бог ты мой! У него в крепости, в Дьёре, пребывает беглянка государыня? О которой по всей Европе ходили слу-

хи, что она — страшная развратница, соблазнила своего пасынка — сына Генриха, а потом сбежала от супруга и представила его богохульником и хриstopродавцем? Говорили, что она столь красива, что никто не в силах устоять перед чарами этой маленькой полурусской-полукуманки. Вот как интересно! Разумеется, Калман не останется безучастным к судьбе столь заметной высокопоставленной особы. Он теперь же поедет в Дьёр. И поговорит с этой женщиной. А затем решит: то ли выдворит за пределы Венгрии, то ли защитит и оставит у себя.

Вскоре самодержец сел на ладью и под парусом отправился вверх по Дунаю — до впадения в него Рабы. Извещенный заранее, комендант Дьёра встретил Калмана торжественно, как и подобает, как встречал не раз, принимая короля, регулярно приезжавшего сюда на охоту. Но сегодня государь был слегка рассеян, величальные слова слушал невнимательно; впрочем, когда узнал, что за самодержицей прибыл из Германии архиепископ Кёльнский, сразу насторожился. С явным нетерпением спросил:

— Где же Адельгейда?

Комендант ответил услужливо:

— Пребывает в отведенных ей комнатах. И окружена всяческой заботой. Так же, как и девочка.

— Девочка? Которая?

— Их величество прибыли с младенцем в руках.

— Дочкой Генриха?

— Нет, не думаю. Говорит, что ее покойной товарки.

— Надо же, какая отзывчивая!.. Ладно, пригласите ко мне его высокопреосвященство, я желаю говорить с ним.

Порученец императора произвел на монарха приятное впечатление — коренастый сорокалетний мужчина, гладко выбритый, с умными цепкими глазами. Мало походил на священника, а, скорее, напоминал учителя фехтования или конной выездки.

Калман произнес:

— До меня дошло письмо от одной особы... утверждающей, что она — бывшая императрица. Верно ли, что дама, находящаяся здесь, Адельгейда?

Герман подтвердил:

— Я ручаюсь, ваше величество. Никаких сомнений.

— Правда ли, что вы уговариваете ее возвратиться к Генриху?

— С этой миссией послан императором.

— Он ее простил?

— Совершенно. Он считает решения церковного собора в Пяченце незаконными и поэтому их не признаёт.

— Но она опозорила его на всю Европу!

— Императора это не волнует. Он же знает нрав ее величества — нерешительный, тихий. Ею управляли враги. Сделала не по злему умыслу. Значит, невиновна.

— И она согласна вернуться?

— Окончательного согласия я не получил. Но наверняка получу — дело дня, другого. Что ей на Руси делать? В православии к расторжению брака очень плохо относятся, строже, чем у нас. Как воспримет нынешний киевский правитель появление двоюродной сестры, убежавшей от мужа? Не уверен, что с удовольствием.

— Что за девочка у нее на руках?

— Дочь убитой разбойниками служанки.

— Дочь служанки? Даже не товарки?

— Совершенно точно.

— Вот чудачка! Нет, она меня занимает с каждым разом все больше. Пусть ее сюда приведут. Комендант! Где он там? Нет, пожалуй, сам схожу. Этак выйдет непринужденней. — И, пройдя анфиладой комнат, оказался в покоях бывшей императрицы.

Евпраксия была в новом наряде — платье, сшитом только что придворным портным (деньги заплатил Герман), фиолетовом, шелковом, мягкими складками ниспадавшем вдоль изящной фигуры. Кружевная накидка

прикрывала волосы, заплетенные в косу, открывая отдельные вьющиеся пряди. Цвет лица стал намного лучше — женщина, как видно, отоспалась и питалась правильно. С умилением смотрела, как служанка пеленает Эстер.

Калман появился — резко, шумно — и уставился на приезжую в упор.

Комендант провозгласил:

— Их величество король Венгрии!

Ксюша, побледнев, церемонно присела.

Молодой монарх подошел поближе, заглянул в кроватку. Дернул левым усом:

— Никогда не любил маленьких детей. Несмышленные и капризные. Вечно плачут. Для чего вам, сударыня, эта пеленашка?

Русская ответила тихо:

— Мой христианский долг... Ведь она сиротка.

— Можно сдать в приют при монастыре.

— Нет, хотела бы заменить ей мать.

— Игры в «дочки-матери», понимаю. Кто-то любит кошечку, кто-то собачку, кто-то девочку...

У Опраксы потемнели глаза, из ореховых стали темно-карими:

— Вы напрасно насмехаетесь, ваше величество. Мой единственный сын скончался, не дожив до четырехлетнего возраста. Я скорблю о нем постоянно. А у этой крошки — никого из близких. Почему бы нам с ней не помочь друг другу в нашем одиночестве?

Венгр удивился:

— Вы настолько молоды и красивы, что могли бы родить собственных детей.

— Разве же одно помешает другому?

Самодержец сел и позволил ей сесть напротив. Произнес по-дружески:

— Что ж, обсудим тогда вашу ситуацию. Вы вернетесь к Генриху?

Хорошо обдумав ответ, женщина сказала:

— Не исключено.
— Вы ему поверили?
— Нет. Не знаю. Я пока в сомнении. Разум говорит: «Опасайся!», а душа влечет... Очень сильно к нему привязана.

Калман помрачнел:

— Бойтесь, бойтесь этого человека. Он на все способен.

Евпраксия вздохнула:

— К сожалению, мне известно это лучше многих.
— Ваша речь в Пьяченце — как ее понять? Произнесена под напором недругов императора или же была обдуманым шагом?

Ксюша покусала губу, посмотрела в сторону:

— Вероятно, и то и другое. Вместе с тем, и ни то ни другое до конца... У меня в голове был такой сумбур! Плохо понимала, что делаю. Столько разных чувств болело во мне! Трудно объяснить.

— Но теперь-то вы отдаете себе отчет, что приезд Германа и письмо Генриха — не простой порыв, не одно лишь христианское прощение? Продолжается большая игра. Недруги императора привлекли вас как козырную карту. И добились своего: император разоблачен, проклят церковью и низложен — ну, по крайней мере, словесно. Но теперь последует ответный удар. Вы вернетесь к Генриху — он объявит: ваше выступление на соборе было под давлением, под угрозами и поэтому не действительно. Безусловный выигрыш. Он опять на коне, а враги и посрамлены, и повержены. Разве не логично?

Ксюша покраснела и довольно громко хрустнула пальцами. Прошептала:

— Я не думала... вы меня смутили...

— Да большого ума не нужно, чтобы раскусить подноготную! Если в деле замешана политика — жди подвоха, опасайся всяческих подводных течений. Генрих просчитал очень тонко. Вы — его погибель, но те-

перь и спасение. Он без вас не сможет обрести прежнее влияние.

Русская молчала, продолжая непрерывно тереть кисти рук. Калман продолжал:

— Император теперь в изоляции. Он не принял участие в Крестовом походе, так как сей поход объявил Папа Урбан, неприятель Генриха. Пол-Германии не намерено подчиняться кесарю. Вся Италия, во главе с его сыном, перешедшим на сторону врагов, тоже. Что осталось от Священной Римской империи? Ничего, пустота, радужный пузырь. Генрих не король и не император. Сам — такая же фикция, как его империя. И внешне вы — как спасительная соломинка!

Евпраксия сказала:

— Я могла бы ему помочь... если б наперед знала, что потом со мной он поступит честно. Не убьет, не посадит, не сошлет в какой-нибудь дальний замок.

Венгр усмехнулся:

— «Если б наперед знала»! Знать такого никто не может.

У нее в глазах появилось горькое, тоскливое выражение, говорящее, как она страдает.

— Да, пожалуй что возврат не возможен... Ну, по крайней мере, сейчас... Если б Генрих был не император, а простой смертный! Без амбиций, без желания управлять другими. Частное лицо. И тогда позвал бы: приезжай, будем тихо жить, только друг для друга... Побежала бы сломя голову! Но когда — политика, власть, интриги... не хочу, не стану. Возвращусь на Русь. А потом видно будет.

Он заметил вскользь:

— Вряд ли вам удастся проехать благополучно...

Ксюша даже вздрогнула, от испуга округлила глаза:

— Почему? Что такого страшного?

Калман усмехнулся:

— Разумеется, тоже политика, ничего больше. Киевский князь без конца воюет с местными князька-

ми — и особенно с теми, что на западе, по дороге вашей: Перемышль, Червен, Туров, Пинск... Их поддерживают поляки. Иногда — не поддерживают, как им выгодно. То же самое — половцы. Кто им платит больше, на того они шею гнут. Иногда — не гнут и сражаются против всех... И вот в эту кутерьму попадаете вы?.. Как у вас пословица? — Он сказал по-русски: — «Из огня да в полымя», нет? — и захохотал.

Бывшая императрица от волнения встала и прошла по комнате — от окна к кровати и обратно. Посмотрела на короля пристально:

— Что же делать? Я в смятении, ваше величество...

Он поднялся тоже, подошел и взял ее за руку:

— Ничего не бойтесь, милая моя Адельгейда. Просто надо сделать правильный выбор. Остальное сложится.

— Выбор? Да какой же? — удивилась она, но ладонь оставила в ладони монарха. — К Генриху нельзя, к матушке моей не проехать... Выбор в чем?

Венгр объяснил ласково:

— Выбор в том, чтоб остаться под моим покровительством. Я своих друзей не даю в обиду. Защитить могу — и от немцев, и от половцев, и от русских.

Женщина, помедлив, спросила:

— Но ведь вы... потребуете от меня... некой благодарности... Понимаю, какого рода!..

Калман рассмеялся:

— Я? Потребую? Что вы, никогда. Я же не насильник... Может, попрошу... скромно, ненавязчиво... Как-нибудь потом, в более удачное время, после всех тревог и забот... Для чего заранее беспокоиться?

Щеки у нее разгорелись, и она, смутившись, все-таки освободила руку, отошла и отвернулась к окну. Не произносила ни слова.

Он спросил:

— Каково же будет ваше решение?

Ксюша отозвалась:

— Сколько времени у меня на раздумье?

Венгр ответил жестко:

— Время вышло. Мне пора уезжать. Или едем вместе, или — как желаете.

Евпраксия посмотрела на него — молодого, сильного, подходящего Генриху в сыновья, коротко, по последней моде подстриженного, с весело торчащими кверху кончиками усов. И кивнула робко:

— Я согласна... вместе...

Государь просиял и воскликнул живо:

— Очень, очень рад! Можете теперь ни о чем не думать. Всё сделают мои люди. Слуги сложат вещи... Приготовьте девочку. Мы найдем ей лучшую кормилицу Венгрии!

Русская присела в поклоне:

— Благодарствую вашему величеству... И еще одно пожелание — позволяете?

— Слушаю внимательно.

— Чтобы ваши люди хорошо обошлись с моим кучером, Хельмутом, — тем, что передал вам письмо от меня.

— О, конечно! Никаких сомнений. Пожелаете взять его с собой?

— Нет, не обязательно. Как он сам захочет.

— Вы такая добрая... Сделаю, как просите.

Герман попытался переубедить Евпраксию, но теперь уже тщетно. Сразу пополудни Калман и она сели на ладью и поплыли по Дунаю — в сторону Эстергома и Обуды, ставшей через много лет частью Будапешта.

Девять лет спустя, Киев, 1107 год, весна

Около пяти месяцев прожила Опракса в келье Андреевской обители, будучи постриженной в день великомученицы Варвары. Это было третье ее имя: при крещении — Евпраксия, в католичестве — Адельгейда, а в монашестве — Варвара.

Поначалу монастырская жизнь принесла покой. Вспомнила девичество, Кведлинбург, ранние заутрени, долгие моления. Та зима выдалась холодной, кельи промерзали, сестры грелись в трапезной возле печки. Янка заходила степенная, говорила глубокомысленно: надо принимать испытания, посланные Небом, безропотно. Ей, жившей в хорошо отапливаемых покоях, принимать испытания было легче.

Ксюша изъявила желание заниматься с девочками в монастырской школе: ведь она знала три иностранных языка (греческий, латинский, немецкий), разбиралась в географии и истории, замечательно пела. Но от Янки поступило бессердечное указание: «Эту грешницу близко не подпускать к детям». Даже Васку приходилось видеть тайком, чтобы не заметили инокини-наушницы и не донесли матушке.

Катя Хромоножка тоже переживала и старалась успокоить сестру:

— Ничего, потерпи, всё со временем наладится. Вот увидишь, по весне станет легче. Придираться не будет по мелочам.

— Ох, не знаю, не знаю, Катечка, у меня скверное предчувствие.

— Да с чего же, милая? Кончится зима, и земля, и душа оттают.

— Только не у Янки. У нея душа промерзла наскрозь. Так и веет холодом.

Младшая вздыхала:

— Жизнь ведь у бедняжки была не из сладких. Вот и очерствела. Ты-то хоть успела посмотреть мир, побывать замужем, и причем — дважды, народить сына, воспитать приемную дочку... А она?

Старшая считала иначе:

— Сравнить нелепо. Ты вон тоже — прямо из хорм отчих да в монастырь. Но не очерствела же! Дело не в судьбе, а в натуре. У нея натура недобрая.

— Говорят, что Мария Мономах вечно всех шпыняла. Видно, Янке и передался норов материнский.

— Слава Богу, хоть Владимир Мономах не такой — в тятеньку пошел. С нами ласков.

— Да зато с врагами жесток зело.

— Да на то они и враги, чтобы им спуску не давать.

Наступила весна, а игуменья, вопреки Катиным надеждам, не сменила гнев на милость. Основная размолвка между ней и Опраксой приключилась в мае, из-за брата. Вот как это было.

Из Переяславля принесли весть, что скончалась супруга Мономаха, Гита. Дочь Английского короля, пробыла она замужем за Владимиром тридцать три года и успела родить ему одиннадцать детей, в том числе и Георгия (Юрия), прозванного Долгоруким. (Значит, заметим в скобках, «основатель Москвы» был на одну вторую англичанин, на одну четверть — грек, на одну восьмую — швед, на одну шестнадцатую — норвежец... А имелась ли в нем вообще славянская кровь?!)

Евпраксия всплакнула, вспомнив, как душевно приняла ее у себя Гита восемь лет назад, как они сидели рядком, пили мед и делились своими тайными женскими заботами. Сразу же подумалось: надо съездить в Переяславль, попрощаться с покойной, поддержать брата в трудную годину. И пошла отпрашиваться у Янки.

Та, как водится, поначалу не желала принимать младшую сестру, но потом сообразовала и допустила. Но спросила довольно грубо:

— Что еще такое? Почему ты не на работах, как остальные?

Ксюша объяснила:

— Так ведь Гита Мономахова умерла. Или ты не знаешь?

— Я-то знаю, а тебе разве есть до этого дело? Отчего такие тревоги?

— Так ведь наша с тобой невестка. Ты-то не поедешь на погребение?

— Недосуг.

— Я хотела бы съездить.

— Вот придумала тоже! Нешто без тебя обойтись не смогут?

— Праху поклониться желаю. Брата поцеловать.

— Также мне, сестрица нашлась! Шелудивая волочайка... — Янка презрительно дернула плечом.

Неожиданно в Ксюше вспыхнули все дремавшие до последнего мига чувства — гордость, самоуважение и достоинство. Задрожав от ярости, топнула ногой, сжала кулаки и воскликнула:

— На себя посмотри, поганка! Кто ты есть такая, чтобы мне пенять? Бабка твоя, Склерина, — мерзкая наложница императора Мономаха! Пусть я волочайка, допустим; ну а ты зато — жалкая дворняжка!

Янка растерялась в первый момент, хлопала глазами испуганно. А потом, не в силах возразить ей по существу, ибо крыть было нечем, развернулась и, схватив со стола толстый требник, запустила им в Евпраксию. Он, тяжелый, в деревянной обложке, пролетев мимо головы, оцарапал ей щеку и скулу (хорошо, что не попал в глаз!), шлепнулся со стуком на каменный пол у двери. Ксюша вытерла рукой выступившую кровь, криво усмехнулась:

— Вот и потолковали... Проявились во всей красе — две княжны Рюриковны! — повернулась спиной и пошла из кельи.

Настоятельница крикнула:

— Из обители ни ногой — слышишь? Запрещаю ездить в Переяславль!

Та пробормотала под нос:

— Запретить мне никто не может.

— Коль поедешь — не возвращайся! Брошу ты в холодную! Посажу на хлеб и на воду!

— Прав на то не имеешь. Не в остроге, чай...

И поехала.

Лодку и гребцов ей дала маменька, на дорожку благословила:

— Хорошо, тэвочки моя, надо посетить брат родной. Володимера тоже я любить, он хороший пасынок, плёхо мне не делать. Янка — падчерица плёхой, злэй, зубастый. Янку не любить.

Плыли по течению Днепра споро. Завернули в левый его приток и еще до темноты оказались возле пристани Переяславля. Он был небольшой, ладный, с мощными бревенчатыми стенами и высокими земляными валами, возведенными еще при Владимире Святом, сотню лет назад. Здесь недолго княжил ее отец — Всеволод Ярославич, прежде чем занять Киевский престол. И вообще был такой негласный закон: кто сидит в Переяславле, станет следующим киевским князем.

Доложили Мономаху о приезде сводной сестры. Брат не погнушался, вышел на крыльцо, даже спустился вниз по ступенькам, обнял Опраксу нежно. Он действительно походил на родителя — та же стать, кряжистость фигуры, чуть приплюснутый нос и большие надбровные дуги. А зато имел серые глаза и упрямые губы, как у Янки. Тяжело вздохнул:

— Видишь, как оно случилось, сестричка. Нету больше Гитушки. Как теперь мне жить без нея?

Евпраксия ответила, тихо плача:

— Очень тяжело, милый братец... Мы с ней подружились легко, несмотря на то что она меня старше на одиннадцать лет. Добрая, отзывчивая была.

— Тридцать три года вместе! А поверишь ли? — пролетели, как один день.

— Значит, были счастливы.

— Несравненно счастливы. Ни на ком боле не женюсь.

Ксюша доверительно сжала его ладонь:

— Ой, не зарекайся, Володюшко. Ведь тебе пятьдесят четыре, самый цвет для мужа. Встретишь молодую, пригожую...

Он скривился болезненно:

— Хватит, хватит, сестрица! Ни о ком другом думать не могу, кроме Гиты.

— Ну, тогда подумай о детках. В них ея частица. Гита не умерла — и теперь живет в детях.

Князь опять ее обнял от души:

— Как я рад, что приехала ты, милая Опраксушка! Пролила бальзам на мои душевные раны. Ну, пойдем, пойдем ко мне во дворец. Подкрепиться надо с дороги-то. Завтра трудный день — отпевание, погребение и поминки.

— Я уже не Опракса, а сестра Варвара.

— Ах, ну да, ну да, я совсем запамятовал. Янка отчего ж не приехала?

Младшая сестра отвела глаза:

— Видно, не смогла...

Брат махнул рукой:

— Ай, не защищай. Вечные ея выверты. Злыдня просто, и всё.

На поминках Евпраксия оказалась за столом напротив младшего сына Мономаха — Юрия, полноватого прыщеватого юноши с только-только пробивавшимися усами и бородой. Был он слегка простужен, хлюпал носом, убирал сопли пальцами, а затем вытирал их о скатерть. (По тогдашнему русскому этикету это дозволялось. За столом вообще то и дело рыгали, чтобы показать свою сытость, и довольно громко пускали ветры в шубы. Сальные от еды руки терли о прически и бороды. Кости после съеденной рыбы и курицы складывали рядом с тарелками. Вилки вообще не знали — пользовались ложками и ножами.)

Ксюша задала Юрию вопрос:

— Правда, что вернулась от Калмана средняя твоя сестрица Евфимия?

— Совершенная правда, тетушка. Уж с неделю как.

— Отчего ж нигде мы ея не видим?

— Нездорова сильно. Ить чего маменька представились? Так через сестрицу.

— Свят, свят, свят! Сказывали — удар...

— Так через чего же удар? Ишь Калмашка-то заподозрил Фимку в прелюбодеянии. Говорит — прочь ступай и сучонка своего, сосунка Бориску, забирай с глаз моих долой! Фимка говорит — он сыночек твой! А мадьяр в ответ — уж теперь и не знаю, может быть, не мой! Выгнал, в общем. И она вернулась с позором. Маменька, узнавши, шибко расстроились и померли.

— Вот ведь незадача!

— А то!

Ксюша помолчала, что-то вспоминая. Высказала вслух:

— А Калмашка, доложу я тебе, тот еще гусак.

— Ты знакома с ним?

— Да, имела счастье...

— Ты ить через Унгрию⁶ возверталась на Русь?

— Прожила под его крылом почитай что год. Если б не Ярослав Святополчич, так бы и застряла в Токае.

— Как же подсобил Святополчич-то?

— Неудобно говорить на поминках. В следующий раз как-нибудь.

Мономах проводил ее до челна самолично. В лоб поцеловал и сказал:

— Матери-княгинюшке низкий мой сыновий поклон.

— Непременно передам, обязательно.

— Янке же — попрек и недоумение.

— А вот этого дозволю не передавать.

Он спросил, прищурившись:

— Ладите-то плохо?

— Хуже не бывает. Пригрозила даже: если я подамся без спросу в Переяславль, то запрет в холодной. Вся теперь трепещу, ожидаючи...

— Вот кикимора, право слово! Каракатица глупая! Милая, не бойся: ежели чего, перешли мне весточку — я примчусь, наведу порядок.

— Стыдно беспокоить.

— И не думай о беспокойстве. Для родной души я на все готов.

— Низкий тебе поклон за такое добросердечие. Мне уже ничего не страшно.

Отплыла от берега, помахала брату платком и подумала, тяжело вздохнув: «Доведется ли еще свидеться? Я ведь ни за что не пошлю за ним. Совесть не позволит».

Девять лет до этого, Венгрия, 1098 год, лето — осень

Домогательства Калмана начались вскоре после их приезда в Обуду. Поначалу монарх был предельно вежлив, аккуратен, заботлив, заходил проводить и довольно искренне улыбался от агуканий маленькой Эстер. Взял однажды на Балатон, близ которого, в буйных рощах по берегам, проходила охота на кабанов. Собственной рукой отрезал от зажаренной на вертеле туши лучшие куски мяса. Потчевал токайским вином. Говорил, смеясь: «Вот ведь Генрих негодует, наверное! Только ничего поделать не может. Руки короткие». Евпраксия спрашивала себя: верно ли она поступила, не поехав с Германом? И потом отвечала мысленно: да, пожалуй; там, где не любовь, а политика, ничего хорошего быть не может.

Венгр уже тогда, на охоте, предложил Опраксе побывать у него в шатре после ужина. Русская, потупившись, возразила: мол, сегодня ей нельзя, по известным женским соображениям. Он разочарованно цыкнул зубом, ничего не произнес. Весь обратный путь до Обуды к Евпраксии не подходил.

Две недели спустя вновь наведалься: был опять галантен, делал комплименты, целовал ручку и затем, после трапезы, напрямую задал вопрос:

— Ну, когда же, сударыня, вы меня осчастливите как мужчину?

Женщина молчала, глаз не отрывая от недоеденной перепелки. Самодержец продолжил:

— Я, как видите, не хочу давить, власть употреблять. Всё должно быть ко взаимному удовольствию... Но не кажется ли вам, что откладывать просто неприлично? Вы живете у меня во дворце, под моей опекой, одеваетесь в наряды, сшитые за мой счет, кушаете блюда, сваренные королевскими поварами, а малютке Эстер предоставлена лучшая кормилица. Взяли мой подарок — перстень с бриллиантом... Надо же иметь совесть. — Отхлебнул вина. — Главное, в отличие от Генриха, я не требую от вас политических заявлений, не использую в борьбе с Папой. Всё, чего прошу, только ночь любви. Разве это много? Просто смех какой-то. Слышал бы меня кто-нибудь из других кесарей Европы! Допустил бы он у себя в государстве даму, не считающую за честь близость с королем? Сомневаюсь.

Евпраксия проговорила:

— Я не просто дама, подчиненная вам... Я таких же королевских кровей, как и вы. Нахожусь в родстве с большинством правящих семейств — от Британских островов до Босфора. И поэтому не могу позволить, чтобы обращались со мной, как с продажной девкой.

Он поднялся — раздосадованный, взбешенный, с нервно вздрагивавшим правым усом. И, чеканя каждое слово, заявил:

— Вы должны запомнить, сударыня, раз и навсегда. Мне плевать, голубых вы кровей или же каких-то других. Здесь мое королевство. И моя единоличная власть. Каждый, кто с этим не согласен, либо болтается на виселице, либо сидит в заточении, либо убирается из страны на все четыре стороны. Выбирайте сами, коль такая гордая. — Повернулся и пошел к выходу. По дороге бросил: — Я даю вам одну неделю. Если не прозреете, будете пенять на себя.

Ксюша закрыла лицо руками и разрыдалась. Нако-

нец позвала к себе Хельмута, остававшегося у нее в услужении. И сказала строго:

— Вот возьми мой бриллиантовый перстень. И продай в какой-нибудь ювелирной лавке. На полученные деньги быстренько купи справную повозку и лошадь. Мы отсюда должны уехать дня через четыре.

— По июльскому-то пеклу? — покачал головой кучер. — За девчушку боязно.

Евпраксия вспомнила, как пыталась бежать с захворавшим сыном, и внутри что-то защемило. Но ответила хладнокровно:

— Не могу иначе. Оставаться здесь еще хуже.

А сама подумала: отчего же хуже? Лучше поступиться собой, чем здоровьем крошки. Ну, в конце концов, Калман не такой уж гадкий — молодой, горячий мужчина, и мгновения близости с ним могут быть приятны. Да, она его не любит. Ну и что? Разве это важно? Разве она любила первого своего мужа? Отдалась ему в первый раз просто во исполнение супружеского долга... Может, и теперь? Просто во исполнение долга перед дочерью Паулины? Но сейчас положение иное: Генрих — ее единственная любовь; уступить венгру — значит изменить Генриху, изменить любви. Впрочем, разве Генрих сам не предал их чувства? Да, конечно, предал, но потом раскаялся. И она его по-христиански простила. Даже готова была вернуться. Калман помещал... Господи, опять Калман! Что же делать, как ей поступить?

С дрожью в голосе обратилась к Хельмуту:

— Да, ты прав. Ехать поздно. Доживем до будущей весны... — И надела на палец кольцо с бриллиантом.

Калман, против ожидания, не тревожил ее три недели. А потом явился навеселе, грубоватый, бесцеремонный, и стоял в дверях, заложив руки за спину, медленно раскачиваясь с пятки на носок и обратно. Хрипло вопрошил:

— Ну, так что решили, сударыня?

Опустив глаза, женщина ответила:

— Поступайте, как знаете, ваше величество. Я всецело ваша.

Он расхохотался, подкрутил молодецкие усы. Радостно сказал:

— Умница, хвалю. Но теперь я сам не желаю этого. Ну, по крайней мере, пока. Представляете, Адельгейда, я влюбился. Как пятнадцатилетний мальчишка! И все время думаю только о моей пассии. Это какое-то безумие. Вот ее завоюю, а потом вернемся к нашим отношениям. Будьте наготове. — Погрозил ей пальцем и ушел, даже не простившись.

Обессиленная Опракса рухнула на колени и перекрестилась на висевшее у кровати Распятие, прошептала по-русски:

— Слава те, Господи! Наконец-то Ты внял моим молитвам!..

С королем она не виделась вплоть до осени. Это время миновало в заботах о девочке: та хандрела, у нее распухали десны от растущих зубок, но зато в хорошие дни малышка бесшабашно ползала по ковру и пыталась произносить отдельные слоги: «ма-ма», «та-та». Ела с аппетитом.

Калман появился в сентябре, как-то поздно ночью, переполошив всю прислугу замка. Ксюша уже лежала в постели, как услышала движение в зале для пиров, а потом тревожную беготню по лестницам. От испуга села.

Дверь открылась, в темноте замелькали факелы, и затем на пороге выросла фигура монарха. Судя по интонациям голоса, он был снова пьян. Жалобно воскликнул:

— Адельгейда, представляете, она умерла!

— Кто? — спросила русская с замиранием сердца.

— Эва, моя любовь. Не уберегли, идиоты... Захотела покататься на лодке по Дунаю, налетела волна, и они все перевернулись. Эву не спасли! — Самодержец

присел к ней на край кровати и вполне натурально заплакался.

Евпраксия пожалела этого большого ребенка и погладила его по руке:

— Будьте мужественны, ваше величество. Бог дал — Бог взял...

Он вздыхал и хныкал:

— Вы же видели ее... Зайчика, лисичку... Глазки как цветочки. Голосок-колокольчик... Я влюбился впервые в жизни! Правда, Адель, впервые. Был готов подарить ей полцарства... целовал ступни... О-о, какое было блаженство обладать ею! Как она кричала от счастья в моих объятиях!.. И теперь... пустота... и могильный холод... Как мне одиноко!..

Евпраксия протянула ему вышитый платок, государь вытер мокрые от слез бороду и усы. Несколько капризно проговорил:

— Можно мне прилечь? Просто так, без всякого? Что-то я озяб...

— Окажите милость, ваше величество...

Калман мгновенно скинул с себя одежду и забрался под одеяло. Он действительно весь дрожал — то ли от озноба, то ли от возбуждения. Грустно прошептал:

— Вы такая теплая... нежная... заботливая... Пожалейте меня, пожалуйста.

Ксюша обняла короля за шею. От него пахло выпитым спиртным, конским потом и кёльнской водой. Ощутила, как холодные волосатые икры прилипают к ее лодыжкам, а колени поднимаются между бедрами, чтоб согреться. Разрешила это легко. Ноги их под одеялом сплелись, а уста сомкнулись. После бесконечного поцелуя венгр произнес:

— Адельгейда, счастье мое, я буквально воскресаю в вашей постели.

— Рада это слышать.

— Не хотите ли снять ночную рубашку? Будет много проще.

— Вы, пожалуй, правы.

Неожиданно Калман скрылся под одеялом, и она ощутила его жаркое дыхание у себя в заповедном месте. И чуть слышно застонала от сладости. Закатила глаза и открылась полностью.

Страстное безумие длилось долго. Евпраксия корчилась, задыхалась, умоляла хрипло: «Нет... нет... хватит!.. прекратите!.. не могу больше!» — а любовник продолжал неустанно, по-животному ненасытно, резко. Вся в испарине, женщина уже издавала лишь обрывочные нечленораздельные звуки, выгибала шею, вроде бы искала руками что-то рядом с собой и водила головой по подушке. Обжигающая волна прокатилась у нее вдоль хребта, заставляя то сжиматься, то разжиматься мышцы под животом. И она, не сдерживая себя более, разразилась душераздирающим воплем.

Калман обессиленно повалился рядом. Простонал:

— О, Мадонна!.. Вы великолепны!.. Благодарю... — И поцеловал Евпраксию в пылающую щеку.

Русская подумала: «Я продажная тварь... изменила Генриху... нет прощения», — но особой горечи не было на сердце, мягкая истома разливалась по телу, напряжение спало, наступали умиротворение, нега. И на короля не возникло обиды. Он, конечно, фрукт, каких мало, но доставил ей несколько счастливых мгновений. Пусть не по любви, пусть она его просто пожалела. Значит, такова ее доля. Так хотело Небо. Или преисподняя? Кто знает!..

После этого государь навещал Опраксу раза четыре. Оставался доволен. Предлагал появляться в свете, но она стеснялась, отнекивалась. А монарх не настаивал. Говорил, что по весне повезет ее в Токай, где подарит замок. Ксюша соглашалась: ведь Токай в Карпатах, на границе с Русью. Замок можно выгодно продать и вернуться в Киев, даже не спросив Калмана. Но судьба ей приготовила новое испытание.

Там же год спустя, весна — лето

Из Обуды королевский поезд выехал в начале марта. Время было теплое, горы зеленели, ласточки порхали над головами эскорта, и дышалось вольно. Ксюшиной повозкой управлял Хельмут, в шляпе с пером на венгерский манер, нарастивший брюшко от безделья в замке. В той же самой повозке находились Эстер и нянька. Девочка пошла еще в ноябре, ей уже заплетали первые косички, и она все чаще вспоминала о том, что положено ходить на горшок, а не на пол.

Путешествие до Мишкольца на реке Шайо, что впадала в Тису, на которой стоял Токай, заняло всего двое суток. Здесь король намеревался встретиться, по договоренности, с сыном киевского князя Ярославом Святополчицем, полномочным посланцем своего отца. Предстояло утвердить их военный союз против галицких князей, давних противников Киева. В одиночку воевать Святополк не решался и хотел привлечь венгров. Сватал за Калмана двоюродную племянницу — Евфимию, дочку Мономаха. А венгерский самодержец был не прочь отщипнуть от богатой Галиции пару-тройку плодородных кусочков и расширить государство до истоков Прута. В общем, сделка обещала быть обоюдовыгодной.

В ожидании Ярослава развлекались охотой на диких коз, поединками рыцарей и купанием в теплых ключах, бивших в живописных пещерах. Евпраксия исповедывалась епископу Купану, доброму улыбчивому мужчине лет сорока пяти. Купан слушал внимательно, а потом сказал:

— Грех твой невелик, дочь моя. Ты в разводе с мужем, это подтвердил Папа, и поэтому можешь не хранить верность Генриху. Жить с еретиком, осквернившим Крест, много хуже. И твои отношения с Калманом вырвут прежние чувства из твоей груди.

— Ох, боюсь, не вырвут. Все равно помню императора.

— Не преувеличивай. Время лечит. А Господь милостив. Не грехи тяжко, и успокоение снизойдет.

Исповедь пошла ей на пользу, но какой-то горький осадок все же оставался.

Наконец появился Святополчич — невысокий, рябоватый и слегка косой. Ксюша впервые за последние годы услышала русскую речь и едва не расплакалась от счастья. Но с испугом поняла, что давно уже думает по-немецки и теперь, прежде чем сказать, переводит с немецкого на русский, тяжело подбирая слова. Церемонно раскланялась с Ярославом, доведившимся ей двоюродным племянником. Он сказал с удивлением:

— Вот не ожидал тебя встретить на угорской земле! Слухи на Руси ходят разные — где ты, что ты, а вот про Калмашку — ни звука.

— Так уж получилось. Ехала домой к маменьке, да застряла тут.

— Значит, не намерена возвратиться?

— Может, и вернусь.

— А король отпустит?

— Я и не спрошусь, коли захочу. Он ведь не спугнет меня.

— Ишь какая бойкая!

— Я была германской императрицей, не забывай.

Он почтительно, но не без иронии поклонился.

При другой встрече рассказал о русских событиях. Русские князья собрались в Любече на совет — прекратить распри и определить, кто где правит. Вроде договорились, целовали крест. Но потом опять пошли козни, и по злому умыслу ослепили Василька Теребовльского. Вспыхнула вражда, Мономах встал на сторону изувеченного князя и едва не выгнал Святополка из Киева. Еле замирились и теперь желают расквитаться с галичанами — Володарем, Давыдом и Васильком.

— Матушка-то как? — спрашивала Ксюша.

— Слава Богу, здорова, — заверял Ярослав. — В самый тяжкий момент, как пошел Мономах на Киев, тя-

тенька послал ее и митрополита для переговоров. Так княгиня Анна уломала твоего братца, своего пасынка, отступить и не проливать крови. Слава ей и низкий поклон за сё.

Встреча с племянником, разговоры с другими русскими вновь поставили бывшую жену Генриха перед выбором: оставаться в Венгрии или ехать домой? Повод был прекрасный — возвратиться вместе с поездом Ярослава, на его конях и в его повозке. Но, с другой стороны, не известно, как ее примут в Киеве — князь, митрополит, мать-княгиня, Янка? Стоит ли вообще ехать?

Всё решило заявление Калмана: он венчается с Евфимией Владимировной и по этой причине не считает уместным поселять Опраксу, бывшую любовницу, в королевском замке в Токае. Ксюша покорила безропотно. Приняла известие мужественно. Дескать, ну и ладно. Нет так нет. Нам не больно-то и хотелось, ваше королевское величество. Покачу восвоюси.

Но и Ярослав неожиданно отказал тетке: предстоит военная кампания, битвы с галичанами, и в таких условиях он не отвечает за жизнь сопровождающих, в том числе обозников. Тут уж Евпраксия не выдержала:

— Ну а мне что прикажешь делать? Венгры гонят в шею, русские тоже не берут... Головой в Дунай?

Святополчич покосил глазом:

— Ну зачем так мрачно? Обожди чуток. Погоди в Мишкольце до осени — денег я подкину, не пропадешь. А потом, как захватим Перемышль да Владимир-Волынский, а дороги очистим от степняков, возвернешься в свое удовольствие.

Женщина остыла и согласилась:

— Ладно, погожу. — А сама подумала: «Мочи нет годить. Денег мне подкинешь — я своими силами доберусь».

Между тем кампания разворачивалась нешуточная. В первых числах июня королевские войска двинулись, пересекая Карпаты, по Дукельскому перевалу. Встали

лагерем на реке Вагр в ожидании подхода киевских полков во главе с Путятой Вышатичем. Силы были приличные — более десяти тысяч, а у неприятеля насчитывалось на порядок меньше. Галичане затворились в своих городах, приготовившись к длительной осаде. Калман пребывал в замечательном настроении, он не сомневался в победе, и застолья, кутежи, молодецкие игрища с местными красотками плавно перетекали одно в другое. А такую беспечность война не прощает. Князь Давыд Игоревич тайно поскакал к половцам и привел с собой их ударную кавалерию во главе с ханом Боняком. Те напали на венгров и, застав врасплох, начали рубить саблями. Люди короля побежали в панике, многие утонули в Вагре и Сане; остальных гнали в горы и добивали там. Сам Боняк лично рубил от плеча до пояса доброго епископа Купана. Калману с небольшой свитой удалось ускакать в Карпаты по Лупковскому перевалу. Ярослав тоже спасся — укатил на север, в Польшу, в Берестье. Но союзники остались практически без армии.

Впрочем, галичане и половцы радовались рано. Не успел кончиться июль, как возникла киевская рать, пусть и с опозданием, но пришедшая к месту боевых действий. Ситуация повторилась с точностью до наоборот: киевляне обрушились на лагерь Давыда Игоревича, порубили многих и отвоевали у него важные опорные пункты — Луцк и Владимир-Волынский. А Давыд снова поскакал за помощью к Боняку...

Тут-то, посреди этой кутерьмы, появился на галицкой дороге беззащитный возок Евпраксии: Хельмут правил лошадью, а под парусиновым верхом ехали три женщины — бывшая императрица, нянька-служанка и полуторагодовалая девочка. С королем они разминулись в Карпатах и благополучно покинули Венгрию в первых числах августа. Обогнули с севера Перемышль, остававшийся в руках галичан, и направились к Луцку, где, по их сведениям, были киевляне. Но не-

много не рассчитали: именно в это время, призванный Давыдом Игоревичем, прискакал Боняк со своей конницей. Хельмут не успел ни погнать, ни остановиться, как возок окружили половцы. Что-то лопоча, съездили вознице по морде и прогнали с козел. А несчастных дам выволокли наружу, начали щипать и глумиться. Неожиданно Опракса крикнула на чистом куманском:

— Прочь! Не смей! Перед вами — внучка хана Осеня!

Степняки шарахнулись в сторону. Хана Осеня? Близкого друга Боняка? Как такое возможно? Но на всякий случай издевательства прекратили и послали гонца — доложить командиру.

Сам Боняк приехал на нее посмотреть. Гарцевал на лошади — в кожаных штанах и такой же куртке, сапогах под колено и остроконечной шапке с кисточкой. На его загорелом, отливавшем медью лице были выгоревшие тонкие усы и борода; а глаза вспыхивали красным — это бликовало в них закатное алое солнце. Хан спросил по-кумански:

— Как ты можешь быть внучкой Осеня?

Евпраксия ответила:

— Очень просто. Дочь его, Аюта, выдана была за великого князя Киевского Всеволода Ярославича. Это мои родители.

— Что же получается, ты — дочь Аюты? — продолжал сомневаться половец. — Покажи знак тогда. Или не поверю.

Не раздумывая Ксюша задрала юбку и блеснула перед взорами нескольких десятков мужчин полной наготой. Все увидели на ее бедре выжженный рунический знак — символ рода. Одобрительный гул прошел между всадниками; половцы кивали: да, теперь доказано, что она — внучка Осеня.

Губы Боняка растянулись в улыбке:

— Что ж, добро пожаловать, дорогая. Ассалям алейкюм!

— Алейкюм ассалям! — поклонилась женщина.

Хан сошел с коня и поцеловал Евпраксию. Заглянул в глаза:

— Вай, какая красавица! Половецкая и русская кровь вместе создали настоящее чудо. Я всегда говорил: русские нам — братья. Никогда не хотел враждовать. Но не получается: русские начинают первыми, убивают нас, нам приходится отвечать... Но не будем о печальных делах. Ты теперь моя почетная гостья. Милости прошу в мой шатер.

В кочевом шатре Боняка, шитом драгоценными золотыми нитями, Ксюшу угостили супом-шурпой и пловом (по одной из версий, слово «плов» происходит от слова «половцы»), катыком из верблюжьего молока и кумысом. Хан расспрашивал о ее приключениях в дальних землях, с удивлением поводил бритой головой, иногда высказывал свои замечания. Например, сказал:

— Я не понимаю русского Бога. Русского, немецкого — все равно. Очень странный Бог. Вот у нас, у куман, что такое Бог? Солнце, ветер, небо, гроза, война. Сильный, мощный Бог. А у вас? Бог, как человек, умер на кресте. Как так может быть? Почему? Я не понимаю. Хорошо, предположим, умер, а потом воскрес. Допускаю, так. Но зачем кресту теперь поклоняться? Осенять себя? И носить на шее? Символ смерти Бога — у себя на теле? Нет, не понимаю.

Евпраксия пыталась растолковать:

— Крест — не символ смерти, а, напротив, символ бессмертия. Иисус смертью смерть попрал. Принял муки на кресте, чтоб спасти человечество, искупить первородный грех.

Но Боняк повторял упрямо:

— Нет, не понимаю. Половецкого Бога понимаю, христианского — не могу.

— И никто не может, — вторила Опракса. — Он и то и Бог, что понять, охватить Его нашим грешным умом нельзя. Надо просто верить.

Хан чесал затылок:

— Как так верить — не понимая? Чепуха какая-то.

Но во всем остальном Боняк вел себя любезно, распорядился накормить слуг и девочку, предлагал остаться у него в кочевье, снова выйти замуж за какого-нибудь знатного кумана, а тем более, что у них многоженство не возбраняется. Евпраксия благодарила, говорила, что подумает, только съездит сначала в Киев, повидается с матерью...

Хан нахмурился:

— В Киев не пущу. Я вражду с Киевом. Поезжай куда хочешь, только не в Киев.

— Хорошо, поеду в Переяславль, к брату, князю Владимиру Мономаху.

— А потом в Киев? Нет, меня не обманешь.

Ксюша тоже обиделась и спросила:

— Так я гостя у тебя или пленница?

Ухмыльнувшись, Боняк ответил:

— Гостя, пленница... а точнее — заложница.

— Как? Заложница?! Поясни, пожалуй.

— Я пошлю к Путяте. Дескать, выбирай: или ты сдаешь Владимир-Волынский, или мы отрубим голову Евпраксии, девочке и ее слугам. Проще не бывает.

Евпраксия судорожно сглотнула:

— Неужели отрубишь, если он не сдаст?

Половец расплылся:

— Поживем — увидим...

Первая неделя прошла в страшном ожидании. Наконец вернулся от Путяты посольный, сообщивший мнение Вышатича: никакой Евпраксии Всеволодовны здесь не может быть, он не верит и сдавать Владимир не собирается. Что ж, Боняк опять отправил гонца — вместе с грамотой, слезной, жалобной, писанной Ксюшей собственноручно, а для верности приложил к письму два мешка, в каждом из которых находилось по отрубленной голове — Хельмута и служанки-няньки. Тут уж было не до сомнений. Воевода, испугавшись гнева ки-

евского князя, доведившегося Опраксе двоюродным братом, на словах согласился оставить город, но просил гарантий безопасности столь высокопоставленной заложницы. Хан ответил: пусть приедет за ней луцкий князь Святоша — мы его обменяем на княжну и ребенка; а потом вместе с ней вы выйдете из Владимира, мы тогда в ответ отдадим Святошу. Поразмыслив, киевляне дали «добро».

Ранним утром 23 августа из ворот Владимира-Волынского выехали десять дружинников во главе со Святошей — юным князем, сыном Давыда Черниговского. Встали в чистом поле. А со стороны Боняка появился тоже десяток вооруженных половцев, двигавшихся вместе с Эстер и беглянкой императрицей. В полверсте друг от друга замерли. Женщина с малышкой на руках и Святоша отделились от своих групп и пошли навстречу. Обменялись поклонами. Евпраксия произнесла:

— Благодарна тебе за милость. Буду век молиться за твое здоровье.

Он проговорил:

— Пустяки. Город отвоюем назад, а отрубленную голову снова не пришьешь.

С тем и попрощались. Половцы увезли Святошу. Русские — Опраксу. Полчаса спустя женщина предстала перед Путятой.

Он сошел с крыльца, поклонился, приложился к ее руке. Был не столь коренаст и крепок, как его старший брат, тоже воевода, Ян Вышатич; но обоих отличал невеликий рост и кривые ноги кавалериста. А зато их племянница, давняя Ксюшина товарка — Фекла-Мальга, больше походила на дядю Путяту — те же озорные хитрые глаза, те же мелкие мышинные зубки. Как давно подруги не виделись! Целых десять лет!

Между тем Путята сказал:

— Вот не ожидал повстречаться в этих краях с тобой милостью! Иудеи киевские приносили вести из германских земель о твоих невзгодах, но никто не думал,

что ты возвратишься. А тем более в лапы к степнякам угодишь!

— Я-то и сама степнячка наполовину, ты забыл? Но не ожидала, что Боняк мной воспользуется, дабы надавить на тебя.

— Ничего не сделаешь, матушка-княжна! Ведь война у нас. На войне все средства хороши.

Евпраксия спросила:

— Не погубят Святошу, нет?

Он запричитал:

— Ох, надеюсь, что обойдется. Будем Бога молить о его спасении.

— А когда город им уступишь?

— Завтра поутру.

В общем, план удался. Половцы заехали во Владимир-Волынский, и туда прискакал Давыд Игоревич. А отпущенный Святоша возвратился к отцу в Чернигов. Ксюша вместе с войском Путяты покатила в Киев.

Тут необходимо отметить, что слова Святоши сбылись: через год киевляне и черниговцы выгнали Давыда Игоревича из его вотчины. И насильно посадили в маленьком Дорогобуже, где тот вскоре и умер.

А вернувшийся из Польши Ярослав Святополчич начал управлять всей Волынью.

Восемь лет спустя, Киев, 1107 год, лето

В келью к Евпраксии-Варваре заглянула келейница Серафима и предупредила:

— Жди беды, сестра. Матушка как узнали, что без спросу подалась ты на похороны Гиты в Переяславль, так серчали зело. Говорили, что в обители своевольничать никому не след, даже княжым дочкам. И велели, по твоем появлении, отвести тебя к ней для толковища.

— Ой, подумаешь, беда! — отмахнулась Евпраксия. — Не убьет же она меня!

Серафима потупилась и сказала тихо:

— Ты на всякий случай ничего чужого не ешь и не пей. И вообще в монастыре не трапезничай. А посадят кошь на хлеб и на воду — потребляй только те, что подам тебе я.

Ксюша удивилась:

— Господи, о чем ты?

— Я и так поведала больше, чем должна была.

У монашки от страха выступил пот на лбу:

— Ты считаешь?.. Неужто?..

— Повнимательней будь.

— Боже мой, не верю!

— Осторожность не помешает.

Янка сидела в кресле и писала что-то гусиным пером на листе пергамента. Встретила Евпраксию молча, даже не повернув головы. Та с поклоном спросила:

— Дозволяешь, матушка?

Настоятельница ответила:

— Дозволяю — не дозволяю... Ты же все одно делаешь как хочешь.

Младшая сестра пояснила:

— Я отправилась к Мономаху не на гульбище, между прочим. Проводить невестку в последний путь и Володюшку поддержать добрым словом. Он признателен был вельми за мою заботу. Сокрушался, что тебя не увидел...

— Речь веду не об этом. Как посмела ты послушаться моего повеления? Ясно говорила: никуда не ехать! Отчего дерзнула не подчиниться? — Янка отшвырнула перо, и оно чернилами испачкало скатерть. В первый раз подняла глаза на вошедшую и была неприятно поражена, что Опракса-Варвара выглядит гораздо свежее, чем до пострига: тени под глазами не такие злоеющие, на щеках едва заметный румянец, а рисунок губ умиротворенный. Это вывело игуменью из себя окончательно; прервала Евпраксию на полуслове: — Слушать ничего не желаю! За твое непослушание я обязана тебя

покарать. Запрещаю покидать свою келью две недели, даже на моление. А из яств — лишь вода да хлеб.

— Как прикажешь, матушка.

— И ни с кем общения не иметь, кроме Серафимы.

— С Катей Хромоножкой нельзя?

— Я сказала: ни с кем.

— С Ваской тож?

— А с девицей тем паче. С панталыку ея собьешь.

— Восемь лет не сбивала вроде.

— Цыц! Не возражать!

— Умолкаю, матушка.

— Лыбься, лыбься. Я тебе устрою райскую жизнь.

— И не думала улыбаться, ваше высокопреподобие.

— Будто я не вижу. Кончилась твоя вольница. Монастырь — не княжеское сельцо для отдохновения. Две недели на хлебе и воде мало — лучше целый месяц. И надеть власяницу. И стегать себя розгами по рукам, ногам и лицу, чтоб ходила вечно в кровавых струпьях.

Ксюшины глаза потемнели:

— Может быть, прикажешь сразу меня распять? Чтоб уж окончательно извести?

Янку передернуло:

— Богохульствуешь, тварь такая? Издеваешься над Крестом Святым? — Помолчав, сказала: — Легкой смерти себе не жди. Будешь умирать долго и мучительно. Потому как житья я тебе не дам.

Евпраксия сказала твердо:

— Но и ты не богохульствуй, сестрица. Жизнь давать или отнимать может только Бог. И тебе не позволят надо мной измываться.

— Любопытно, кто?

— Братец наш любезный. Если что, сказал, дай мне знать — я приеду и тебя из беды-то выручу.

— Так попробуй, дай. Много человек у тебя на посылках?

— Кто-нибудь найдется.

— И не затевайся. Хуже будет.

Первую неделю своего заключения Евпраксия выдержала легко. Вспоминала поездку в Переяславль, разговоры с Владимиром и его сыном Юрием, занималась переводами на русский некоторых греческих книг, принесенных по ее просьбе Серафимой, вышивала на пяльцах. И конечно, много молилась. Но потом одиночество стало одолевать, в келье было жарко, душно, теплая вода вызывала отвращение. И желание сочинить записку брату крепло с каждым часом. Шепотом спросила у зашедшей келейницы:

— Коли я составлю малую цидульку на волю — сможешь передать?

Та решительно отмахнулась:

— Что ты, что ты, окстись!

— Да чего бояться? Кто узнает, коли спрячешь под платьем?

— Ни за что на свете. Ить меня обыскивают при выходе от тебя. Даже и под платьем.

— Свят, свят, свят! Мыслимо ли это?

— Вот представь себе.

— Янка ополоумела.

— И на Катю Хромоножку ругается. Та все время плачет.

— Господи Иисусе!

— Так что не взыщи, а помочь тебе не смогу я при всем желании.

— Ладно, потерплю.

Неожиданно вместо Серафимы хлеб и воду принесла сестра Харитина (в обиходе, среди монашек, получившая прозвище Харя — за наушничества настоятельнице); внешне была сама любезность, но никто никогда не сомневался в ее подлых мыслях. Ксюша удивилась:

— Почему тебе приказали приносить мне пищу?

Харитина слащаво заулыбалась:

— Разве ж это труд? Поручение матушки только в радость.

- Но ведь прежде приходила келейница.
- Нынче недосуг, надобно готовиться к Троице, веточки березовые срезать и траву-мураву везти.
- Я прошу вернуть Серафиму.
- Невозможно сие, Варварушка: занята она.
- От тебя вообще не приму еды.
- Ох, за что ж такая немилость?
- Я тебе не верю.
- Нешто я могу кому повредить? — слишком уж наигранно огорчилась та.
- Ты — не знаю, а другие могут.
- Уж про что толкуешь — не ведаю, только мне поручено — и придется кушать.
- И глотка не сделаю. Так и передай Янке.
- Обязательно передам, бесприменно, а как же!
- Передай, что не прекращу голодать, если не вернут Серафиму.
- Рассерчают матушка. Ох уж рассерчают!
- Очень хорошо. Мне она — сводная сестра, вот и разберемся по-свойски.
- Вы пока разбираетесь, Хромоножке-то достаются все синяки да шишки.
- Что опять стряслось?
- Харитина преувеличенно скорбно вздохнула:
- За проступок свой в темную посажена.
- За какой проступок?
- В трапезной прислуживала и, споткнувшись, опрокинула бадью с квасом.
- Так она же хромая — вот и оступилась.
- Не была бы матушка на тебя сердита — и Катюше бы не попало. А теперь страдает через тебя.
- Евпраксия залилась краской:
- Я желаю говорить с Янкой! Живое доложи!
- Доложу сейчас же. Но захочет ли матушка говорить с тобою?..

Разумеется, Опраксин протест ни к чему не привел: настоятельница до разговора не снизошла и келейницу

не вернула. Ксюша начала голодовку. Силы оставляли ее, и она размышляла, грустно улыбаясь: «А не все ль равно, от чего преставиться — от отравы или от голода? Нет, в моем положении лучше от голода, но не покоренной и гордой. Быть отравленной, точно крыса в погребе, вовсе недостойно».

И действительно: смерть явилась как избавление...

Только не к беглянке императрице, а к другой высокопоставленной даме — к матери великого Киевского князя Святополка, урожденной польской принцессе Гертруде, дочери короля Польши, Казимира Пяста. От жары ей сделалось дурно, и она скоростижно умерла от удара. А на похороны княгини, отдавая дань уважения двоюродному брату, прибыл из Переяславля сам Владимир Мономах. И решил провести сестер в Андреевской обители. Заявился к игуменье с дорогими подарками, принял угощение и спросил, сидя за столом:

— Где же Катя с Опраксой, отчего их не позовут?

Янка сообщила сквозь зубы:

— Обе оне наказаны за грехи.

— Ах, оставь, какие у них могут быть грехи? Обе точно ангелы.

Настоятельница съязвила:

— Да, особенно Евпраксия — чистый херувим!

Брат сказал примирительно:

— Ну, пожалуйста, Яночка, не злобничай, ради моего приезда хотя бы. Разреши увидеть.

Та позволила скрепя сердце:

— Будь по-твоему. Об одном прошу: не жалея их сильно. Не мешай мне воспитывать в духе послушания.

Мономах похлопал ее по руке:

— Полно строить из себя буку. Что ты в самом деле? Помню, как была жизнерадостной девушкой, пела песенки и гадала на чаре, кто тебе будет суженый.

Янка поджала губы:

— Ты меня с кем-то путаешь. Сроду я такой не бывала.

— А забыла, как в тебя влюбился Ян Вышатич? И однажды вас застукали на сенях старого дворца, где вы целовались?

— Прекрати! — побелела преподобная. — И не смей никому рассказывать!

Он расхохотался:

— Хорошо, не буду. Но и ты не делай вид, что святая. Все мы грешны. Тем уже, что зачаты не от Духа Святого, а от семени нашего родителя — Всеволода Ярославича. И негоже тебе глумиться над сестрами родными. Иисус бы тебя не понял.

Янка поднялась:

— Не учи меня христианству, дорогой. Я уйду, дабы не мешать вашей братской встрече. Не терплю этих ваших нежностей, или, как сказали бы латиняне, *сантиментов*.

— Жаль, сестра, что не терпишь. Хуже некуда, коли вместо сердца — ледышка.

Катя прихромала одна и, увидев Владимира, вскрикнула от радости:

— Ты ли это, княже? Пресвятая Дева! Дай мне приложиться к твоим перстам.

— Не к перстам, а к ланитам, душенька. — Усадил ее с собой рядом, начал угощать и расспрашивать.

Катя ела споро, но на все вопросы о себе отвечала сдержанно: мол, сама виновата, и жаловаться нечего.

— А Опракса? Кстати, где ж она?

Хромоножка опустила глаза:

— Нездорова, кажется...

— Ну, так я пойду ее навестить.

— Не положено светским заходить в наши кельи.

— Пусть тогда приведут сюда.

— Нет, нельзя, нельзя, совершенно невозможно.

— Отчего такое?

— Потому что она... она... встать уже не может!.. — И несчастная разревелась в голос.

Озадаченный Мономах стал ее утешать и одновременно выпытывать: что же все-таки сделали с их сест-

рой? А когда узнал о воде и хлебе, власянице и розгах, голодовке невольницы, вознегодовал. Стукнул кулаком по столешнице:

— Я иду к ней немедленно! И никто остановить не посмеет!

Катя прошептала:

— Поступай... поступай как знаешь... Только помоги ей, пожалуйста... Если еще не поздно...

Мономах стремительным шагом направился по внутренним галереям и решительно отстранял монашек, заступавших ему дорогу, а отдельных, самых рьяных, висших на его руках, стряхивал с себя, как налипший репей.

— Где она? — рычал Владимир. — Где моя Опракса? Коли не увижу, разнесу по щепкам это ваше осиное гнездышко! — Сапогом сбил замок на келье и ворвался внутрь.

Узница лежала пластом на лавке — бледная, худая, с безразличными ко всему глазами. Повернула голову, разлепила ссохшиеся губы:

— Что сие такое? Кто вы, сударь?

— Ты не узнаешь? Я твой брат Володимер. — Мономах опустился перед ней на колени.

— Господи, Володечко... Поцелуй меня. Докажи, что ты настоящий, а не призрак из моих бредней...

Он поцеловал ее с нежностью. А потом сказал:

— Я тебя вызволю отсюда. Прочь, прочь, на свежий воздух, вон из этих стен!

— Вызволи, пожалуйста. Или я погибну...

— Ни за что, не смей! С Янкой разберемся потом, а сейчас тебя надо выручать.

Подхватив сестру на руки (удивившись про себя, как она мало весит), вынес в галерею и пошел по ступенькам вниз. На ходу Ксюша лепетала:

— Ох, а может, мы дурно поступаем?.. Я ведь приняла постриг... Вдруг митрополит нас предаст анафеме? Отлучит от церкви?..

Мономах бубнил:

— Ты молчи, молчи. Я ему объясню. Он поймет.

— Но ведь мне сюда больше не вернуться...

— И не надо. Не один Андреевский монастырь на свете. Что-нибудь придумаем.

Евпраксия-Варвара ласково прильнула к его груди:

— Как же хорошо, что ты появился! Мне с тобой ничего не страшно!

— Ничего и не бойся. Вместе нас никто не погубит.

**Пятнадцать лет до этого,
Италия, 1092 год, лето**

Лотта фон Берсвордт в табеле о рангах при дворе императора Генриха IV называлась «каммерфрау» — то есть компаньонка императрицы. Не служанка, не горничная, а прислужница из благородных. Некогда она была фавориткой самого государя, но роман их закончился быстро, и дворянка-сирота продолжала составлять свиту кесаря. Старше Евпраксии-Адельгейды лет на десять, эта дама отличалась умом и хитростью, тонкой дипломатичностью и стремлением угождать. Ксюша вела себя при ней осторожно, так как знала: Лотта выполняет тайные поручения Генриха, например — наблюдать за его женой и немедленно докладывать о любом неповиновении.

Венценосная чета после неофициального разрыва не общалась между собой. Даже на родившегося в 1090 году сына Леопольда самодержец прискакал посмотреть не сразу. Больше проводил времени в войсках — он готовился к новой Итальянской кампании. А завоевав Мантую, Пизу, Павию и Верону, приказал, чтоб в последней поселилась его супруга с мальчиком. Адельгейда-Евпраксия повиновалась и приехала в Верону в окружении всей своей челяди, в том числе служанки Паулины Шпис, мамки-няньки Груни Горбатки (русской, привезенной еще из Киева) и, естественно, Лотты фон Берсвордт.

Леопольд (или просто Лёвушка), появившись на свет семимесячным, сразу чуть не умер, но стараниями повивальных бабок и лекарей начал оживать; разумеется, хворал часто и, как все болезненные дети, рос тщедушным, капризным, вялым. «Бледный ангелочек» — так прозвали его при дворе.

Ксюша не отходила сутками от ребенка, видя смысл своего существования на земле в воспитании и лечении мальчика. Лотта иногда просто заставляла императрицу уйти из детской, чтоб самой поспать и хоть что-то перехватить из пищи.

— Говорили: «Италия!», «тепло!» — сетовала беспокойная мать, убаюкивая отпрыска. — Утверждали, что здешний климат будет для Лёвушки благоприятен. А конец августа в Вероне хуже, чем во Франкфурте: ветер, сырость, дождь.

— Это Северная Италия, — отвечала Берсвордт. — Близость Альп, и река Адидже прохладная. Вот когда император вступит в Рим и переберемся туда, думаю, что принцу сделается лучше. Самое лучшее — поселиться на юге, где-нибудь в Неаполе или же в Салерно. Но, боюсь, не выйдет: юг Италии занят норманнами, с ними воевать — хуже некуда; вряд ли Генрих захочет покорять Апеннинский полуостров полностью.

— Я мечтаю съездить на море, — отзывалась Ксюша. — Окунуться в его соленые воды и погреться на солнышке. В Киеве купалась в Днепре, плавала неплохо. Это очень всегда бодрит. Лёвушке поможет бесспорно.

— Да, но только не раньше будущего лета, — продолжала каммерфрау. — Завтра — первое сентября.

— Осень, осень... Не люблю осень. Ненавижу холод, слякоть, желтую листву. Угасание, увядание вообще. Старость. Умирать надо молодым.

Лотта фыркнула:

— Не кошунствуйте, ваше величество. В каждом возрасте, в каждом времени есть свои особые прелес-

ти. Старость — это мудрость и возможность передать опыт. Умиротворение. Философия. Подведение итогов...

— Чепуха. Старость — это дряхлость и немочь, слабоумие и болезни. А накопленный опыт никому, по сути, не нужен. Молодые предпочитают сами обжигаться. — Помолчав, добавила: — И потом, осень трудно сравнивать со старостью. Потому что осенью есть надежда на будущую весну. А у старости нет надежд. После старости — пустота.

— Вы не верите в загробную жизнь?

— Верю, как и все. Только люди отчего-то не торопятся перебраться в мир иной — вот что странно! И оплакивают тех, кто туда ушел.

— Люди — неблагодарные твари. Чем они больше получают, тем еще большего хотят. И плюют затем на своих благодетелей.

Евпраксия вспыхнула:

— Вы на что намекаете? На мое отношение к императору?

Та наигранно испугалась:

— Ах, помилуйте, ваше величество! Разве я могу отважиться на подобную дерзость?

— Вот и правильно. — Русская помедлила. — Мы по-прежнему остаемся в браке. Я его люблю — моего супруга и отца моего единственного ребенка... Но за то, что и вы, и он сотворили со мной в ту ужасную рождественскую ночь, ненавижу. И смириться — не значит простить. Так и знайте, Лотта.

Каммерфрау возразила проникновенно:

— Государыня, вашему упорству нет разумного объяснения. Понимаю: вы воспитаны в догмах греческой ортодоксальной церкви. Всякие новации вам страшны. Но религия не может стоять на месте и должна развиваться с обществом. Прежние воззрения кажутся смешными. Генрих же не зря отрицает папские каноны. Поклонение Кресту...

— Крест не трогайте! — рассердилась Ксюша. — Я и раньше не отреклась от Креста и теперь не стану!

— Тише, тише, пожалуйста: мальчика разбудите. Леопольд завозился в кровати, закричал во сне.

Мать замолкла и поправила ему одеяльце; шепотом сказала:

— Да... забылась... вы разбредили старые раны... — И по-русски велела няньке — Груне Горбатке: — Грунечка, побудь с Лёвушкой, пожалуйста. Если что — Паулина пусть меня растолкает.

Пожилая женщина покивала:

— Не тревожься, моя голубушка, почивай спокойно. Я надежней всех твоих паулин, вместе взятых...

— Знаю, дорогая, и люблю за сё.

Вышла из детской вместе с Лоттой. И произнесла по-немецки, громче:

— Вы напрасно, Берсвордт, считаете, будто я такая упрямая. Ведь смогла же из православия перейти в католичество и назвать себя Адельгейдой. Потому что нет принципиальной разницы, основные догмы христианства сохраняются там и тут. Но отречься от Креста животворящего? Никогда. Кто бы меня ни убеждал — Генрих, вы или же епископ Бамбергский.

— Генрих и епископ от вас не отступятся.

— Оба далеко и придут сюда нескоро.

— Про епископа ничего не знаю, а его величество должен появиться здесь четвертого сентября.

Евпраксия замерла и встревоженно вперила в собеседницу:

— Как — четвертого? Почему я об этом узнаю последней?

— Извините, ваше величество, мне самой сообщили час назад.

— Боже, и вы молчали!

— Не успела. Не хотела отвлекать вас от принца.

— Ну, так говорите теперь. Он надолго? С чем придет?

— Представления не имею. Мне сказал шамбеллан замка, дон Винченцо. Прискакал гонец и велел готовиться к встрече.

Государыня осенила себя крестом:

— О, Святая Дева Мария! Помоги мне перенести приезд императора. Вдруг захочет мириться? Как себя вести?

— Не упорствовать, быть послушной.

— Я не возражаю в принципе. Главное — на каких условиях?

Лотта вкрадчиво улынулась:

— На каких бы то ни было, сударыня.

Адельгейда дернула плечом:

— Вы несносны, Берсвордт! Подчиниться готова — только не в вопросах Креста и веры!

— Что ж, тогда ждите неприятностей.

В то же самое время в замке Каносса (Италия)

Во главе итальянских врагов Генриха IV находились четверо.

Первой была женщина — маркграфиня Тосканская Матильда. Ей в ту пору исполнилось сорок шесть, и она переживала вторую молодость с юным, семнадцатилетним мужем — герцогом Швабским Вельфом. Их союз укрепил ряды оппозиции: «молодых» благословил сам Папа Урбан II и тем самым освятил сплочение Юга Германии с Севером Италии в их борьбе против императора. К этой тройке — Урбан, Вельф и Матильда — год назад присоединился старший сын Генриха от первого брака — Конрад. Он порвал с отцом вскоре после скандала с Евпраксией, взяв ее сторону.

В родовом замке маркграфини — Каноссе — завтракали трое. Грузная Матильда, жгучая брюнетка с хорошо заметными усиками и как будто бы даже с баками, ела свежий творог и сыр, дабы не толстеть больше,

но в таких количествах, что восстановление некогда утерянной талии не имело никаких шансов. Двадцатидвухлетний Конрад тоже не был худ: он пошел в свою мать, первую жену Генриха, итальянку, маркграфиню Берту Сузскую; чуть сутулясь и тараща глаза, как лубой близорукий человек, без особой охоты жевал жареное мясо. Только Вельф отличался живостью и свежестью — пропорционально сложенный, стройный, крепкий, он имел веселые ясные глаза, пухлые, еще не взрослые губы и копну великолепных белокурых кудрей, вообще чем-то походил на ягненка; пил и ел немного, больше говорил. В частности, сказал:

— Наши люди в Вероне передали сведения о возможно скором появлении у них императора.

— Это усложняет задачу, — оценила Матильда. — Крошка Адельгейда может согласиться на примирение с мужем. Как вы думаете, ваше величество? — обратилась она к Конраду. (Дама имела право так его называть: несколько лет назад Генрих IV сам официально короновал сына в Аахене и провозгласил своим наместником в Италии; вскоре после этого отпрыск перешел в стан его врагов.)

Молодой человек посопел, размышляя, а потом ответил:

— Я не исключаю. Мачеха по-прежнему влюблена в отца, несмотря на все случившееся. Если он задобрит ее, насвистит в уши всяких нежностей, покачает на руках Леопольдика — сдастся наверняка. Русская натура. Больше чувствует, чем думает.

— Плохо, плохо. Наши планы под угрозой провала.

— Может, просто выкрасть? — предложил Вельф. — Каждое воскресенье Адельгейда ходит на мессу в церковь Сан-Дзено Маджоре, и ее сопровождают только каммерфрау и четыре охранника. Налететь и увести ничего не стоит.

— А последствия? — усомнилась Матильда. — Обратит гнев на нас, а не на супруга. Нет, она должна

стать нашей союзницей, чтобы добровольно — только добровольно! — рассказать христианскому миру о бесовских действиях императора. Это будет скандал на всю Европу! Пугающее, чем любая военная кампания. От такого удара он уже не оправится. Маленькая русская устраним императора с политической сцены.

Белокурый шваб посмотрел на супругу с нежностью:

— Вы безукоризненны в ваших рассуждениях, милая Матильда. Лишь одна заковыка: как осуществить их на практике? Если императорская чета примирится, дело наше будет проиграно.

Женщина кивнула:

— Совершенно верно. Остается одно: организовать побег Адельгейды до приезда Генриха.

— Да, но как?!

— Я пока не знаю. Чем-то напугать. Страх перед императором должен пересилить любовь к нему.

Конрад произнес:

— Говорят, что мачеха молится на сына. Не отходит ни на шаг от болезненного мальчика. Значит, страх может быть один — за здоровье и жизнь Леопольда.

— Выкрасть сосунка? — догадался Вельф.

— Нет, ни в коем случае! — отmelda его предложение маркграфиня. — Вновь возненавидит не Генриха, а нас, похитителей. Надо поступить по-другому. Например, убедить государыню, будто государь вознамерился отнять у нее ребенка. Вот тогда... не исключено... что добьемся чего-то дельного...

Герцог восхитился:

— Вы неподражаемы, дорогая! Не перестаю удивляться вашему уму и находчивости. — Он схватил жену за руку и расцеловал в неуклюжие кургузые пальцы.

— Полно, полно, дурашка, — усмехнулась она, потрепав его белесые кудри. — Время не для нежностей, а решительных действий. Надо во всех деталях обсудить план, чтоб не ошибиться. Потому что другого столь благоприятного случая может не представиться.

Конрад произнес:

— Я собственноручно напишу мачехе. Мы с ней в дружбе. Мне она поверит.

— Очень хорошо! — оживилась дама. — И сегодня же пошлем грамоту в Верону. Медлить нельзя ни часа. Мы должны опередить императора.

И они, сомкнув серебряные кубки, осушили их за успех опасного предприятия.

День спустя, Верона

В церкви Сан-Дзено Маджоре в день святой Адельгейды — 2 сентября — было немногочленно: лишь сама именинница — императрица, в темном домино⁷, несколько ее приближенных, в том числе и Лотта, неусыпно следившая за своей госпожой по приказу Генриха, да с десяток прихожан самых разных возрастов и сословий. После проповеди, посвященной деяниям праведницы, давшей имя сегодняшнему празднику, после чтения из Святого Писания и органной музыки несколько родовитых веронцев подошли к государыне, чтобы выразить ей свое почтение и поздравить с Днем ангела. Евпраксия отвечала рассеянно, иногда даже невпопад. Думала только об одном: для чего приезжает Генрих? Для хорошего, доброго, заветного — примирения и взаимного прощения — или для дурного, злого, ненавистного — окончательного разрыва? Лотта что-то знает, но молчит как рыба. А зато капеллан, падре Федерико, говорит без умолку, хоть ему практически ничего не известно. У других же спрашивать не имеет смысла. Да и неудобно: коронованная особа, а сидит в неведении, как последняя стряпка. Стыд! Позор!

Под конец поздравлений к Адельгейде приблизился молодой монах — в черной, давно не стиранной сутане, подпоясанный пеньковой веревкой, в черной шапочке-пилеолусе на выбритом темени и простых деревянных сандалиях на босу ногу. Лет ему было где-то двадцать,

и румяное, жизнерадостное лицо плохо соответствовало аскетичному одеянию. Поклонившись, брат во Христе произнес на латыни:

— Я паломник из монастыря Сан-Антонио, что вблизи Бергамо. Направляюсь в Рим. И сегодня ночью мне явился ангел. Он велел: «Задержись в Вероне и зайди на полуденную службу в Сан-Дзено. Там увидишь императрицу. Надо предупредить, что его высочеству принцу Леопольду угрожает опасность. Подари ее величеству ладанку, где заключена цитата из Евангелиста. Пусть прочтет на ночь над кроваткой младенца и наденет ладанку мальчику на шею. Бог спасет ее сына».

С этими словами пилигрим протянул жене Генриха небольшой кожаный мешочек с тонкой серебряной цепочкой. Поклонился, приложив руку к сердцу:

— Да хранит вас Господь, мадонна!

Евпраксия, взволнованная рассказом, взяв подарок, ласково спросила:

— Ваше имя, добрый человек?

— Брат Лоренцо, урожденный Варалло.

— Я благодарю вас от всей души — за предупреждение и священный дар. Ведь мое дитя — то небольшое, что приносит мне радость в жизни. И отныне я буду молиться за спасение души брата Лоренцо из монастыря Сан-Антонио...

Оказавшись на площади перед церковью, Адельгейда и Лотта сели в паланкин. Каммерфрау задернула занавески, и могучие слуги понесли двух высокопоставленных дам к королевскому замку на берегу Адидже.

— Я бы на месте вашего величества выбросила ладанку, — заявила фон Берсвордт. — Даже из чувства брезгливости хотя бы. Шелудивый монашек — Бог его знает, где он шлялся и с кем ночевал. Вдруг имел общение с прокаженными? У него, вероятно, и блохи водятся.

— Как не стыдно произносить такое! — укорила ее Опракса. — Это знак Божий! Вседержитель спасает мо-

его мальчика. Не расстраивайте меня, пожалуйста, я и так едва справляюсь с трепетом душевным!

В тот же вечер императрица зашла в детскую — пожелать маленькому Лёвушке спокойной ночи. Тот лежал под стеганым одеяльцем и смотрел на мир грустными глазами. От отца взял слегка удлинненное лицо и трагически сомкнутые губы, а от матери — шелковистые волосы, сросшиеся брови и точеный, вздернутый носик.

— Как ты, дорогой? — обратилась она по-русски к сыну. — Как твоё горлышко, любимый? Больше не бо-бо?

— Не, — ответил он и пролепетал на ломаном русском: — Большее не бо-бо.

— Вот и славно. — Евпраксия поцеловала его в переносицу. — Мы с тобой почитаем божественные слова и потом уснем... — Распустив тесемку на ладанке, государыня достала скрученную в трубочку узкую полоску пергамента, раскатала ее и уставилась в мелко начертанные готические буквы. Вздвогнув, прошептала: — Господи! Что же это?

Текст гласил по-немецки:

«Ваше Императорское Величество! Брат Лоренцо — не монах, а переодетый посыльный от меня, Вашего преданного пасынка. Я иду на риск с единственной целью: предупредить. Мой отец задумал недоброе: развестись и отнять у Вас наследного принца, дабы воспитать самому, в соответствии с постулатами Братства. Посему предлагаю помощь и берусь устроить Ваш побег из Вероны в Каноссу. Будьте же готовы к вечеру 3-го сентября. Наш лазутчик станет ждать в саду замка. Выбирайте: рабство или свобода, жизнь в изгнании, в одиночестве — или у друзей вместе с Лео. Небо будет на Вашей стороне, если Вы решитесь. Конрад».

Евпраксия, почувствовав, как дрожат под платьем ее колени, опустила на подушку в деревянное крес-

ло, занимаемое обычно у кровати ребенка нянькой-сиделкой. «Что же это? — повторила Опракса. — Не ловушка ли императора? Нет, не думаю: если бы хотел меня уничтожить, не пошел бы на подобные ухищрения. Да и почерк похож на руку Конрада. Он всегда испытывал нежность ко мне. И не может простить отцу ту рождественскую ночь три года назад... Стало быть — бежать? А перенесет ли Лёвушка трудности пути? Взять с собою Груню? Но вдвоем не пройти, слишком подозрительно... И еще эта Берсвордт на каждом шагу, все вынюхивает, выискивает крамолу... Как же поступить? Не соображу... Я сойду с ума!..»

— Что, Екклезиаст? — зазвенел голос Лотты у нее за спиной.

Адельгейда инстинктивно отпрянула и с какой-то лихорадочной быстротой начала закручивать полоску пергамента.

— Да, Екклезиаст... — солгала она. — Почитала сыну, он и задремал... — Запихнула трубочку обратно в мешочек. — Надо бы повесить Лёвушке на шейку, но боюсь разбудить. Помогите мне.

— Вы неисправимы, ваше величество. Надевать на тело ребенка гадость всякую от прохожего пилигрима? Мало вам болезней самого принца?

— Перестаньте меня пугать. Подержите лучше... Так, готово. Позовите няню. Нам пора идти.

Каммерфрау проводила императрицу в опочивальню. И пока Паулина расчесывала государыне волосы, а Горбатка облачала в ночную рубашку, растирала на ногах пальцы и купала ступни в тазике с пахучей сиреневой водой, Лотта пела ей неспешные тюрингские песни, тихо подыгрывая себе на лютне. Наконец Еврапраксия легла на ложе и, велев задуть свечи, отпустила своих прислужниц. Дамы вышли. Пожелали друг другу приятных сновидений и направились по своим комнатам. Но фон Берсвордт слегка помедлила, слушая, как другие женщины запирают двери, и не-

слышно заскользила по коридору дворца, по блестящему мраморному полу, в детскую. На немой вопрос няньки подняла указательный палец кверху, приложила его к губам и сказала: «Тс-с!» А потом, приблизившись к спящему Леопольду, вынула из ладанки скрученный пергамент. Поднесла его к горящей свече и прочла послание Конрада. Сузила глаза, улыбнулась и легко возвратила трубочку на место. Снова погрозила указательным пальцем: дескать, нянька, имей в виду — никому ни звука! — и бесплотной тенью юркнула за дверь.

Там же, день спустя

Сутки государыня не сомкнула глаз: думала и сомневалась, взвешивала «за» и «против». А когда камерфрау, вроде беспокоясь, задавала вопросы — уж не занедужилось ли ее величеству? — отвечала нехотя: ничего, это от бессонницы, да и влажный климат Вероны действует как-то угнетающе...

Во второй половине дня посетила капеллу замка и, крестясь у Распятия, обреченно молилась, плача и прося защиты у Сына Божьего. Вышла из часовенки с красными глазами и опухшим носом. Отослав слуганок, спрятала в кожаную сумочку все свои драгоценности, прикрепила ее на пояс, обвязав себя им под платьем, по нательной рубашке, высоко под грудью. Позвала Горбатку и распорядилась, чтобы нянька одела мальчика — прогуляться на сон грядущий.

Груня служила в доме киевских князей всю сознательную жизнь, нянчила еще Мономаха и Янку, а потом — всех детей от княгини Анны. С детства была увечна — не могла держать шею прямо и за это получила свое прозвище. Женщина была добрая, отзывчивая, сердобольная. Ксюша ее любила не меньше матери.

Услыхав о намерении вывести ребенка на воздух, Груня попыталась протестовать:

— Да Господь с тобой, ласточка Опраксушка! На дворе смеркается, да и дождик капает. Принц с утра-то кашлялши... Что за баловство на ночь глядя?

Посмотрев на нее в упор, Евпраксия произнесла жестко:

— Делай, как велю. И сама оденься. Вместе с сыном выходи в сад. Больше никого не бери.

Челядинка оторопела:

— Что же ты задумала, Господи Иисусе? Свят, свят, свят! Опомнись!

— Хватит гурундеть. Надо торопиться. Никому ни слова.

Выждав полчаса, Адельгейда натянула дорожные кожаные туфли и перчатки из лайки, а на плечи накинула домино. Только захотела выйти из комнаты, как столкнулась с Лоттой. Каммерфрау оглядела ее с ног до головы и с наигранным изумлением начала расспрашивать:

— Вы уходите, ваше величество? Не поставив меня в известность?

Государыня вспыхнула:

— Что такое, Берсвордт? Вы за мной следите?

— Нет, но у меня приказ императора — быть повсюду с вами.

— Ну, так вот вам приказ императрицы — убирайтесь вон! Я сама знаю, что мне делать.

— О, не сомневаюсь. Но позвольте сопровождать вас, ваше величество. Мне распоряжение императора все-таки дороже.

— Я сказала: вон! Или повелю вас связать.

— Ах, связать? Воля ваша. Только я успею до этого кой-кого отправить на поимку лазутчика, посланного Конрадом и засевшего тут в саду.

Задрожав, русская княжна проронила:

— Значит, вы читали пергамент в ладанке?

Немка усмехнулась:

— Не сердитесь, ваше величество: это часть моих

служебных обязанностей... Вы потом мне спасибо скажете.

— Вот уж не надейтесь! — И гримаса гнева исказила лицо Опраксы; не осталось и в помине тихой, богобоязненной дурочки, за которую многие принимали киевлянку, — перед Берсвордт стояла правнучка Владимира Красное Солнышко, властная, упрямая и самолюбивая; выпростав руку из-под плаща, Евпраксия схватила бронзовый канделябр, где горели свечи, и с размаху ударила им в лицо каммерффрау. Та от неожиданности не успела ни вскрикнуть, ни ойкнуть и свалилась, лишившись чувств. Из ее ноздри на ковер заструилась кровь. — Так тебе и надо, поганка, — одевала по-русски Ксюша. — Это тебе за «Пиршество Идиотов»! — и поспешно скрылась из комнаты.

Беспрепятственно спустилась на первый этаж, пробежала по галерее, чуть заметно кивая выставленной охране, оказалась во дворе замка и пошла вдоль стены дворца, наклоняя голову, чтобы капюшон скрыл ее лицо. Отворила мокрую от дождя дверцу сада и попала внутрь.

Сад еще не сбросил листвы; резко пах жасмин, ива склоняла до земли длинные плакучие ветви, а кусты смородины были сплошь усыпаны крупными ягодами. Влажный прохладный воздух распирает легкие. Где-то сбоку послышался детский кашель.

— Груня, Лёвушка, я не вижу вас! — вглядываясь в сумерки, с нетерпением сказала Опракса. — Отзовитесь.

Но вначале из темноты выступил мужчина — в круглой суконной шапке, неприятно надвинутой прямо на глаза, и завернутый в черный длинный плащ. Он сказал по-немецки с сильным итальянским акцентом:

— Ваше величество, мы служанку взять с собой не сможем. У меня распоряжение герцога Вельфа только относительно вас и принца.

— Что ж, тогда передайте герцогу, что он полный остопоп, — гордо произнесла государыня. — Груня мне

больше чем служанка, и бросать ее у чужих людей не намерена.

Человек из Каноссы несколько мгновений раздумывал. А потом вздохнул:

— Делать, видно, нечего; как желаете. Но учтите: шансы на побег уменьшаются ровно вдвое!

— Не болтайте зря. Время дорого.

Из-за дерева выплыла Горбатка с ребенком. Мальчик то и дело покашливал.

— Лёвушка, голубчик, что с тобою? — наклонилась к нему родительница и коснулась губами лба. — Боже Святый, да он в огне! У него лихоманка. Нам придется остаться.

— Ваше величество, — произнес мужчина, — скоро протрубят в рог и поднимут мост, а крестьянин, согласившийся спрятать вас в бочке из-под вина, побоится ждать и уедет.

— В бочке от вина? — подняла глаза Адельгейда. — Но вместит ли она троих?

— В том-то и вопрос...

Выскользнув из сада, вереницей двинулись через длинный двор к винным погребам. У дверей одного из них стояла телега, на которой покоились две большие бочки.

— Да их пара! — радостно воскликнула Евпраксия. — Места хватит всем!

— Нет, вторая полная, — покачал головой провожатый. — Он везет вино в ратушу. — Оглядевшись по сторонам, сделал знак вознице.

Тот приблизился: это был мужик лет под пятьдесят, в кожаной безрукавке мехом внутрь и простых холщовых портах.

— Здравия желаю благородным синьорам, — поклонился он, стягивая шапку.

— Тихо, не бурчи, — осадил его человек от Вельфа. — Открывай пустую. Надо разместить их троих.

— Не, втроем не влезут, — заявил крестьянин.

— Надо, чтобы влезли.

Первой в бочку засунули государыню. Дали на руки мальчика. А затем стали впихивать Груню Горбатку. Пожилая женщина причитала, поминала Господа и кряхтела. Кое-как умяли и забили днище.

В бочке было страшно, тесно и темно. Пахло старым кислым вином, свежего воздуха явно не хватало, и дышалось трудно. И к тому же принц беспрерывно хныкал, куксился и покашливал. Мать, прижав его к сердцу, тихо говорила:

— Потерпи, потерпи, хорошенький. Скоро мы приедем. И уложим тебя в постельку, напоим горячим, выгоним недуг. Все у нас устроится. И никто тебя у меня больше не отнимет...

По движению бочки стало ясно, что телега тронулась.

Миновали двор и подъехали к первым воротам. Пошла охрана:

— Луко, это ты? Дай хлебнуть винца.

— В следующий раз. Должен привезти бочки к ратуше до того, как совсем стемнеет.

— Ладно, проезжай. Но должок будет за тобой. И твоим работником, — указали стражники на лазутчика Вельфа, что сидел рядом на телеге.

— Возражений нет.

У вторых ворот снова задержались. Караул спросил:

— Что везете?

— Молодое вино, господа. В ратуше послезавтра танцы.

— Обе бочки полные?

— А каким им быть? Для чего мне тащить порожние?

— Вот сейчас проверим. Джино, постучи по ее бочкам.

Караульный выставил алебарду и древком ударил по первой бочке.

— Полная, господин капрал, — отозвался он.

— Видите, — обрадовался возница. — Значит, я поехал?

— Погоди, мы проверим еще вторую.

— О, Мадонна миа! Как ей быть не полной?

— Что вы в самом деле, ребята? — вдруг заговорил человек из Каноссы. — Честных людей страшаете... Может, заработать хотите? Я вручу золотой каждому из вас, и разъедемся по-хорошему.

— Подкуп должностного лица? — возмутился начальник. — Знаешь, чем заканчиваются подобные штуки?

— А по два золотых? Нет, по три?

У капрала внутри, видно, что-то дрогнуло. Почесав затылок, он ответил нехотя:

— Счастье твое, разбойник, что сегодня я в добром настроении. Так и быть, десять золотых на всех наших, мне четыре сверху — и проваливай, чтобы духу твоего не было.

Вдруг из бочки послышался детский кашель.

В воздухе повисла тягостная пауза. Первым взял себя в руки капрал:

— Ситуация осложняется, господа. — Он помедлил. — Меньше чем за двадцать монет мы вас не пропустим.

Провожатый засуетился:

— У меня с собой только восемнадцать. Вы уж не взыщите...

Без особой радости караульный кивнул:

— Ладно, так и быть, я сегодня мягкосердечный...

Порученец Вельфа отстегнул от пояса и бросил ему кожаный кошель. Главный стражник в свете поднесенного факела не спеша пересчитал золотые кругляшки.

— Восемнадцать. Славно. Поднимите решетку, парни! Пусть гребут отсюда.

Несколько охранников навалились на ручку ворота, начали крутить. Механизм заскрипел, задвигался, и железные прутья поползли кверху.

— Стойте! — прозвучал женский крик. — Именем императора, остановитесь! Я — фон Берсвордт, камер-фрау ее величества. И приказываю задержать этих негодяев.

Факел осветил разлохмаченные волосы благородной дамы и разбитое в кровь лицо. Вслед за ней топали другие охранники.

— Боже мой, синьорина Лотта, что с вами? — удивился капрал.

— Вы сейчас увидите, — отдуваясь после быстрого бега, пробурчала та. — Опустите решетку. И проверьте бочки.

— Мы уже проверили. В них вино.

— Что, в обеих?

— Честно говоря, мы стучали только по первой.

— А теперь проверьте вторую. — Сделав жест рукой, немка приказала сопровождающим совершить осмотр.

— Ваша милость, там внутри что-то есть, — ото-звался охранник, влезший на телегу и с серьезным видом обстучавший заднюю бочку. — Но, конечно же, не вино.

— Открывайте! Выбить дно немедленно!

Пламя факелов высветило сценку: появление Груни, маленького принца и Адельгейды.

— Ваше величество, вы ли это? — с показным удивлением обратилась к императрице придворная. — Станный способ передвижения для особ королевского семейства! Вам не подобает залезать в бочки. Даже если они из-под лучшего вина. Или на Руси это принято?

— Замолчите, мерзкая, — процедила Ксюша, отряхивая плащ. — Рано торжествуете. Я своих обид не прощаю.

— Что вы, что вы, — поклонилась дворянка. — Просто я приучена всей душой служить императору... А его благодарность — выше вашей немилости...

— Эй, куда?! — свистнула охрана. — Улизнет! Держи!!

Оказалось, человек из Каноссы, улучив момент, спрыгнул с передка, прошмыгнул в проем, все еще зиявший между не опущенной до конца решеткой и землей, и растаял в непроглядной темноте итальянской ночи. Кто-то выстрелил из лука ему вдогонку, но, конечно же, наугад и мимо.

— Да-а... уже не поймать... — проворчал капрал. — Бросится в Адидже, поплывет — и тогда поминай как звали. Упустили ловчилу. — Видимо, монеты, перешедшие к нему в карман, не располагали к погоне.

— Гнусные скоты, — обругала стражу фон Берсвордт. — Вас колесовать мало. Хоть другого злодея не провороньте. В кандалы его! Император завтра приедет и рассудит по справедливости. — Повернулась к государыне: — Не соблаговолит ли ваше величество возвратиться назад во дворец?

— Разумеется. Надо уложить Лёвушку. У него, похожему, разыгрался жар.

— Ах, какая неосмотрительность! — сокрушенно проговорила дворянка. — Вы осмелились запихнуть нездорового принца в бочку? Государь, узнав, будет недоволен. И естественно, примет меры, чтоб не допустить подобного впредь.

— Вы заткнетесь когда-нибудь? — огрызнулась Опракса. — Мало получили подсвечником? Я могу добавить.

— Как изволите, как изволите, ваше величество...

Но действительно, скоро о ругани перестали думать: Леопольду сделалось очень худо, он метался в бреду, бился головой о подушку и кого-то звал по-немецки. Поднятый с постели дворцовый лекарь констатировал простудную лихорадку и велел смазать грудь больного барсучьим жиром, напоить отваром душицы, мать-и-мачехи и малины, а в чулки насыпать сухой горчицы. Евпраксия сказала, что пробудет в детской всю ночь, и никто не смог ее в этом разубедить. Заболевший горел, сухо кашлял, и Горбатка с императрицей молились у его ложа.

Рано утром приехал Генрих. Самодержцу сразу доложили обо всех событиях предыдущего вечера. Он вошел в спальню сына — сумрачный, нахохленный — и смотрел на слуг исподлобья, чем-то напоминая волка.

Император был немного выше среднего роста, перетянут широким кожаным ремнем, в узких сапогах и высокой шляпе с пером. Выглядел лет на пятьдесят, хоть на самом деле ему исполнился только сорок один. Он имел узкое бледное лицо и огромные синие круги под глазами, черные волосы до плеч (привилегия франкских королей), но зато усы и бороду небольшие, коротко подстриженные. Не носил никаких драгоценностей — только именной перстень с печаткой на безымянном пальце правой руки.

Посмотрел на Евпраксию сурово, явно неодобрительно, и спросил с ледяными нотками в голосе:

— Как понять вашу выходку, сударыня? В бочке из-под вина... с нездоровым принцем... Вы сошли с ума?

Вероятно, в иной ситуации Ксюша бы дрожала всем телом, запинаясь и не смела поднять пылающего лица; но тревога за сына и бессонная ночь у постели мальчика выжгли из ее сердца остальные чувства; стоя перед мужем, ничего не боялась, лишь тоска наполняла душу, безразличие ко всему, кроме Лео. Не спеша ответила:

— Я в порядке, сударь. Если и говорить об умственной хвори, то не о моей. Кто во имя ереси заставлял беременную супругу принимать участие в черной мессе? Для чего ж теперь удивляться, что ребенок родился прежде срока и никак не может поправиться!

Слушая ее, император жевал нижнюю губу. А потом сказал:

— Вы себе отдаете отчет в том, что говорите? Только что, мгновенье назад, обвинили меня в сумасшествии. Мыслимо ли это?

— А мгновеньем ранее в том же обвинили меня.

— Между нами разница. Вы — никто. Я — все!

У нее презрительно сморщился нос:

— Может быть, Господь Бог? Уж не много ли на себя берете?

— Да, представьте: император — помазанник Божий.

Женщина вздохнула:

— Знаю, знаю. Но венчал вас на царство кто? Преданный вам епископ Виберто ди Парма, незаконно избранный вами Папа. Ведь недаром же пол-Европы называет его презрительно «антипапой»!

— Замолчите. И не говорите о том, в чем не разбираетесь.

— Почему вы сегодня в Италии с войсками? Очень просто: итальянская часть империи вам не подчиняется. Вас не признают императором и в Германии. А меня, между прочим, венчали по всем канонам.

Генрих рассмеялся:

— Неужели? Вас венчали тоже преданные мне архиепископы — Гартвиг и Герман. Отлученные «настоящим», как вы утверждаете, Папой. Так что не советую вдаваться в подробности. А иначе докатимся до того, что и брак наш не легитимен.

— Ах, не легитимен?

— Получается, да: если Гартвиг и Герман, совершавшие таинство обряда, были прокляты Папой, то они не имели права нас венчать. Брак не легитимен, вы мне не жена, стало быть — никто.

— Ах, никто?

— Абсолютно.

— Почему же тогда вы меня удерживаете в Вероне да еще ругаете за попытку увести отсюда ребенка — совершенно не принца даже, а обычного мальчика, незаконнорожденное дитя?

Самодержец отрезал:

— Потому что не подвергаю сомнению совершенного. Я — помазанник Божий. Вы — моя жена. Леопольд — наш наследник и маркграф Австрийский.

Адельгейда кивнула:

— Вот и славно. Значит, мы на равных. И по праву равного заявляю вам: не позволю, чтобы вы отобрали у меня Лео.

Немец удивился:

— Что за чушь такая? У меня и в мыслях не было отбирать ребенка. Кто внушил вам эту нелепицу? Конрад? Ах, мерзавец... Впрочем, он, конечно же, пляшет под чужую дуду. Да, с Каноссой пора кончать. Не оставляю от крепости камня на камне.

— Вы серьезно не увезете мальчика?

— Говорю же: нет! — Он приблизился к ложу, отодвинул полог, прикрепленный к высокому балдахину. — Как его самочувствие? Лучше?

— К сожалению, ненамного. Жар еще силен.

— Я пошлю за лучшими докторами Мантуи и Пизы. Мы должны спасти принца. Вырастить достойным королевского звания. — Император опустил полог. — Понимаете, о чем я, сударыня? Конрад — негодяй, тряпка, отщепенец. Генрих-младший не лучше. Он уж больно туп. Не рискну ему передать корону... Значит, Леопольд. Главная надежда империи.

Евпраксия ответила:

— Для меня политика не важна. Просто я желаю ему здоровья.

Самодержец пропустил ее реплику мимо ушей и направился к двери. Обернувшись, заметил:

— Инцидент исчерпан. Больше не сержусь за попытку бегства. Вас хотели использовать в гнусных целях, вы не виноваты. Но!.. — Самодержец посмотрел грозно. — Если из-за этого происшествия с Леопольдом что-нибудь случится — не хочу произносить страшное! — это будет конец нашим отношениям. Так и знайте, сударыня. Так и знайте!

Адельгейда присела в почтительном реверансе:

— Я молюсь за его спасение.

— Хорошо, помолитесь и от меня тоже.

Капеллан — падре Федерико — живо отозвался на просьбу императрицы и провел службу за здоровье младшего сына кесаря. Схожие молебны прошли и в других храмах города. Прибывшие доктора не сказали ничего нового: лихорадка на фоне бронхита, надо давать теплое питье и микстуры, понижающие жар. Вскоре ребенку сделалось получше; впрочем, кашель только усилился, стал сухим и лающим. Евпраксия спала не больше полутора часов в сутки и почти не отлучалась из детской. Но на третий день Паулина едва не силой увела госпожу в ее апартаменты — ненадолго прилечь и слегка соснуть. Говорила с укором в голосе:

— Посмотритесь в зеркало, ваше величество: бледная, осунувшаяся, нос один торчит. Разве ж можно доводить себя до таких крайностей? Дети все болеют. Убиваться нечего. Надо и себе уделить внимание. Что его величество скажут?

— Лёвушка поправится — с ним и я тоже расцвету, буду есть и пить. А пока глоток не проходит в горло.

— Так хотя бы вздремните. На полчаса. Груня посидит у кровати.

— Так и быть, согласна. — Уходя, предупредила Горбатку: — Если что — зови. Не до церемоний. Самочувствие принца во сто крат важнее моего сна.

— Не тревожься, душенька, — отвечала нянька. — Буду начеку.

У себя в опочивальне Ксюша отказалась раздеваться — вдруг бежать к мальчику? — и легла в одежде, лишь прикрыла ноги шерстяным одеяльцем. Положила голову на подушку и мгновенно забылась, словно потеряла сознание. Пребывала в прострации меньше двух часов, ничего не видя во сне, ничего не чувствуя, и с трудом приподняла веки — оттого, что ее трясли за плечи.

— Просыпайтесь, просыпайтесь, ваше величество! Просыпайтесь, беда у нас! — Паулина кричала, теребя императрицу довольно грубо.

Наконец до родительницы дошло:

— Как? Беда? Что случилось?

— Он не дышит!

Соскочила с кровати и, забыв надеть туфли, в шелковых чулках побежала в детскую. Голова кружилась, мир качался перед глазами, как большая лодка. Коридор — двери — балдахин... Сгрудившиеся врачи... И Горбатка, бросившаяся под ноги, с мокрым от слез лицом:

— Это я виноватая, любушка-голубушка, проглядела, старая...

Оказалось, что у мальчика не обычная простуда, а ложный круп: в приступе кашля происходит спазм мышц гортани; надо в ту же секунду вызвать у больного рвотный рефлекс, прочищающий горло, а иначе ребенок может задохнуться. Но Горбатка, сидевшая с принцем, этого не знала, пропустила момент, стала звать на помощь слишком поздно...

Опустившись на пол перед умершим сыном, Ксюша склонила голову и, роняя слезы на ворс ковра, попросила тоненько:

— Сделайте, пожалуйста, что-нибудь... оживите его... вы же можете... умоляю вас...

Кто-то из врачей извиняющимся тоном сказал:

— Бесполезно, ваше величество. Мы бессильны. И поверьте: нам очень жаль.

Адельгейда произнесла:

— Значит, кончено. Я погибла. — И лишилась чувств.

Доложили Генриху. Император перенес известие мужественно, только побледнел еще больше и сидел в молчании несколько минут. А потом отдал распоряжения насчет похорон: службу провести в церкви Сан-Дзено Маджоре, тело упокоить в королевском склепе Вероны, колокольные звоны устроить на всех колокольнях города.

Маршал замка деликатно спросил:

— Ваше величество, каковы будут указания относительно Луко?

Самодержец посмотрел с удивлением:

— Луко? Кто такой Луко?

— Тот крестьянин, что сидит взаперти в донжоне⁸. Соучастник неудавшейся попытки бегства. Вы сначала хотели его повесить, а потом отложили дело.

Государь рассеянно покивал:

— Да, повесить...

— После похорон принца или до?

— Что? — отвлекся монарх от своих мыслей. — Ты о чем?

— Я говорю: привести приговор в исполнение до или после похорон?

— Чьих похорон?

— Так его высочества принца Леопольда.

— Ах, ну да, ну да... Что, какой приговор?

— Луко повесить, как вы велели.

— Я велел? Когда?

— Только что.

— Разве? Чепуха. Просто вспомнил, кто такой Луко... — Вновь задумался. Наконец сказал: — В общем, отпустите его.

— Как, простите? — удивился маршал.

Генрих помрачнел:

— Выпустить на волю! Пусть проваливает к свиньям! Что тут непонятного?

— Как прикажете, ваше величество.

— Хватит, хватит смертей! Мы в конце концов христиане. В память о моем сыне я прощаю этого несчастного. Передайте ему. Чтоб молился за упокой души раба Божьего Леопольда.

— Будет исполнено, ваше величество.

— А теперь иди. Мне необходимо побыть одному. И пускай принесут лучшего вина.

— Красного или белого, ваше величество?

— Красного, конечно. Нет, пожалуй, граппы⁹. Я хочу покрепче.

Пил и размышлял: «Что же происходит? Впечатление, будто от меня отвернулось Небо. Все, что ни затею, получается наперекосяк. Нет ни в чем покоя... Думал, эта русская принесет мне счастье. Думал, что начну с чистого листа. Нежная, прелестная молодая женщина, дочь великого князя Киевского. Знатность и богатство, мощная подпитка русскими деньгами... Нет, не получилось. Оказалась еще глупее, чем Берта. Та мне изменяла и жила как хотела, я ее не видел годами. Эта же влюбилась как сумасшедшая и все время требовала взаимности. Но ведь я император! У меня иные заботы, кроме семьи... А по части веры оказалась совершенно непробиваемой. Не смогла пройти обряд посвящения, мямля. А потом обвинила, будто я виновен в преждевременном рождении Лео! Глупость несусветная. Просто чрево ее такое слабое... Да и вся она — плакса и зануда. Хороша, чертовка, даже в горестях своих обаятельна, но упряма и вздорна. Впуталась в интриги Каноссы, влезла в бочку, дура, погубила мальчика... Бедный Лео! Впрочем, он такой был болезненный — явно не жилец. Нет кругом надежных людей. Конрад — остопоп и предатель. Генрих-младший — негодяй и болван. Остальные не лучше. Деньги русские не пришли — князь вначале жался, а потом и вовсе помер. Новый князь о союзе с Германией слышать не желает. Ненавижу. Ненавижу всех. Нет любви в моем сердце».

Государь снова выпил.

В мраморном камине потрескивали дрова. Император часто мерз и всегда заставлял разжигать камин, даже летом. Теплота успокаивала его. Долгое глядение на огонь умиротворяло. Навевало философские мысли. Убеждало: всё на свете сгорит, как вот эти дрова. И останется только кучка пепла. Для чего он бесится, мучает себя и других, если впереди только тлен? Вот бы бросить государственные дела, плюнуть на интриги, передать престол — Генриху, пожалуй, — и гори всё оно огнем! Вместе с Адельгейдой жить в каком-нибудь от-

даленном замке... в стороне от политики и завистников, ни о чем серьезном не думать, слушать музыку и читать богословские книги...

Нет, не выйдет. Он умрет от скуки. Он без власти — никто. Власть важнее семьи, безмятежности бытия, тишины и покоя, власть превыше всего! Он не создан для любви. Для него любовь — только средство, сантименты для правителя губительны. Власть, борьба, кровь, укрепление империи, покорение неугодных — вот его стихия. Так вели себя и отец, и дед, остальные предки. Таково и его предназначение на земле. Он умрет непобежденным. Никогда не сдастся. Для победы все средства хороши!

Позвонил в колокольчик. Посмотрел на вошедшего камергера, на его отличительный знак — ключ на голубой ленте. И сказал неспешно:

— Сразу после похорон Леопольда уезжаю отсюда. Закажите также заупокойные мессы по моим родителям и императрице Берте. Я желаю пожертвовать в местные монастыри по четыреста золотых в каждый.

— Очень щедро! — оценил секретарь, помечая грифельной палочкой на листе пергамента. — В армии и так перебои с поставками...

Кесарь огрызнулся:

— Делай как велели. И еще я желаю говорить с ее величеством. Позови сюда.

— Берсвордт утверждает, что ее величество не встает с постели.

— Пусть ее поднимут. Приведут под руки. Принесут, черт возьми! Я хочу говорить с собственной женой! В чем дело?

— Сей момент исполним... — Испугавшийся камергер, кланяясь, попятился и, открыв задом дверь, испарился.

«Отрубить бы ему башку, — зло подумал Генрих. — Только ничего от этого не изменится. Новый будет не лучше. Заколдованный круг. Вот в чем наша трагедия!»

Полчаса спустя, опираясь на локоть каммерфрау, появилась Ксюша — белая как мел, сильно похудевшая, с мутным взором; тем не менее черный бархат платья с черной накидкой на волосах шли ей необычайно. Слабо поклонилась при входе.

— Сядьте, Адельгейда. Лотта, помогите ей и оставьте нас.

— Слушаюсь, ваше величество...

Женщина сидела недвижно, как изваяние. Даже не моргала. Государь пододвинул ей наполненный кубок:

— Пригубите граппы. Подкрепитесь немного.

Разомкнув слипшиеся губы, Евпраксия ответила:

— Не могу. Не буду.

— Я приказываю вам.

— Даже мысль о вине мне невыносима.

— Если вы не выпьете, я заставлю силой.

— Вы бесчеловечны, ваше величество.

— Да, я монстр. Богохульник, еретик, дьявольский приспешник — разве вы не знаете, как меня зовут на базарных площадях?

— Я давно не ела. Крепкое вино мне закружит голову.

— Вот и хорошо, потому что на трезвую голову не поговоришь.

— Это вы так считаете.

— Это я так считаю. Пейте, пейте.

Еле подняла кубок и дрожащей рукой поднесла ко рту. Сделала глоток, а потом неожиданно еще несколько. Но остановилась, опустила сосуд на стол и прикрыла ла веки.

Генрих произнес:

— Вот и замечательно. А теперь выслушайте меня.

У супруги дрогнули ресницы, и она взглянула на императора несколько осмысленней. Задала вопрос:

— Вы со мной разводитесь?

Он слегка даже умилился:

— Нет.

Помолчал и продолжил:

— Впрочем, что скрывать, — вызывая вас, я намеревался сказать, что действительно разрываю с вами. Но в последнее мгновение передумал.

Адельгейда тихо спросила:

— Что же повлияло на ваше решение?

— Вы.

— Я? Не разумею.

— Просто появились и сели. Вся такая хрупкая, удивительная, воздушная. Понял, что хочу вас. Тут, немедленно, прямо на ковре у камина. — Самодержец дотронулся до ее запястья, но она отдернула руку, в страхе отшатнувшись.

Выкрикнула жалобно:

— Нет! Оставьте! Это невозможно.

— Что еще за глупость? — Муж поднялся.

Евпраксия выставила ладонь, отстраняясь от него в ужасе:

— Только не сегодня! Пять часов назад умер Лёвушка!..

— Да, я помню. И скорблю не меньше, чем вы. И желаю немедленно подарить жизнь новому созданию. — Наклонившись, он поцеловал ее в лоб.

— Нет, не надо!

— Вы моя жена и не смеете мне отказывать. — Генрих целовал уже ее брови, веки, скулы.

Ксюша отворачивалась, хрипела:

— Вы пьяны... вы не отдаете себе отчета...

Император не отступал:

— Полно, не упрямитесь... Я вас обожаю... Если не хотите меня потерять... Сжальтесь надо мной... — И с животной жадностью впился в ее раскрытые губы.

Евпраксия схватила серебряный кубок и заехала немцу по затылку. Но замах получился слабый, и металл по касательной лишь прошелся по его волосам. Тут монарх сразу рассердился и, взглянув ей в лицо, воскликнул:

— Ах ты маленькая мерзкая тварь! Бить меня, су-

пруга? — и наотмашь хлестанул ее по одной щеке, а потом по другой.

Заслонив лицо руками, женщина заплакала. Кесарь, приходя в ярость, только распалился:

— Убери локоть! Убери локоть, я сказал! — и с такой чудовищной силой вдруг нанес ей удар под подбородок, что она, вылетев из кресла, рухнула навзничь на ковер, чуть не раскроив себе череп об основание камина.

Встать уже не успела. Он ударил снова, а потом бесцеремонно, грубо и разнузданно овладел ею на полу, приговаривая со злобой:

— Вот! Вот! Я тебя научу вежливости! Навсегда забудешь, как перечить своему господину! — и от каждого толчка вождеденно всхрапывал.

Чтоб не видеть его налитое кровью лицо, краснота которого усиливалась отблесками пламени в камине, Еупраксия зажмурилась и закинула голову назад, выгибая шею. Из груди ее вырвался стон брезгливости. Ногти впились в ковер, и она с отчаянием поняла, что сдается, что ее протестующий разум отступает перед мощными импульсами тела, вспоминающего прежние радости их взаимного единения. И уже стонала от сладострастия.

По обыкновению, Генрих не отпускал ее больше часа. Был неумолим и довел до полного изнурения. Пережив четыре или пять пиков удовольствия, государыня больше не могла чувствовать и двигаться, даже думать. И когда монарх наконец поднялся, продолжала лежать в прострации, заголенная и измученная совсем.

Приводя одежду в порядок, он проговорил:

— Поднимайтесь, ваше величество, хватит симулировать отвращение к происшедшему. Я же видел: вы и сами заходились от радости, просто ваш паршивый характер вам не позволяет в этом признаться. Опустите юбки. Вдруг сюда войдут и увидят? Ну, давайте, давайте руку, я вам помогу.

Адельгейда зашевелилась, скрыла наготу, но руки не подала, пятась, отползла, встала, опираясь на лежащее кресло, посмотрела на государя, раздувая ноздри:

— Можете меня вновь ударить. Можете повесить, отрубить голову, бросить с камнем на шее в Адидже. Только все равно я скажу. Вы подонок, ваше величество. Грязная, зажавшаяся свинья. Всё, что говорят о вас на базарных площадях, истинная правда.

Генрих рассмеялся:

— Кипятитесь, кипятитесь, сударыня. После драки кулаками не машут.

Вытащив из-за пояса платок, Ксюша вытерла им губы и влагу, появившуюся в носу. Сухо заключила:

— Вы напрасно торжествуете раньше времени: драка еще не кончена. Я вам отомщу. Страшно отомщу. И за «Пиршество Идиотов», и за Лёвушку, и за это насилие.

Император поморщился:

— Прекратите нести околесицу. Что вы можете? Ничего. Завтра после погребения я уеду. Вас же прикажу охранять вчетверо серьезней. Вы теперь и шагу не ступите без присмотра. — Он открыл кувшин с граппой и отпил прямо через край; выдохнув, сказал: — И молитесь Бога, чтобы Он даровал вам беременность. Если будет мальчик, обещаю, что забуду навсегда вашу непочтительность. — Позвонил в колокольчик: — Позовите Берсвордт. Пусть проводит ее величество. Наше сегодняшнее общение окончено.

Утром государыне принесли известие еще об одной смерти: у себя в комнатенке, не перенеся угрызений совести от кончины мальчика, наложила на себя руки Груня Горбатка.

Пятнадцать лет спустя, Киев, 1107 год, лето

Мономах, вызволив сестру из Андреевской обители, свез ее сначала в княжеский дворец к Святополку, их двоюродному брату, и на все протесты Янки возвратить обратно возмутительницу спокойствия отвечал отказом, а когда Евпраксия за пару дней стала чувствовать

себя лучше, счел за благо переправить ее в Вышгород, к матери-княгине. Та обрадовалась немало, угощала пасынка и дочь самыми достойными яствами. Причитала при этом:

— Тэвочки моя, ты такой есть худючий и бледный! Надо больше кушать. Пить кумыс и катык, в лес ходить и на речка, лакомиться ягода, молёко и мед. Мы тебя быстро поправлять, очень опекать.

А Опракса спрашивала у брата:

— Как мне быть, Володюшко? К Янке не вернусь, это вне сомнений. Но куда податься? Ведь иные женские монастыри Киева побоятся теперь меня принять. А в другой какой-нибудь город уезжать не хочу. Тут под боком маменька, Катя, Васка. Как же я без них?

Мономах не знал, что ответить, пожимал в задумчивости плечами:

— Надо покумекать, дело непростое... Заодно решить с Катериной — ей-то оставаться в Андреевской обители тоже ведь нельзя. Злыдня Янка будет вымещать на сестре все свои обиды. В гроб загонит девку.

Евпраксия крестилась:

— Господи Иисусе! Помоги Хромоножке и не допусти измывательств над сим ангельским созданием.

— Да, она из нас самая невинная.

Не успел Владимир и дня погостить у мачехи, как из Киева прискакал нарочный: Святополк сообщал, что Переяславль осадили половцы во главе с Боняком, надо поспешать городу на выручку. Князь заторопился и велел немедленно седлать коней. Евпраксия вышла проводить брата. Он сказал на прощание:

— Вот какая мысль посетила меня внезапно. Может, бить челом Феоктисту — настоятелю Печерской обители? Он один отважится не бояться Янки. Монастырь-то его мужской, но к нему примыкает несколько женских келий — для монахинь из княжеских и боярских семей. Там-то тебе и место.

Оживившись, она кивнула:

— Было бы неплохо. Жаль, что не успеешь выступить ходатаем за меня.

— Может, и успею, Бог даст. Если что, я пришлю человека с весточкой. — И вскочил в седло.

— Благодарна тебе за все, мой спаситель и избавитель. Да хранит тебя Небо от напастей и тяжких ран! — Осенила его крестом.

— Будь здорова, милая. Помолись за меня и мое семейство.

Он действительно улучил момент среди воинских сборов в дорогу и заехал в Печерский монастырь. Феоктист был сухонький маленький старик лет примерно семидесяти, но достаточно крепкий и жизнерадостный. Пригласил Мономаха за стол, угостил сбитнем и ватрушками, а по ходу трапезы внимательно выслушал. Покачал головой сочувственно:

— Вот ведь Янка какая, право. Я и раньше знал, что она своих сестер держит в черном теле, спуску не дает за малейший проступок, но про эти зверства слыхом-то не слыхивал — чтобы запирать и держать на воде и хлебе, плоть свою истязать насильно — власяницей да плетью? Будто не христианка, а ирод. Да еще кого — сводную сестрицу, порождение собственного батюшки? Просто удивительно...

— Янка невзлюбила княгиню Анну с самого начала, не желала признавать мачехой — может, оттого что они ровесницы, может, оттого что та половчанка... Я сие не ведаю... А потом эта нелюбовь перешла на троих ее деток. В меньшей степени на покойного Ростислава Всеволодича — он и Янка общались мало. И в каких-то несуразных формах — на Опраксу и Катю Хромоножку. С тех, я думаю, пор, как они отправились в школу для девочек при Андреевском монастыре, а сестра уже была там игуменьей.

Феоктист продолжил:

— А уж как княжна вернулась из немецких земель, Янка точно с цепи сорвалась — вроде нет других

предметов для разговора, кроме как ругать Евпраксию. Уж такая она саякая, немазаная, «сука-волочайка», Господи, прости!

Мономах сказал:

— Ксюша после пострига приезжала ко мне в Переяславль — поклониться праху моей супруги. Мы подолгу толковали о ея немецком замужестве. Многие скрывает, но и то, что осмелилась мне поведать, повергает в оторопь. Этот Генрих Четвертый — просто кровопивец, воплощение самого нечистого, тать, мучитель. Измывался над бедной Опраксушкой как хотел. А она терпела, потому что любила. Потому что закон велит. Но потом сбежала и отомстила. Так за что ж ея осуждать прикажете?

Настоятель не возражал:

— Осуждать нельзя. Надо пожалеть.

— Пожалейте ж, отче. Приютите у себя в женских кельях. Обещаю, что, когда отгоню Боняка от Переяславля, я велю прислать для обители Печерской щедрые дары.

Феокист поблагодарил, но вздохнул с неким огорчением:

— Так-то оно так, от даров отказываться грех, но предвижу бучу, поднятую Янкой. Не иначе как к митрополиту пойдет.

— Я и с ним переговорю. Слава Богу, что, греком будучи, он пока не лезет в наши русские распри. И рассудит по справедливости.

— Уповаю на сё, Володимере, очень уповаю.

Князь не обманул и добился одобрения у первосвященителя на Опраксин переход в другой монастырь. Правда, его высокопреосвященство счел необходимым чинно порассуждать о латинской ереси, сбившей Адельгейду с пути истинного.

— Этот Папа Урбан... тоже самозванец, — говорил Никифор с неодобрением. — Кто таков вообще? Жалкий французишко Эд де Шатийон, в прошлом — приор

Ключи. Всколыхнул Иеропию на Крестовый поход — под предлогом борьбы за Гроб Господень в Палестине, а на самом деле вознамерился силой провести унию церквей. Но Создатель не допустил подобного богохульства, и осада Константинополя провалилась. Православие как истинное учение выстояло. Единению с католиками-христопродавцами не бывать. — А про Евпраксию сказал: — Жаль ее, конечно. Выдавать за католиков русских девушек — лишь губить их души. Лучше уж за половцев даже. Те хотя и язычники, но свои. Не вероотступники. Пусть живет в Печерской обители и замаливает грехи. Я не против.

Вот чего не успел в Киеве Владимир, так помочь бедной Хромоножке. Закрутился с подготовкой похода, выступил к Переяславлю в середине июля (плыли на нескольких ладьях — люди впереди, кони отдельно) и о Кате вспомнил уже в пути, миновав Белгород. «Тьфу ты, дьявол, — выругался про себя. — Вот ведь незадача! Пропадет бедняга в лапах этой злыдни. Ну да ничего: буду жив — вернусь, подсоблю сестренке».

Там же, тогда же

В августе Евпраксия переехала к Феоктисту. Выкатила из Вышгорода в коляске, запряженной парой лошадей, и велела обогнуть Киев с запада, по другую сторону от Днепра, дабы не столкнуться ни с кем из знакомых. Миновала сельцо Берестово, где почти век тому назад отдал Богу душу ее прадедушка — князь Владимир Святой, окрестивший Русь. Тут любили проводить лето и другие князья — дед Ярослав, дядя Святослав Ярославич и отец Всеволод Ярославич. Вспоминая их, Ксюша осенила себя крестным знаменiem, глядя на церковь Спаса, выстроенную не так давно. А от Берестова до Печерской обители — несколько шагов.

Женские кельи располагались хоть и внутри монастыря, но стояли особняком, за Успенским собором,

ближе к Троицкой надвратной церкви. Общей трапезной у монашек не было, ели каждая сама по себе. Но молились сообща, в небольшой часовне при митрополичьих палатах. И разгуливать просто так не имели права, уж не говоря о пещерах («печерах»), где могла ступить лишь нога мужчины. Разрешалось инокиням работать в саду, хлеву и на огороде, а еще, по особому дозволению митрополита, у него в библиотеке. Вот и весь «распорядок дня».

Феоктист вышел встретить прибывшую княжну, благосклонно принял ее приветствия и поднес для поцелуя свой массивный наперсный крест. Так сказал:

— Что ж, располагайся, сестра Варвара, обживайся, привыкай к нашему уставу. Будь как дома. Коль возникнут какие трудности, обращай ко мне без всякого. Помогу, чем смогу.

Ксюша поклонилась:

— Благодарствую, благодарствую, отче. Ничего мне особенного не надобно, акромья тишины да покоя, книжных чтений да истовых молитв. Да еще по праздникам повидаться с моими — маменькой, сестрой и приемной дочкой.

— Никаких препятствий чинить не станем.

Первые недели протекли в безмятежности. Просыпались затемно, умывались ледяной водой из колодца и спешили к заутрене. Пели хором. После небольшой трапезы (каша, мед, творог) помогали братьям-монахам убирать в Успенском соборе и других церквях и работали по хозяйству. В полдень обедали (овощи, похлебка, яйца, рыба или курица, иногда — телятина, запивали квасом). В общей сложности молились пять раз в сутки. Вечеряли молоком и хлебом, фруктами и ягодами. И ложились рано, заперев курятник и хлев после дойки.

Евпраксия подружилась с сестрой Манефой — чуть постарше себя, сорокалетней, из боярского рода Чуриловичей, потерявшей мужа и троих детей на пожаре. Чудом не сгорела сама (приговаривая: «Кто должен утонуть,

не горит»), а потом, от тоски и горя, подалась в монастырь к Феоктисту, дальнему родичу погибшего мужа; тот не отказал. У Манефы страшные ожоги зарубцевались, но серьезно пострадали глаза — и от пламени, и от слез, и от мук дальнейших; видела предметы как в тумане, а читать и писать не могла вовсе. Сестры подсобляли ей, как могли, ограждали от тяжелой работы, но она старалась не отставать, огорчалась, что хоть в чем-то уступает другим. Ксюша понемногу подбадривала ее:

— погоди, не спеши, не переживай. От волнений теряешь зрение больше. Время лечит. Мал-помалу очи придут в порядок.

— Совестно, Варварушка, — сетовала та. — Быть нахлебницей у моих сестер.

— Ты ж не виновата в случившемся. С каждым такое может произойти. А христианский долг сильных и здоровых — печься о недужных и страждущих. Нам такая забота только в радость.

— Можно подумать, что ты не страдаешь.

— Ну, во-первых, в последние седмицы меньше — мне в Печерской обители славно. Во-вторых, не больна глазами и ничем иным. Коли заболею — и мне помогут.

Вечерами, при зажженной свече, Евпраксия читала вслух греческие книги, взятые в митрополичьей библиотеке, а Манефа слушала, иногда просила растолковать сложные места; получившая хорошее образование в Германии, Адельгейда объясняла уверенно. Часто к их посиделкам присоединялись остальные монашки, предаваясь богословским и житейским беседам. А на Яблочный Спас Евпраксия и Манефа, отпросившись у Феоктиста, посетили Вышгород, навестили княгиню Анну и увиделись с Катей Хромоножкой и Ваской.

Дочка Паулины сильно подросла, прямо повзрослела, говорила складно и ни капельки не стеснялась. Подарила приемной матери вышитую ею собственноручно подушку — куст шиповника с красными цветами. А Опракса вручила девочке небольшое серебряное ко-

лечко с бриллиантиком, в детстве подаренное ей князем Всеволодом.

И сестре Манефе в Вышгороде очень понравилось, от души благодарила Варвару на обратном пути. Та кивала рассеянно: думала о словах, сказанных по секрету Хромоножкой.

Катя выглядела неважно: похудела, осунулась и наминала подбитую птицу. На воде и хлебе больше не сидела, ибо митрополит, от Владимира Мономаха узнавший о бесчинствах Янки, запретил той измываться над сестрами; но подспудные тычки и уколы Катя ощущала все время.

— И сестра Серафима оказалась в немилости, — говорила монашка. — Из келейниц перевели ее в скотницы — убирать навоз из свинарника. Лишь за то, что тебе сочувствовала когда-то.

— Кто ж теперь в келейницах?

— Ясно дело, кто: Харитина, Харя.

— Ух, змея подколодная! Ядом так и брызжет. Я боялась принимать от нея еду.

— Я бы тоже не приняла — слава Богу, что меня до последнего хлебом и водой Серафима снабжала.

— А когда Володюшко спас меня, визгу было много? Хромоножка замахала ладошками:

— Ой, не то слово! Серафима баяла, будто Янка бегала к самому Никифору, все желала возвратить тебя к нам. Ничего не добилась, лишь, наоборот, получила повеление выпустить меня на свободу. — Наклонилась к уху и добавила шепотом: — Сестры говорили — Янка поклялась, будто не оставит тебя в покое даже у Феоктиста.

— Ну, уж это — дудки, — рассмеялась Ксюша. — Руки короткие.

Катя продолжала вполголоса:

— Ох, не зарекайся. От нея всего можно ожидать. Пребывай начеку. И особенно — не ешь незнакомой пищи.

— Что с тобой, сестрица? Ты и в самом деле считаешь?..

Та ответила, опустив глаза:

— Береженного Господь бережет...

— Ну, не знаю, право. Ты сгущаешь краски.

— Осторожность не помешает, душенька.

Да, сестре Варваре, прежней Адельгейде, было от чего призадуматься. И особенно страхи возросли на Медовый Спас: ей прислали от келейника Феодосия приглашение появиться в настоятельских палатах.

— Для чего ж такое, не знаешь? — удивилась Ксюша, обращаясь к посыльному — мальчику-послушнику.

— Два бочонка меду прибыли в подарок из Янчина монастыря.

— Как — из Янчина? — вздрогнула Опракса.

— Из Андреевской обители, значит. Для тебя, сестра, и владыки Феоктиста.

— Господи, помилуй! — вся похолодела она. — Это ж неспроста!

— Ясно, неспроста, — подтвердил разговорчивый паренек. — А по поводу праздника.

— Да, хорош праздник, ничего не скажешь! — И помчалась предупредить келейника о возможной опасности.

Тот сидел за столом и, блаженно улыбаясь, ложкой намазывал на хлеб светлый липовый мед из глиняной плошки. Покивав, поведал:

— На бочонках имелись берестяные записочки, чей который, да они в пути-то слетели. Я уж выбрал сам, поразмыслив здраво: маленький себе взял, а большой тебе уготовал. Вишь: не вытерпел и попробовал с ходу. Знатный мед! Присоединяйся, Варварушка.

— Благодарствую, брате, только мы с утра уж с сестрицами меду наелись вдоволь. — Евпраксия стояла ни жива ни мертва и старалась не думать о зловещем. Только неожиданно попеняла: — Думаю, что Янка предопределила иначе — меньший мне, а большой игумену.

Феодосий легкомысленно отмахнулся:

— Не имеет значения. Мы и этому дару рады, ты же свой можешь разделить между сестрами. Брат Парфений донесет бочонок до келий.

— Буду очень рада. — И ушла от келейника с камнем на душе.

Прежде чем позволила остальным монашкам лакомиться медом, настояла, чтобы дали на пробу дворовой собаке. Удивленные инокини исполнили. Жучка с удовольствием слопала миску с угощением и не только не умерла, а, наоборот, сделалась живее и ласковее, чем прежде. Подождали до завтра, потом и сами угостились в охотку. Мед действительно оказался славный: в меру вязкий, не особенно приторный и безмерно душистый. Ели и нахваливали от сердца. Евпраксия думала: может, зря клепала на Янку? Нет, она, конечно же, злыдня, но ведь не убийца. И прислала меду в знак их примирения, осознав ошибки. Надо бы послать ей грамотку с благодарностью...

Не послала. Потому что в полдень зазвонили колокола на Успенском соборе, извещая мир о печальной новости. В келье у себя неожиданно-негаданно умер от внезапно случившегося удушья Феодосий, келейник.

Четырнадцать лет до этого, Верона, 1093 год, зима

Ратная Фортуна отвернулась от императора. Он попробовал захватить неприятельский замок Монтебелли к северу от Венеции, но не смог. Осадил крепость Монтевеглио и завяз на все лето, выдохся, устал, даже снарядил своего представителя в Каноссу для переговоров о мире. Герцог Вельф уходил от прямого ответа, всячески тянул время, но зато Матильда, появившись на одной из бесед, заявила в лоб: никаких мирных соглашений, мы сражаемся до победы над Генрихом, до его изгнания из Италии. Более того, распорядилась взять

парламентеров в заложники и послать государю ультиматум: или тот снимает осаду с Монтевеглио, или его доверенные лица будут казнены. Самодержец осаду снял, но войска на север не отвел, а, наоборот, бросил их на юго-восток от Пармы и пошел на приступ Каноссы.

Он, конечно же, поступил эффектно и дерзко, но при этом — совершенно недальновидно. Положение главного оплота Матильды делало замок фактически неприступным: он стоял на одноименной горе, окруженной с трех сторон хвойным лесом, подступы к нему были узкие и опасные для противника, а отвесные скалы не давали возможности зайти с тыла. Гарнизон Каноссы составлял без малого тысячу воинов, плюс еще оруженосцы и рыцари герцога — двести человек. И запасов пищи хватало надолго.

В неудачных штурмах немцы потеряли тысячи полторы пехоты, кроме того — и своих посланцев к неприятелю: мертвые тела членов мирной делегации были сброшены с крепостной стены в гущу атакующих.

Наступала серая, дождливая североитальянская осень. В стане нападающих начались болезни. Чтобы не лишиться остатков гвардии, государь отступил за реку По и решил перезимовать в Павии.

В ноябре привезли печальную новость из Германии: в Швабии был убит духовник Генриха, вдохновитель его отречения от Креста. Император с отчаяния впал в депрессию. Он велел никого к себе не пускать, пил в больших количествах граппу и молился. А в одну из особенно грустных февральских ночей 1093 года даже попытался вскрыть себе вены. Но его спасли.

Начался разброд в стане интервентов. Проклиная слабовольного самодержца, Готфрид де Бульон снял свои войска, расположенные у Мантуи, и убрался к себе в Бургундию. Этим не замедлил воспользоваться Вельф: тут же занял город и ударил по Павии. Венценосец бежал, скрывшись в одном из альпийских замков своих друзей.

Между тем Папа Урбан II, взяв себе в союзники южноитальянского герцога Рожера, выгнал сторонников Генриха из Рима. Те убрались на север и нашли пристанище в той же Вероне. К осени 1093 года на фронтах сложилось шаткое равновесие. И тогда Матильда снова вспомнила о веронской затворнице — Адельгейде-Евпраксии...

Этот год сильно отразился на Ксюше: выглядела она скверно, то и дело болела, не вставая неделями с постели. А когда вставала, то часами либо молилась либо плакала в спальнице Леопольда. Часто ходила на могилу Груни Горбатки. И имела право перемещаться по замку (а тем более, за его пределами) лишь в сопровождении многочисленной стражи во главе с фон Берсвордт. Чувствовала себя в настоящей клетке.

Незадолго до Рождества вновь свалилась с простудой и послала горничную Паулину положить свежие цветы в Лёвушкином склепе. Наказала строго:

— Осторожней будь. Лотта наверняка пошлет слезку.

— Не волнуйтесь, ваше величество, — успокоила ее служанка. — Всех ее соглядатаев знаю наперечет. Улизнуть от них — дело чести.

— Не рискуй напрасно. Нечего врага злить по пустякам.

— Отчего ж не позлить, если очень хочется? Хоть какая-то радость в жизни.

На воротах замка стража с наслаждением ее обыскала — больше из желания подержаться за женские прелести, нежели действительно из служебного рвения; ничего не нашла и незамедлительно пропустила.

Паулина шла, запахнувшись в накидку: дул пронзительный мокрый ветер, задиравший юбки и вздымавший на реке солидные волны. По брусчатке миновала Порта деи Борсари и свернула на Пьяцца делле Эрбе. А у церкви Сан-Дзено Маджоре юркнула за ограду кладбища. Тут впервые служанка оглянулась и увиде-

ла, как за ней следует мужчина в черной широкополой шляпе, вымокшем плаще и простых башмаках на свиной коже. Раньше она его не видела. Это обстоятельство удивило ее немало, но не напугало: знала, что покинет склеп через потайную дверку и другую калитку, чтоб оставить наблюдателя с носом.

У плиты Леопольда Паулина встала на колени, возложила цветы и молилась минуты четыре. А затем, сочтя поручение выполненным, устремила к черному ходу. Но не тут-то было: мужичок поджидал ее у другой калитки, раскусив уловку. Более того, подошел к служанке и произнес:

— Здравия желаю, сударыня.

Та взглянула на него снизу вверх изумрудными беспретпетными глазами и сказала нагло:

— Ну, здорово, дядя. За какой нуждой клеишься ко мне?

— Разговор имею относительно твоей госпожи.

— Ну так говори.

— Нет, не здесь, не сейчас. За тобой следят люди Берсвордт.

— Разве ты не из их числа?

— Вот еще придумала! Нешто я похож на фискала?

— Ты похож на черта — Господи, прости!

— Лучше быть похожим на черта, чем на фискала.

— А тогда кто ж тебя послал?

Закатив рукав, неизвестный показал на предплечье, где был выжжен знак — «W» и корона. Паулина ахнула:

— Герцог Вельф?

— Тс-с, ни звука. Жду тебя у Порта деи Леони, в кабачке старого Джузеппе. Знаешь?

— Нет, но разыщу.

— Ровно через четверть часа. И смотри не приведи «хвост».

— Обижаешь, дядя. Мы, как говорится, сами с усами и не пальцем деланы.

— Вот охальница! Уважаю.

Покружив по городу, по его узким улочкам, где не разглядеть сопровождение было невозможно, и наверняка убедившись, что ее не «пасут», Паулина выбралась к реке, к Понта Пьетра, а затем нашла и древние укрепления, сохранившиеся с римских времен. Тут неподалеку и стоял кабачок, на дверях которого было вырезано готическими буквами: «У Джузеппе».

Заведение оказалось полупустым: только несколько подмастерьев поздравляли товарища со счастливо сданным экзаменом на звание мастера да какой-то мрачный небритый господин подкреплялся жареной перепелкой. Человек Вельфа сидел в уголке и при появлении Паулины сделал жест рукой. Перед ним на столе возвышалось блюдо со свежей выпечкой, пара глиняных стопок и кувшинчик с вином. Усадив служанку, предложил выпить за знакомство.

— Ну, тебе известно, кто я такая. Сам наввался бы.

— Это не имеет значения. Пусть я буду Ринальдо.

— Пусть Ринальдо. Мне все одно.

Чокнувшись, осушили стопки. Закусили сдобой. С удовольствием работая челюстями, женщина спросила:

— Чем же привлекла я твое внимание, благородный синьор Ринальдо?

— Буду откровенным: не твоей красотой. Или, скажем лучше, не только ею.

— О-о, да вы обошитель, сударь! Осторожней на поворотах. Я хоть девушка и простая, но ложусь только по любви. По любви к мужчине. Иногда — к деньгам.

Человек Вельфа улыбнулся:

— Это мы запомним. А теперь ответь, Пола-Паулина, ты готова выволить свою госпожу на свободу и спасись сама? Если да, то обсудим, как проворнее совершить побег. В замке моего господина вы окажетесь у друзей. И проклятый Генрих не дотянется до вас грязными, когтистыми лапами!

Немка пододвинула чарку, итальянец ее наполнил, и она снова выпила. А потом ответила:

— Может, и готова. Но готова ли моя госпожа? Не уверена. Иногда мне кажется, что когтистые, грязные лапы императора ей по вкусу.

— Неужели?

— Да, представь себе. Любит и ненавидит одновременно. Любит свою ненависть. Ненавидит свою любовь. И стремится, и упирается. И мечтает, и опасается. И страшится, и не может без него жить.

— Заколдована, что ли?

— Да, похоже на то. Если Генрих — дьявол, может околдовать.

Полномочный из крепости Каносса проговорил:

— Но ведь мы с тобою нормальные, не заговоренные. Можем рассуждать здраво. Согласись, что бегство для Адельгейды — благо.

— Я согласна полностью. Чахнет бедная не по дням, а по часам. От бывшей красоты мало что осталось.

— Ну, вот видишь. Значит, поспособствуй вашему побегу. И получишь не только свободу вместе с госпожой, но и кучу золотых от меня.

Паулина деловито осведомилась:

— Кучу — это сколько?

— Двадцать пять монет.

— Да, немало. Неплохое приданое для такой бедной девушки, как я. — И она сама налила себе вина из кувшинчика. Выпила и брякнула: — А каков задаток?

— Десять.

— Тоже ничего. Что мне надо делать?

Итальянец пожевал булочку и спросил в свою очередь:

— Это правда, что у Лотты фон Берсвордт связь с шамбелланом замка доном Винченцо?

— И не только с ним. Ну и что с того?

— Он хранит ключи от всех подземелий. В том числе и от тайного хода. В каждой замке есть подземный

ход из донжона, чтоб спасти господ в случае опасности. Королевский замок в Вероне — не исключение.

— Да при чем тут я?

— Ты должна под видом Лотты оказаться у него в спальне и украсть ключи.

Горничная прыснула:

— Во дает! Как же это возможно? Я — под видом Лотты? Да еще в спальне! И не стыдно, Ринальдо, а? Да ни за какие коврижки. Ерунда какая!

Человек Вельфа произнес:

— Тридцать пять.

— Ты про что, вообще? — удивилась Паулина.

— Тридцать пять монет. И в задаток — пятнадцать.

У нее глаза вылезли из орбит:

— Так возьмешь и отдашь мне пятнадцать золотых?

— Несомненно. Если согласишься.

— Прямо вот сейчас?

Он откинул полу куртки, отвязал от пояса кожаный кошелек и поставил столбиком перед Паулиной:

— Здесь как раз пятнадцать.

Паулина покусала нижнюю губу. Денег хотелось очень, но опасность была слишком велика.

— Значит, говоришь, ключи в спальне?

— По моим данным, в ней.

— А вот тот, кто тебе данные приносит, сам не мог бы ключи украсть?

— К сожалению, нет. Шамбеллан никого к себе в спальню не впускает. Кроме Лотты.

— Ну, допустим... мне удастся раздобыть ее платье... я ж в него не влезу! У меня и спереди, и сзади — раза в два побольше!

— Что-нибудь придумай.

— И потом, Винченцо тут же обнаружит подмену.

— Говорят, он подслеповат.

— Не настолько же!

— Значит, надо его убрать, как пропустит в спальню.

— Что, убить? Господи, прости! Этого еще не хватало. Я такого греха на душу не возьму. Даже за две сотни золотых!

— Кто сказал — убить? Оглушить. Усыпить. В общем, вырубить.

— Прямо и не знаю... Ты меня смутил. Голова соображает с трудом.

— Значит, надо выпить.

— Тут, в кувшинчике, почти пусто.

— Мы еще закажем.

Наконец Паулина согласилась. Привязала к поясу кошелек с задатком, скушала последнюю булочку, допила вино и сказала:

— Ладно, будь что будет. За свободу можно и рискнуть головой.

— Жду тебя в следующий вторник в этом кабаке, в то же самое время. Разумеется, с ключами от подземного хода.

— Постараюсь. Ну а ты не забудь оставшиеся двадцать золотых.

— Тоже постараюсь.

Так и разбежались. По дороге в замок Паулина быстро протрезвела и сначала перепугалась, но потом пришла в чувство и рассудила: «Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Надоело томиться в замке. И смотреть на чахнущую хозяйку. Без меня она вовсе пропадет!»

На воротах стража быстро разглядела кошелек у нее на поясе и, велев развязать, с удивлением пересчитала монеты. Караульный спросил:

— Как сие понять, синьорина Шпис?

Та презрительно дернула плечом:

— Что же непонятного? Заработала.

— За какую же работу столько денег платят?

Отбирая у него кошелек, хмыкнула скабрено:

— Именно за ту, о которой ты думал.

— Дорого берешь.

— Отчего не брать, коли платят?
— Если я тебе заплачу, то с мной пойдешь?
— Ты сначала покажи золотые, а потом уж поговорим.

В общем, проскочила.

Госпоже о свидании с человеком Вельфа не рассказывала: для чего заранее ее беспокоить? Может, дельце еще не выгорит. Надо сначала все устроить...

День спустя, там же

Паулина придумала первый шаг очень быстро — сделаться своей для стольника Даниэля. Он давно поглядывал в ее сторону, и теперь служанка здраво рассудила, что пришла пора ответить на его мужские поползновения.

Стольник традиционно ведал винным погребом и запасами пива. В королевском замке Вероны эту должность занимал некто Даниэль Хауфлер, родом из Судет, предки которого завоевывали Италию под водительством германского короля, а потом осели в этих местах. Дядька был незлобивый, лет немного за сорок, вежливый, услужливый, но себе на уме; после каждой фразы повторял: «Ради Бога!» — и всегда ходил чуть-чуть под мухой.

Появление у него в кладовке горничной государыни вызвало в душе бедняги явное удовольствие. Хауфлер вскочил и галантно предложил Паулине сесть:

— Ради Бога, милая, ради Бога!

Девушка уселась и, немного смущаясь, проговорила:

— Нынче, декабря семнадцатого числа, ваши именины, господин стольник?

— Ради Бога! — покраснел от удовольствия Даниэль.

— Я зашла поздравить вас с этим праздником и преподнести сущую безделицу — вышитый платок.

— Ради Бога! — прямо-таки рассыпался в благодарностях стольник. — Мне приятно очень. — Развер-

нул узорчатую ткань и воскликнул: — Ради Бога, ради Бога! — А потом спросил: — Выпить не желаете?

— Что вы, что вы! — замахала руками юная плутовка. — Мне никак нельзя, я теперь на службе.

— Ради Бога, ради Бога, — с огорчением проворчал стольник. — А под вечер, приготовив ко сну их величество? Не зайдете на огонек? Приходите, милая, ради Бога!

— Я подумаю, — посмотрела она кокетливо из-под рыжих прямых ресниц. — А сейчас пойду. — И поспешно встала.

— Ради Бога, милая, буду ждать! — вслед за Паулиной вскочил Даниэль. — Пребываю в тайной надежде на вашу благосклонность...

— Правильно: надежда умирает последней.

Что ж, предчувствия Даниэля не обманули: с наступлением темноты бойкая служанка оказалась в обиталище Хауфлера. Первые полчаса — на скамейке напротив, после — у него на коленях, а затем и в холостяцкой постели. В общем, выпили на пару жбан вина, съели каплуна, жаренного на вертеле, и такое вытворяли на койке, что описывать пером просто неприлично.

На рассвете Шпис заспешила, стала одеваться. Опершись на локоть, стольник смотрел на округлости ее обнаженного тела и мурлыкал сладко, щурясь по-кошачьи.

Девушка спросила:

— Слушай, Дэни, можешь мне открыть одну тайну?

— Ради Бога! — отозвался стольник, громогласно зевая.

— Из какого кувшинчика пьет вино фрейлин Лотта?

— Из серебряного, червленого, с загнутыми носиком и ручкой. А тебе на что?

— Я хочу такой же.

— Ради Бога, милая, я тебе куплю.

— Точно такой же, слышишь?

— Ради Бога, милая, ради Бога.

— А когда подаришь?

— Нынче ввечеру, если явишься.

— Не забудь, или я обижусь.

— Господи, как можно! Мне уже не терпится снова оказаться в твоих объятиях!

— Ради Бога, Дэни, ради Бога! — передразнила она его, и любовники дружно рассмеялись.

Словом, день спустя Паулина заимела точную копию кувшинчика каммерфрау. А 20 декабря, ближе к ужину, покрутившись на кухне, незаметно подменила сосуды. К Лотте отправилось вино, где была подмешана доза снотворного, раздобытого горничной у придворного лекаря.

В общем, ближе к полуночи Паулина благополучно вылезла из окна своей комнаты и, рискуя свалиться с семиметровой высоты, перелезла по холодному скользкому карнизу к окнам Берсвордт. Лотта всегда спала с открытой рамой, закаляя тело, так что взлезть в ее спальню оказалось нетрудно. Судя по всему, препарат, полученный у врача, действовал отменно: женщина храпела, запрокинув голову на подушки. Пересилив в себе желание ее задушить, челядинка направилась к гардеробу и переоделась в самое просторное платье дворянки, тем не менее не сумев застегнуть его на груди и в бедрах. Но поверх накинула долгополый плащ с капюшоном. При неярком освещении и не слишком внимательном взгляде можно было сойти за любовницу дона Винченцо.

Старикан проживал на другой половине дворца, и пришлось идти бесконечными коридорами. Но охрана ни разу служанку не задержала — видимо, действительно принимая за Берсвордт. У дверей комнаты шамбеллана (а по-русски — ключника, в ведении которого находились все жилые помещения замка, в том числе донжон — башня посреди укрепления) девушка постояла несколько мгновений, а затем постучала.

— Кто там? — прозвучал голос итальянца.

— Я, Лотта, ваша честь... — подражая интонациям и акценту каммерфрау, отвечала Шпис.

— О, Святая Мадонна, неужели? Мне казалось, что вы приходите только по воскресеньям, — итальянец открыл засов.

— И ошиблись, ошиблись, дон Винченцо, — шмыгнула она внутрь.

Шамбеллану было за шестьдесят, он неважно видел и плохо слышал, а тем более в полумраке спальни, освещенной одной свечой. Горничная раздеваться не стала и накинула юбки себе на голову, обнажив аппетитный зад; престарелый любовник быстренько пристроился и, противореча возрасту, оказался достаточно крепок по мужской части. Но зато утомился быстро и, свалившись на бок, погрузился в сон, как младенец.

Паулина слезла с постели, подняла свечу и, перекрестившись, принялась за поиски. Шарила в комод, на полках и под матрацем, но ключей не нашла. Выругалась шепотом. Посмотрела за ковром, висевшем на стене. Под кроватью. Под ковром на полу. За гардинами на окне и под подоконником — тщетно. Совершенно уже отчаявшись, вдруг взглянула на вазу с цветами в углу. Вынула цветы, запустила руку внутрь, в воду, и — о, счастье! — пальцы ее наткнулись на что-то железное. Выудив, разглядела — да, она, связка! Прикрепив кольцо к поясу, Шпис вернула цветы на место, вновь накинула капюшон, завернулась в плащ и отправилась обратно на женскую половину замка. У фон Берсвордт облачилась в собственное платье и на сей раз покинула комнату каммерфрау через дверь. Не успела еще заняться бледная декабрьская заря, как служанка уже лежала в своей постели, размышляя над дальнейшими действиями — как ей незаметно пронести ключи мимо стражи. Ничего не придумала лучше, как засунуть их по одному под чулки, за подвязки, между ляжек. Ведь охрана хлопала ее по бедрам с внешней стороны, спереди и сзади, щупала за ноги не выше колен, — этим служанка и хотела воспользоваться.

Отпросилась у государыни — якобы за тем, чтобы погулять по торговой площади и купить подругам рождественские подарки. Адельгейда, вставшая с постели после простуды, но подолгу коротавшая время у камина, отпустила ее безропотно.

Караульных горничная миновала спокойно — те особо не придирались, лишь традиционно пару раз ущипнули ее за мягкое место. И почти бегом понеслась через мост, чувствуя, как тяжелые ключи неуклонно сползают из-под подвязок внутрь чулок и грозят с чулками же свалиться на землю. Только отойдя от замка на приличное расстояние, Паулина залетела в кусты и освободила свои ноги от предательского металла. Нацепила ключи на пояс, скрыла под накидкой и теперь смогла двигаться спокойно.

Первый час действительно совершала покупки — ленты, бусы, гребешки для волос и прочую мишуру, чтоб обрадовать нескольких подружек — горничных и стряпок. А часам к двум пополудни завернула в кабачок «У Джузеппе». Человек от Вельфа ждал ее в углу.

— Наконец-то, — сказал Ринальдо, облегченно вздохнув. — Я уже боялся, что не сможешь прийти.

— Вот и зря, — с гордостью заметила Паулина, откидывая плащ и показывая ключи, прикрепленные к поясу. — У меня что сказано, то и сделано. Деньги приготовил?

Тот, ни слова не говоря, вытащил кошель. Положил его на стол и проговорил:

— Здесь не двадцать, как обещал, а тридцать...

— О-о! — воскликнула она. — Неплохая замена. Наливай! Я сейчас отцеплю ключи.

— Нет, не отцепляй. — Он разлил вино в чарки.

— Как — не отцеплять? — удивилась немка. — А за что же тогда мне уплачено? Целых сорок пять в общей сложности!

Итальянец продолжил:

— Будет пятьдесят, если все получится. Обещаю.

— Погоди, погоди, растолкуй как следует. Что-нибудь случилось за эту неделю?

Порученец Вельфа озабоченно ответил:

— Да, случилось... Я столкнулся на улице с тем капралом, что стоит во главе караула замка. Он меня узнал — вспомнил по давнишней попытке вызволить Адельгейду с принцем... Мы расстались мирно, но теперь мне соваться в замок не пристало. В общем, вывести твою госпожу и тебя по подземному ходу не смогу.

— Что же будет?

— Остается одно: вы должны выйти сами. С помощью добытых ключей...

Горничной такой поворот не понравился:

— Ну уж нет! Уговора не было. И вообще — это все меняет. Нам одним не выбраться.

— Я тебя научу. Главное — успеть вовремя. В ночь на Рождество. А у выхода из туннеля, у реки Адидже, мы с моим товарищем будем поджидать вас на лодке. Там вручу тебе остальные деньги...

Опрокинув чарку, девушка поморщилась:

— Ну а если схватят? Да еще повесят? Никакого золота не захочешь... Ох, Ринальдо, Ринальдо, черт тебя дери, для чего втянул ты меня в эту катавасию? Я уже раскаялась... И потом, еще не известно, согласится ли госпожа бежать. У нее со здоровьем скверно. Нет, не знаю, приятель, что тебе ответить. Просто голова идет кругом...

Между тем у Опраксы состоялся разговор с изгнанным из Рима Папой, или, точнее, «антипапой».

Надо объяснить, кто же он такой, этот «антипапа», получивший имя Климента III.

Как мы знаем, Генрих враждовал с прежним Папой — Григорием VII. И когда Папа в очередной раз отлучил немецкого короля от церкви, тот в свою очередь объявил о низложении Папы. Более того, государь собрал германских епископов, преданных ему, и они своим решением возвели на священный престол своего

единомышленника — итальянца, архиепископа города Равенна, Виберто ди Парма, ставшего тем самым Папой Климентом III. Но сторонники Григория выступили против и везде называли его «антипапой».

Первый Итальянский поход Генриха, совершенный им за десять лет до описываемых событий, был успешным: он изгнал из Рима Папу Григория и поставил на его место «антипапу» Климента. В благодарность «антипапа» провозгласил Генриха императором Священной Римской империи. А Григорий скрылся в южно-итальянском Салерно, где и умер в скором времени.

Итальянские и французские епископы, продолжавшие борьбу с Генрихом, на своем соборе выбрали вместо Григория VII новым Папой Дезидерия Эпифани под именем Виктора III. Но и тот вскоре умер. Наконец был избран еще один — в прошлом приор города Ключи, близкий друг Григория, Эд де Шатийон, француз, ставший Папой Урбаном II. Вместе с Матильдой Тосканской, герцогом Вельфом и старшим сыном Генриха Конрадом Урбан возглавил сопротивление императору. Проиграв вторую Итальянскую кампанию, Генрих продолжал сдавать один город за другим. «Антипапу» выгнали из Рима. Он переселился в королевский замок в Вероне, где тогда и томила Адельгейда...

Встреча их произошла в канун Рождества — в декабре 1093 года.

Итальянец был худ как скелет, с глубоко посаженными глазами и слегка проваленным, точно у покойника, ртом. И ужасно гнусавил при разговоре. Он сказал государыне:

— Ваше величество, я хотел бы примирить вас с его величеством. Распри чересчур затянулись. Это наносит вред объединению государства.

Евпраксия иронично спросила:

— О каком государстве вы говорите, ваше святейшество? Из Италии Генрих практически изгнан. Он поссорился с Бургундией — Готфрид де Бульон больше не

союзник. Все альпийские земли занимают выжидательную позицию. А Германия расколота, и Саксония вне подчинения королю. Нет Священной Римской империи, это миф.

— Вот и надо заняться объединением.

— Силой ничего не добьешься. Да и сила, честно говоря, на исходе. Добровольно же в империю никого не затащишь.

«Антипапа» кивнул:

— Да, нужна объединяющая идея. И она уже вызрела в рыцарской среде — общехристианский поход за Гроб Господень. Он сплотит католиков, вовлечет греческую церковь, уния церквей совершится, мы очистим Землю обетованную от проклятых сарацин. Водрузим в Палестине Священный Крест.

Ксюша усмехнулась:

— Крест? А при чем тут Генрих? Разве вы не знаете его взглядов?

У понтифика опустились кончики губ:

— Знаю, дочь моя. Я давно уговаривал императора отказаться от его теологических заблуждений. Безусловно, римская церковь не без греха. Папа Григорий VII, Царство ему Небесное, проводил чересчур жесткую политику, чем и вызвал массу нареканий. Но нельзя бороться против базовых ценностей. Крест священен. И попытки осквернить его богомерзки.

— Вот поэтому мы с его величеством и поссорились: я же отказалась плевать на Крест.

Он вздохнул:

— Я наслышан, наслышан. Рупрехт создал Братство николаитов и втянул в него Генриха. Но сейчас Рупрехт мертв. Братство неминуемо распадется. Наша с вами задача — пожалеть императора и спасти от ереси. Вы должны, вы обязаны оказать ему помощь.

Евпраксия поежилась:

— Что-то стало холодно, — и закуталась в шерстяную шаль. — Или все еще не избавилась от просту-

ды?.. — Протянула руки к огню камина. — Рождество наступает... У меня с ним связаны страшные воспоминания. Ровно четыре года назад я была беременна. А проклятый Рупрехт и Генрих, вместе с Лоттой фон Берсвордт, начали готовить меня к посвящению в Братство.

«Антипапа» воскликнул:

— Постарайтесь забыть!

— Не могу, не получится. Жуткие видения «Пиршества Идиотов» то и дело всплывают перед глазами. Если бы не «Пиршество», Лёвушка родился бы вовремя. И ничто не угрожало бы его самочувствию. А теперь он в могиле...

— Ваше величество, не терзайте себя. Что произошло, то произошло. Надо отрешиться и простить Генриха по-христиански.

Ксюша не сдавалась:

— ...А его поступок двухлетней давности? Накануне похорон сына совершил надо мной насилие. Грубо, цинично, мерзко.

— Он исправится, мы наставим императора на путь истинный.

— ...Держит взаперти, словно узницу. Не желает видеть... Впрочем, я теперь, наверное, тоже.

— Не хотите видеть? А ведь он прибудет в Верону в нынешний четверг.

Адельгейда вздрогнула:

— Послезавтра?!

— Он приедет сюда за нами. Покидая Италию, император вознамерился возвратиться в Германию вместе — все втроем и отправимся.

Государыня продолжала сидеть в оцепенении. А потом с трудом пошевелила губами:

— Было бы неплохо... Нет, не знаю. У меня внутри какая-то пустота.

— Император своей любовью вновь пробудит в вас забытые чувства. Надо примириться. Станьте милосердной.

— Попытаюсь, отче...

Генрих прискакал в замок к вечеру 23 декабря. Накануне шел снег с дождем, и его величество, ехавший в седле, оказался в мокрой одежде, весь оковеневший и хмурый. Долго согревался в горячей ванне, ел жаркое из оленины, запивая граппой. Отоспавшись, он беседовал с «антипапой» и, повеселев от возможности заслужить расположение Евпраксии, вознамерился с ней поговорить по душам, попросить прощения и восстановить разрушенную семью. Но внезапно в зале появился шамбеллан дон Винченцо и сказал дребезжащим, старческим голосом:

— Ваше величество! Я принес вам дурную весть. Рад не огорчать перед праздником, но мой долг сообщить вам правду.

— Говори откровенно, — разрешил монарх.

— У меня исчезли ключи от донжона. В том числе и от подземного хода.

Император похолодел. Неужели императрица снова захотела бежать? Но тогда ни о каком примирении речи быть не может!

Генрих произнес:

— Кто из приближенных ее величества посещал тебя в последние дни?

Ключник удивился и покраснел:

— Ваше величество, разве это связано?..

— Признавайся, олух!

Тот замешкался, но ответил честно:

— Синьорина Лотта. Больше никого не было.

— Вызвать ее сюда!

Перепуганную фон Берсвордт привели минут через десять. Низко поклонившись, дама посмотрела на государя, и внутри нее всё оборвалось: тот кипел от ярости и в такие мгновения был готов на любую глупость.

— Где ключи, гадюка? — вырвалось у кесаря.

— Господи, какие ключи? — округлила глаза камерфрау.

— Не пытайся лгаты! Ты украла их из комнаты шамбеллана, чтобы Адельгейда убежала из замка!

Женщина упала перед ним на колени и молитвенно заломила руки:

— Я клянусь! Памятью родителей! Всем святым на свете! Никогда ничего не делала, что могло бы повредить вашему величеству. А наоборот, всячески блюла...

— Герр Винченцо! — оборвал ее самодержец. — Приходила ли эта врунья в вашу комнату на текущей неделе?

Ключник поклонился:

— Точно так, в понедельник вечером. Даже без уговору: мы обычно встречались по воскресеньям...

— Нет! — вскричала она. — В понедельник у него не была. Призываю Небо в свидетели!

— Герр Винченцо?

— В понедельник вечером. И могу признаться, ваше величество, что вела себя в любовных утехах с необыкновенной самоотдачей.

— Негодяй! — возмутилась немка. — Подлый ита-
льяшка! Как ты смеешь обманывать императора? Воз-
водить на меня напраслину? — И, вскочив с колен, бро-
силась к любовнику с кулаками. Вызванная государем
охрана разняла дерущихся с превеликим трудом.

Генрих, успокоившись, вынес приговор:

— Берсвордт отправляется в подземелье для допро-
сов с пристрастием. С применением всех наличных пы-
точных средств. Чтоб во всем призналась. И сказала точ-
но: на какое время назначался побег... Ну а ты, Винчен-
цо, обыщи дворец, комнату каммерфрау, каждый
зауток и каждую щель. Но ключи найди! А иначе вздер-
ну тебя на башне. — Помолчав, добавил: — В замке ох-
рану удвоить. Нет, утроить. Никого не впускать и не вы-
пускать. Я пойду объясняться с императрицей сам!

— Ваше величество, ваше величество, — билась
Лотта, обливаясь слезами. — Пощадите! Не убивайте! Я
умру на дыбе!..

Но монарх проследовал мимо, даже не взглянув на нее.

Евпраксия ждала супруга в некотором ознобе, мучалась, судила, беспрестанно ломая пальцы: согласиться на примирение или нет? Да, с одной стороны, государь — негодяй, эгоист, истерик, не заслуживающий прощения. Но с другой — муж ее пред Богом. Тот единственный мужчина, от которого она теряет рассудок. И которого обожает. И которому готова целовать губы, руки, ступни, лишь бы он не бросил ее и любил, как когда-то...

Что ж, пожалуй, она уступит ему. При одном условии: если он раскается. И произнесет главные слова: «Я тебя люблю», «Я себя осуждаю», «Я готов начать все сначала».

И тогда все у них наладится. И она родит ему нового ребенка. И у них в семье воцарится мир.

Дверь открылась. Адельгейда посмотрела на Генриха, на его точеное бледное лицо, черные волосы до плеч, плотно сжатые губы и презрительно сощуренные глаза, — и мгновенно поняла: примирения не будет. Он чужой и бешеный. Счастье невозможно.

— Что уставились? — бросил император с издевкой. — Думаете, я, по совету Папы, стану падать к вашим ногам? — Государь дернул правым усом. — Слишком много чести. Для такой, как вы, дряни.

— Дряни? — потрясенно проговорила Ксюша.

— Ну а кто задумал новый побег? Кто науськал Берсвордт на шамбеллана, чтоб украсть ключи? Уж небось и камушки спрятали где-нибудь в чулках?

Евпраксия совсем растерялась. Хлопая ресницами, прошептала только:

— Я не помышляла... а тем более — с Берсвордт...

— Ах, оставьте, не бормочите! — Он махнул рукой. — Ложь, одна только ложь. Вы мне отвратительны. Хуже гусеницы, забравшейся в яблоко. Как я мог любить вас — просто удивительно! — Подошел к окну

и потрогал раму. — Надо будет здесь повесить решетку, чтобы вы действительно не сбежали.

Еле преодолевая слезы, Евпраксия спросила:

— Вы намерены заточить меня до конца моих дней?

Генрих ответил:

— У меня желание только одно: бросить вас в Италии и уехать в Германию, чтобы никогда больше не встречаться.

Слезы победили, хлынули из глаз. Подавляя спазмы, шедшие из горла, Евпраксия произнесла звонко:

— Так убейте сразу! Для чего тянуть?

Он захохотал:

— Легкой смерти себе хотите? Вот уж не надейтесь. Заживо сгниёте в этих стенах. — Государь направился к выходу, но, оборотившись в дверях, бросил иронично: — И не смейте бежать. Не получится. От себя самой не сбежите. Тень моя и мое проклятие будут вас преследовать вечно. На земле и на небе. До последнего вздоха!

Дверь захлопнулась.

Ксюша села на ковер и, лишившись чувств, без движения пролежала несколько часов.

Подняла ее Паулина, усадила в кресло и, склонившись к уху, начала говорить — жарко, торопливо:

— Ваше величество, ваше величество, не страдайте так. Скоро всё устроится. В ночь на Рождество мы уйдем отсюда.

— Что? О чем ты? — безучастно пролепетала та.

— В праздники охрана не такая суровая... У меня ключи... от подземного хода... а на берегу нас подхватят на лодке люди Вельфа...

Адельгейда очнулась и уставилась на служанку в ужасе:

— Значит, это ты, а не Берсвордт?

— Ну! А то!

— Как же ты смогла? Господи Иисусе! Как хватило смелости?

— Да какая смелость, ваше величество! До сих пор поджилки трясутся. Но спастись-то как-то надо. Значит, побежим?

— Да, возможно, только не теперь. Надо подождать. Вот уедут император и Папа... соберемся с силами...

— Нет, нельзя откладывать. Люди Вельфа ждут. И рискуют не меньше нашего.

— Да, рискуют... Что же делать? Нет, не побежим. Я боюсь.

— Надо, надо взять себя в руки.

— И потом, простуда только что была. Сил не хватит.

— Вас в Каноссе вылечат.

— Паулина, как же ты смогла с ними познакомиться?

— После расскажу, не теперь. Надо подготовиться. Эта ночь решит наши жизни.

— Эта ночь! Боже мой, как страшно!

— Вы хотите остаться?

— Нет. Пожалуй, нет. Он сказал, что я ему отвратительна. Представляешь? Я, любившая его до самозабвения!.. — Государыня всхлипнула. — И ведь он когда-то любил меня... Как мы были счастливы!.. Паулина, хорошая, славная, скажи, неужели же это все ушло, навсегда исчезло? Никакой надежды? — Слезы снова брызнули из глаз Евпраксии, и она уткнулась лицом в платье горничной.

— Тихо, тихо, не плачьте, ваше величество, — провела тяжелой крестьянской ладонью по ее плечу немка. — Наша бабья доля такая. Что они вообще понимают в чувствах? Кобели проклятые. Растревожат душу, раззадорят тело — и драпанут. Мы же — мучайся, страдай...

Русская мотнула отрицательно головой:

— Нет, не побегу. Если убегу, он возненавидит меня окончательно.

— А сейчас — что, наполовину? Вы такая наивная, право.

— Он сказал страшные слова: от себя не сбежишь. Тень его и его проклятие будут меня преследовать вечно.

— Ерунда. С глаз долой — из сердца вон. А в Каноссе будем под надежной защитой.

— Нас поймают и повесят на башне.

— Наплевать. Лучше умереть сразу, чем себя похоронить заживо в этой крепости.

— Здесь, в Вероне, могила Лёвушки. Как ее оставить?

— Вы хотите присоединить к ней свою?

Адельгейда нахмурилась:

— У тебя на всё готовый ответ! Больно шустрая!.. Я должна подумать.

— Думать некогда, ваше величество. Через десять часов — Рождество.

— Хорошо, я беру час на размышления. Загляну в капеллу, помолюсь, может — исповедуюсь...

— Чтобы падре доложил о побеге императору?

— Нет, ну, вряд ли святой отец будет нарушать тайну исповеди...

— Он? Как нечего делать!

— Ты меня смущаешь... Я теряюсь в мыслях...

— Слушайте меня, и всё будет хорошо! — Паулина подумала: «Господи, помилуй! Что это нашло на меня? Управляю императрицей... Может быть, действительно — затаиться, всё оставить как есть, удовлетворившись задатком? — И сама ответила: — Нет, еще чего! Провести всю оставшуюся жизнь, отдаваясь Хауфлеру в винном подвале? Никогда. Я достойна лучшего. Да и госпоже помогу вырваться отсюда».

Там же, тогда же

После всенощной, долгой и достаточно скромной по сравнению с православной церковью, в зале для пиров на первом этаже началось рождественское застолье, от которого Адельгейда уклонилась — под предлогом

плохого самочувствия. «Антипапа» попытался ее задержать, уверяя, что она развеется, Генрих же, напротив, отпустил жену, сдержанно кивнув. И она в сопровождении стражи поднялась к себе в спальню.

На ночь Евпраксию готовили Паулина и другая служанка — Нора. Первая расчесывала государыне волосы, а вторая начала взбивать в золотой посудинке молодой творог и яичный желток, чтобы наложить получившуюся маску на щеки и лоб самодержицы. Тут-то Шпис и стукнула подругу кулаком по затылку. Нора охнула и послушно улеглась на ковер. На немой вопрос госпожи немка ответила:

— Вы оденетесь в ее платье. Мы заткнем ей рот, свяжем и уложим в вашу постель, чтобы было ясно: Нора не пособница. И ее не накажут.

Так и сделали. Ксюша постаралась надвинуть чепец, взятый у горничной, ниже на глаза, ворот платья подняла на самые щеки, хоть немного замаскировав тем самым лицо. Вышли из спальни императрицы гуськом. А начальник стражи, здорово взбодренный выпитым по поводу праздника вином, шлепнул венценосную особу пониже спины и нетрезво гаркнул:

— Нора, Нора,пусти к себе вора!

Но ее величество только фыркнула, ничего не сказав.

Очутившись в комнате Паулины, заперли засов и немного передохнули.

— Вот паскудник — напугал меня! — прыснула Евпраксия.

Паулина оскалилась:

— Знал бы этот болван, чьей священной задницы он коснулся!

И они обе покатались со смеху. Наконец служанка сказала:

— Надо двигаться. Следующий этап — самый трудный.

Девушка вспорола тюфяк и достала из дырки похищенные ключи. Прикрепила себе на пояс. А из-под кро-

вати выудила моток длинной узкой материи — судя по всему, резала крахмальные простыни, у которых потом связывала концы.

— Что, в окошко? — догадалась Опракса и с опаской проговорила: — Ох, не дай Бог, сорвемся!

— Ничего, осилим. Напрямую идти опаснее: караул торчит на каждом шагу.

— У меня голова уже кружится — от одной только мысли...

— Я полезу первой, снизу подстрахую ваше величество.

Обе накинули плащи-домино, — на дворе было очень зябко. Из раскрытой рамы сразу дунул холодный ветер и нанес целый рой снежинок. Привязали импровизированную веревку к деревянной стойке балдахина кровати, а саму кровать вплотную придвинули к подоконнику. Перебросили веревку за карниз.

— Ну, пора. С Богом! — осенила себя крестом немка.

— Пресвятая Дева Мария, помоги нам! — поддержала ее русская.

Высоко задрав плащ и юбки, Паулина перелезла через тюфяк и с немалой ловкостью начала спускаться вниз. Капюшон ее исчез в темноте двора. Евпраксия встала коленями на нижнюю раму и зажала в ладонях влажное набухшее полотно. Стала перебирать руками и скользить подошвами по узлам. Ощущала материю, трущуюся по икрам и бедрам. Ветер теребил ее плащ, залетал под платье. Капюшон упал с головы, волосы мгновенно намокли. Тающий снег стекал по лицу, у одной из туфель развязался шнурок. Но княжна упорно продолжала движение, чуточку пыхтя и сдувая воду с верхней губы. Вдруг почувствовала, что падает, — видимо, один из узлов не выдержал веса двух женщин. Сморщилась, зажмурилась, ойкнула — и свалилась прямо на голову Шпис. Но поскольку обе находились всего в полутора метрах от земли, шлепнулись не больно.

Встали на ноги, посмотрели наверх и, увидев, на какой немалой высоте находится слабо освещенное свечкой окно Паулины, внутренне поежились: если бы материя порвалась раньше, им бы не избежать синяков и ссадин.

Евпраксия нагнулась, чтобы завязать шнурок. Немка заторопила:

— Не задерживайтесь, ваше величество. Скоро смена караула. Нам нельзя нарваться на разводящих.

Пробежали, пригибаясь, до угла дворца, быстро огляделись. Часовые стояли возле входа, под козырьком, а патруль ходил от дверей дворца до ворот конюшни и обратно, греясь посередине у разложенного костра.

— Здесь нам не пройти, — обернувшись, буркнула горничная. — Надо через сад и вдоль стен капеллы. Пусть в обход, но зато будет надежнее.

Мимо сада они прошли без каких-либо осложнений, но едва не напоролись на капеллана — падре Федерико, сладостно мочившегося около ограды. Повертев бритой головой в круглой шапочке-пилеолусе, он спросил с испугом:

— Кто здесь, Пресвятая Мадонна?

Обе женщины затаили дыхание, вжавшись в каменную стену капеллы. Пастырь проворчал, стряхивая капли, а потом обсмывкая сутану:

— Показалось, видно. Ну и ночка хмурая, сохрани Господь! Пить святое вино надо меньше. — И, негромко напевая себе под нос что-то явно светское, живо потрусил обратно в часовню.

Паулина и Ксюша облегченно вздохнули. Убедившись, что рядом никого больше нет, побежали к стене донжона — башне в три этажа, старой, мрачной. Длинные крутые ступени вели к ее входу. Наверху, на узкой площадке, вспыхивали искры другого костра — у очередного охранного патруля.

— Сбоку — дверь на черную лестницу, — объяснила Паулина. — Надо подобрать к ней ключи. Если подберем, будем на коне. Если нет, то пиши пропало.

Адельгейда, переплетя пальцы и прижав их к груди, начала беззвучно читать молитвы. Снег ложился на ее капюшон.

Двигаясь вдоль холодной шершавой стены, наконец нашли искомую нишу. Немка отцепила связку от пояса, начала возиться, звякать железом о железо и ругаться вполголоса. Неожиданно замок скрипнул и отомкнулся. Изнутри пахнуло теплом и прелью.

— Есть! Готово! Проходите, ваше величество.

— Ничего не вижу... ни зги...

— Осторожнее, осторожнее, могут быть ступени...

Медленно пошли по узкому коридору. Вновь наткнулись на запертую дверь. Горничной пришлось подобрать еще один ключ. Но и этот запор был преодолен, и они оказались в более широком коридоре, не таком темном: свет проникал из щели в четверть приоткрытой двери. Из нее доносились смех и застольный разговор — кто-то от души отмечал Рождество.

— Караульное помещение, — догадалась горничная. — Надо проскочить мимо. Спуск в подвал где-то сзади, с той стороны, я об этом выведала у стольника...

Тут-то и случилось несчастье: не успели они пройти несколько шагов, как из двери вышел здоровенный охранник и, шатаясь, двинулся им навстречу. Женщины и он столкнулись нос к носу. Но поскольку мужчина был чудовищно пьян, то и вовремя оценить ситуацию ему не пришлось: немка выдернула у него из-за пояса острый нож, быстро отвела назад руку и всадила лезвие в шею — снизу вверх. Здоровяк выкатил глаза, у него изо рта хлынула кровища, и громадное тело рухнуло колодой на каменный пол.

— Боже мой, Паулина, ты его зарезала! — пятась, проговорила Ксюша.

— Выбора у меня не было. Если бы не я, он бы нас застукал. — И, схватив ее за руку, потянула прочь: — Некогда скорбеть. Надо уносить ноги!

И они поспешили дальше, побоявшись хотя бы раз обернуться и взглянуть на труп.

Коридор поворачивал все время направо, огибая донжон по внутренней дуге, и казался им бесконечным. Около очередного угла останавливались, и служанка выглядывала украдкой: что там впереди? Убедившись, что опасности нет, обе следовали дальше.

Но внезапно, посмотрев за угол, Паулина отпрянула, подняла указательный палец кверху.

— Что? — спросила шепотом Адельгейда.

— Вход в подвал. У него, под горящим факелом, караульный в латах.

— Как же поступить?

— Я пока не знаю.

— Только умоляю: больше никакой крови!

— Это как получится, ваше величество...

Отцепив от связки длинный ключ от первого входа, Шпис демонстративно бросила его на пол. Железяка громко клацнула при ударе о камень.

— Стой! Ни с места! — прозвучал голос часового. Вскоре слышались грузные шаги. Вот они уже совсем рядом... Немка выставила ногу, и охранник, естественно, о нее запнулся. Ласточкой полетел на землю, стукнулся шлемом о противоположную стену, сполз по ней и затих. Для надежности раза два Паулина шмякнула его по башке алебардой, выпущенной им из рук, а потом вздохнула:

— Кажется, готов. Нет, живой, живой, не волнуйтесь. В обмороке просто.

Взяли из держателя факел, чтобы освещать себе путь. Горничная открыла очередным ключом толстую решетку, закрывавшую путь в подвал, и довольно скоро обе стали прыгать вниз по ступенькам — скользким и зловещим.

Без перил спускаться было трудно и довольно опасно. Отблески огня выхватывали из тьмы черный сводчатый потолок, весь в паутине и плесени. Воздух, затхлый, спертый, совершенно не освежал легкие, и дышать приходилось ртом, словно рыба, выброшенная на берег.

Тут ступеньки кончились, и беглянки уткнулись в новую решетку.

— Видимо, сюда, — оценила служанка, деловито оглядывая толстые прутья. — Если тут не подземный ход, то меня родила не мама, а соседская сучка!

— Господи, прости! Что ты говоришь, пустомеля этакая? — укорила ее хозяйка.

— Ничего, ничего, мы потом отмолим наши грехи...

В то же самое время распаленный вином император вознамерился посетить спальню Адельгейды. Спрашивал у Папы:

— Муж я или не муж? Вот скажи мне, пожалуйста, смеет ли она мне отказывать?

— Нет, не смеет, — отвечал гнусавый понтифик, тоже сильно выпивший.

— И сердиться, и хандрить не имеет права. Раз она жена, то обязана безропотно принимать ласки и обиды. И в любое время быть готовой к исполнению обязанностей супруги. Верно говорю?

— Верно, верно, — подтверждал Климент.

— Значит, я иду к ней. И скажу, ты благословил.

— Я благословил. На хорошее я благословляю. Ибо сказано: плодитесь и размножайтесь. Аминь!

— Значит, я иду.

— Будьте же здоровы, ваше величество. С праздником!

— Да и вы не хворайте, ваше святейшество! Да поможет нам Небо!

Оба снова выпили напоследок, и монарх, качаясь, окруженный личными гвардейцами, двинулся наверх, на второй этаж. Стража, стоявшая у спальни государыни, бодро приветствовала его. Он коснулся позолоченной ручки, надавил, вошел. Поднял свечку над головой, подобрался к кровати, в пол-лица заглянул за полог, что свисал с балдахина. И увидел Нору — связанную, с кляпом во рту, в нижних юбках. Ничего сначала не понял, охнул, отступил, снова посветил гор-

ничной в самые глаза. Наклонился и вытащил тряпку, не дававшую говорить. Задыхаясь, спросил:

— Где она? Где императрица?

Девушка, испуганно хлопая глазами, произнесла:

— Я не знаю, ваше величество... Ничего не помню... Мы готовили госпожу ко сну... А потом я очнулась тут... в полной темноте...

— Убежала... — выпалил Генрих и заскрежетал от гнева зубами. — Точно — убежала... — Бросился к дверям, крикнул своим гвардейцам: — Всех поднять на ноги! Замок перевернуть вверх дном! Но не дать ей уйти, мерзавке! — Окончательно протрезвев, вспомнил про похищенные ключи: — Там, в донжоне! Ход подземный! Перекрыть, поймать!..

Личная охрана бросилась исполнять его приказание.

А беглянки, отперев очередную решетку, только хотели устремиться в туннель, как услышали за спиной наверху голоса и топот.

— Мы раскрыты! — прошептала Паулина, загораживая Опраксу. — Надо поднажать, оторваться!..

Подобрав юбки и плащи, бросились сломя голову. От немалой скорости пламя факела почти угасало. Воздух был по-прежнему спертый, и в глазах от удушья плавали оранжевые круги. Ноги то и дело спотыкались о стыки каменных плит. Евпраксия упала, в кровь содрав правую ладонь. Горничная помогла ей подняться, и они заспешили дальше.

Между тем гвардейцы, обнаружив в коридорах донжона труп охранника и живого, но с трудом шевелящегося оглушенного латника, поняли, что двигаются по верному следу. Начали спускаться в подвал. Расстояние между сторонами сокращалось с каждой секундой.

Топот нарастал.

— Мы пропали! — пискнула объятая страхом императрица.

— Ничего, ничего, может быть, успеем, — не теряла присутствия духа Шпис. — Я уверена: скоро будет

выход! — И, схватив госпожу за локоть, повлекла за собой.

А начальник гвардейцев, чуя близость добычи, с оптимизмом покрикивал:

— Веселей, ребята! Мы уже у них на хвосте! Император наградит нас на славу! Ух, тогда погуляем!

Факелы мелькали в туннеле. Пот стекал по лицам. Гулкие своды отражали цокот подковок на подошвах и хрипы.

Вдруг беглянки уперлись в глухую стену.

— Боже мой, тупик!

Выхода действительно не было. Адельгейда закрыла лицо руками. Паулина воскликнула:

— Погодите, ваше величество! Тут железные скобки. Да, конечно, каменный колодец выведет наружу! Лезем побыстрее! Ваше величество, вы теперь вперед!

— У меня дрожь в коленях.

— Соберитесь, пожалуйста. Мы почти у цели.

Шпис зажала зубами факельное древко. Так они и ползли: бесконечно медленно, то постанывая, то мыча, мысленно крестясь.

А гвардейцы, тоже добежав до глухой стены, разглядели скобки, ведущие в колодец.

— Я их вижу! — показал пальцем вверх начальник. — Что, попались, голубушки? Мы сейчас влезем вам под юбки! — И с игривой улыбкой стал карабкаться по железным выступам.

Евпраксия, поднимавшаяся первой, неожиданно уперлась головой в новую преграду. И обескураженно ахнула:

— Господи! Тут еще одна закрытая дверка!

Немка из-за факела, зажатого у нее во рту, что-то промычала и подсунула ей короткий, не использованный до этого ключ на связке. Государыня, вся трясаясь от страха, еле пропихнула его бородку в скважину. Повернула вокруг оси, напряглась, покряхтела от крайней натуги, выдохнула с шумом, снова напряглась,

сморщилась, оскалилась — и откинула крышку люка!..

Сразу на них посыпался дождь со снегом, грудь наполнилась свежим воздухом...

— Боже мой, свобода!

— Слава тебе, Господи!

Но служанку уже хватал лезший первым начальник гвардии. Шпис брыкнулась и ударила его по лицу — для начала подошвой, а потом догоравшим факелом. У начальника искры посыпались из глаз; он взревел, оседая на голову гвардейца, ползшего следом...

В это время у люка замелькали новые факелы.

— Вот они! Вот они! — раздались голоса мужчин.

— Западня! — еле слышно произнесла Евпраксия и упала в снег.

— Черт! Не вышло! — оценила ситуацию немка.

А мужчины, подоспевшие к ним, весело сказали:

— Эй, вы что? Это ж я — Ринальдо! А со мной — «брат Лоренцо»! Помните такого? Мы промокли до нитки, ожидаючи вас... — И друзья помогли женщинам подняться.

— Осторожнее! Там гвардейцы императора! — крикнула Опракса.

Что ж, сторонники Вельфа были вынуждены взяться за оружие. Положение их оказалось выигрышным: нападавшие поднимались в колодце по одному — и в таком же порядке, оглушенные, раненые, отправлялись обратно. Вскоре «брат Лоренцо», поразив очередного гвардейца, ловко захлопнул крышку люка, а Ринальдо удалось придавить ее крупным валуном. Не успели они отбиться от этой погони, как на берегу появились новые факелы: от дворца скакали вооруженные люди государя.

— Быстро! В лодку! — завопили посланники Вельфа. — Ваше величество, поскорее!..

«Брат Лоренцо» не раздумывая подхватил Евпраксию на руки и понесся с нею к реке. Паулина заскочила в суденышко собственными силами. Подбежавший Ри-

нальдо оттолкнул их от берега и запрыгнул сам. Приказал напарнику:

— Ты на весла, я на руль! Мы должны уйти!

Но гвардейцы уже скакали по воде, кто-то стрелял из лука, кто-то кинулся вплавь. Одному, самому ретивому, «брат Лоренцо» съездил веслом по башке. Отпихнул второго и третьего. Лодка качалась на волнах, а мужчины отражали атаки. Тут на помощь бросилась Паулина: подхватила весла, вставила в уключины, начала грести. Это и спасло беглецов — оторвавшись от последних преследователей, выплыли на середину Адидже. Быстрое течение понесло посудину на юго-восток, в сторону Адриатики.

— Кажется, спаслись! — сжала руку горничной госпожа.

— До сих пор не верю. Неужели вырвались?

Через два часа, у местечка Дзевиио, их уже поджидал вооруженный отряд во главе с самим Вельфом. Женщинам пришлось сесть в мужские седла и скакать до крепости Сан-Бонифачо. Там, уже в полной безопасности, обе отдохнули и спустя неделю в гавани Остилии сели на корабль, плывший вверх по По, в сторону Милана.

А когда императору доложили об удавшемся побеге жены, он велел привести к нему Лотту фон Берсвордт и сказал:

— Вы по-прежнему утверждаете, что ключи пропали не по вашей вине?

Та, в разорванном платье и громадных кровоподтеках после пыток, рухнула перед государем на колени и воскликнула, заломив руки:

— Пощадите, ваше величество! Это Паулина, я уверена, это Паулина обвела несчастного шамбеллана вокруг пальца!

— Да, дознание, учиненное мною и камергером, говорит, что, скорее всего, вы правы... Но мое окончательное прощение надо вам еще заработать.

Каммерфрау с готовностью ответила:

— Всё, что ни прикажете, совершу без раздумий.

— Очень хорошо. Отправляйтесь-ка по следам той, что причинила мне столько боли. И верните ее живой или мертвой, чтоб мои враги не успели воспользоваться ею в подлых целях.

— Лучше мертвой? — уточнила Лотта.

— Лучше живой. Я хотел бы сам наказать ее со всей строгостью.

— Постараюсь, ваше величество. Приложу все силы.

— Вот и приложите. Денег вам дадут. Нынче же ступайте. И желаю удачи. — А когда она ушла, Генрих распорядился: — Шамбеллана повесить. Всю мою охрану сменить. Послезавтра уезжаю отсюда. Навсегда. В Германию.

Четырнадцать лет спустя, Русь, 1107 год, осень

Мономах отогнал половцев от Переяславля, и они предложили в знак дальнейшей дружбы и мира выдать дочку хана Аепы за Владимирова сына — Юрия Долгорукого. Князь ответил согласием и послал приглашение на свадьбу многим родичам в разные города Руси, в том числе и Кате с Опраксой.

Младшую сестру, разумеется, не пустила Янка, но сама неожиданно захотела поехать — видимо, решив помириться с братом. А Варвара-Опракса поспешила за советом к игумену.

Старец выслушал ее и сказал:

— Отчего бы не съездить на самом деле? Свадьба твоего племянша — дело хорошее и богоугодное. Заодно поклонись от меня Мономаху, передашь мою благодарность за его дары Печерской обители.

— Но меня смущает другое: как смогу я сидеть за одним столом с Янкой, зная о ее мерзостях?

— Успокойся, милая. И прости ей великодушно.

У монашки потемнели глаза:

— И мое заточение простить? И кончину брата Феодосия?

Феоктист вздохнул:

— Да, конечно же, обращалась с тобою неласково... Но возможно, уже раскаялась, коли едет к Мономаху на свадьбу. А кончина келейника... кто сумел доказать, что бочонок оказался отравлен? Если был, по приказу ли игумены? По дороге — мало ли? — яд могли подсыпать...

— Для чего? Почему в один, а не в два? И как раз в малый, мне предназначавшийся?

Настоятель нетерпеливо отмахнулся:

— Ах, не станем ворошить сызнова. Не единожды пересужено, но, коль скоро убиец за руку не схвачен, зряшно обвинять никого не след. Ты ступай, сестрица, в Переяславль и попробуй вернуться к добрым, родственным отношениям с Янкой.

Та потупилась:

— Возвращаться не к чему, ибо добрых отношений между нами не было отродясь.

— Ну, тогда просто к теплым.

— Я всегда к ним стремилась. Это от нея исходила злоба.

— Попытайся по крайней мере.

— Сделаю усилие... И еще одно, ваше высокопреподобие: разрешите взять с собой сестрицу Манефу? Нам вдвоем веселее будет, а поездка поможет укрепить души и тела, вдохновит на дальнейшие работы в монастыре.

— Ничего не имею против. Отправляйтесь-ка с Богом.

Снова выпросила у матери небольшую ладейку, на которой княгиня Анна иногда совершала прогулки по Днепру. И в сопровождении челяди — трех мужчин, управлявших судном, и двух женщин-прислужниц — две монашки поплыли в град Владимира Мономаха.

Свадьбу Мономах провел с истинным размахом: в княжеском детинце-кремле всё пространство двора занимали столы для гостей помельче; а почетные люди — родичи, боярство, духовенство, дружина и старцы — размещались за столами на галерее сеней (так тогда назывался второй этаж во дворце). Янка сидела рядом с Владимиром, а Опракса с Манефой — ближе к молодым. По другую сторону восседал хан Аепа в красной остроконечной шапке с кисточкой и расшитом золотом половецком кафтане без рукавов; ложкой не пользовался — ел руками; смуглый, чернявый, круглолицый, он смотрел на всех смеющимися глазами и показывал ряд безукоризненно белых зубов.

Дочь его, невеста, урожденная Кара-Су, получившая при крещении имя Анны, очень напоминала отца — смуглая, скуластая, кареглазая; пестрое свободное платье не могло скрыть широких бедер и высокого бюста — очень развитых для ее шестнадцати лет. Сам жених, лишь на год старше, выглядел немного смущенным. Он за лето, что не виделся с Евпраксией, сильно загорел, и прыщей на его лице стало меньше, а борода и усы подросли. Сразу после свадьбы увозил новобрачную к себе в вотчину — Ростово-Суздальскую землю, выделенную ему Владимиром Мономахом.

На венчание в церковь хан Аепа, будучи язычником, не пошел, а сидел во дворе под навесом, и слуга отмахивал от него назойливых насекомых. Увидав проходившую мимо Евпраксию, обратился к ней по-кумански:

— Уж не ты ли будешь внучкой хана Осеня?

Та почтительно поклонилась:

— Ассаям алейкюм. Я Аютина дочь, это верно.

— Алейкюм ассаям. Как ее здоровье?

— Хорошо, спасибо.

— Почему ты в черном? У тебя кто-то умер?

— Муж мой прежний, король Германии, умер о прошлом годе. Но ношу черную одежду не в знак

скорби по нему, а лишь потому, что постриглась в монахини, посвятив себя Богу.

— Разве посвятить себя Богу — не радость? — удивился хан.

— Радость. Превеликое счастье.

— Почему же тогда русские монахи одеваются в траурный цвет?

— Это не траур, а цвет аскезы. Отрешения от всего мирского.

— Отрешение от мира означает смерть. Похороны заживо. Разве нельзя посвятить себя Богу, не умирая? Разве Бог не есть жизнь, не разлит повсюду?

— Жизнь полна греха, что идет не от Бога. Мы же отрекаемся не от всякого мира, но от грешного.

— Значит, пестрый цвет — это грешный цвет? Черный цвет святой? — рассмеялся Аепа. — Ладно, не хочу смущать твою душу. Поклонись от меня Аюте.

— С благодарностью поклонюсь, ваша светлость...

Стоя в храме во время венчания, все никак не могла успокоиться после разговора; вспомнила давнюю беседу с ханом Боняком — тоже на религиозные темы. Есть загадка в богоощущении каждого народа. Бог не познаваем человеческим разумом и поэтому предстает перед каждым по-своему. В этом ничего нет плохого. Плохо то, что каждый народ начинает доказывать, что его ощущение Бога — правильное, главное. И стремится высмеять, растоптать ощущения других. Или даже выжечь огнем, вырубить мечом. Не желает примириться с разными трактовками веры — например, как римская и греческая церкви. Почему человечество не может объединиться — под знамена Добра против зла? Почему народы сражаются не со злом, а с другими народами, ближними своими? И когда же наступит на земле Царство Божье?

Из раздумий ее вывела негромко, но ясно брошенная фраза:

— Сука-волочайка... Ты еще жива? Ничего, недолго тебе осталось...

Оглянулась и увидела спины Янки и сестры Харитины. Посмотрела на стоящую рядом Манефу:

— Слышала, сестрица?

Женщина кивнула:

— Да, поют прелестно...

— Нет, я не про певчих.

— Нет? А про кого?

— Как мне угрожали сейчас?

— Угрожали? Кто?

— Да вот эти, сбоку.

У Манефы вытянулось лицо:

— Ничего не слышала. Вот те крест! Что ж они ска-
зали?

Евпраксия смутилась:

— Ничего, неважно. Может, мне действительно по-
казалось...

— Ты такая бледная стала. Хочешь ли на воздух?

— Нет, не надо, я уже в порядке. У меня такое бы-
вает...

А сама подумала: «Не могло показаться. Я пока еще не сошла с ума. Янка не простила. И готовит новую гадость. Свадьба — лишь предлог, чтобы до меня дотянуться. Мне нельзя оставаться благодушной», — и перекрестилась, глядя на икону Спасителя.

А во время свадьбы, сидя на сених, Евпраксия наблюдала за Янкой: в черном клобуке и с большим крестом на груди, та смотрела невозмутимо, ела мало и пила того меньше, не вступая ни с кем в разговоры. И на сводную сестру не взглянула ни разу. Ксюша думала: «Что ж ты взъелась на меня, подлая гадюка? Вроде нам делить с тобой нечего, я монахиня другого монастыря, никому не мешаю, ни на что не притязаю — отцепись, забудь. Что тебе неймется?»

— Горько! Горько! — то и дело кричали гости.

Молодые вставали, кланялись, поцеловавшись, возвращались на место, пунцовые. Вскоре их увели в опочивальню, а застолье продолжалось далеко за полночь.

В горнице, которую отвели двум черницам, от окна сильно дуло, и Опракса, побоявшись спать на сквозняке, стала звать прислугу, но Манефа сказала:

— Так давай, сестрица, поменяемся ложами. Я люблю свежий ветерок, мне любая простуда нипочем.

— Да зачем подвергаться опасности? — возразила подруга. — Кликнем плотника, он заделает щелку.

— Ах, не суетись, все в порядке. Главное, чтоб тебе было хорошо на моей постели.

— Отчего же плохо? Очень хорошо.

— Вот и славно.

Только, помолившись, обе прилегли, как раздался стук: прибежавшая сенная девушка доложила, что «сестру Варвару просят пройти к его светлости князю Володимеру Всеволодычу в их палаты».

— Что-нибудь стряслось? — стала одеваться княжна.

— Не могу знать, нам сие не ведомо.

Брат сидел размякший от еды и выпитого вина и оглаживал бороду, глядя на Евпраксию ласково. Пригласил тоже сесть и выпить. Та проговорила:

— Ох, да мне довольно сегодня. Приняла достаточно.

— Ну, чуток, пожалуйста. Вроде для порядка.

— Ну, чуток — изволь. — И смочила губы в напитке.

Мономах сказал:

— Я позвал тебя для совета мудрого. С Янкой толковать не хочу: хоть и помирились уже, да она все одно чужая. А тебя люблю больше остальных.

— Ох, спасибо, Володюшко, за такие лестные для меня словеса.

— Лести никакой, это правда. Ну, так слушай: предлагает Аепка мне жениться на его племяннице, тоже половецкой княжне, о семнадцати с половиной лет. Мол, краса такая, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Ласковая, добрая, тихая — не в пример Кара-

Су, у которой на уме только лошадиные скачки да охота. Вот не знаю, как быть.

Ксюша улыбнулась:

— Почему бы нет? Я не вижу препятствий. А тебя-то самого что смущает?

Он ответил неторопливо:

— Ну, во-первых, конечно, вспоминаю все время Гиту Гарольдовну, Царство ей Небесное! Боле тридцати лет, как-никак, прожили душа в душу. И хоть красотой не блистала, но была первым другом и помощницей, неременной советчицей моею. Меньше чем полгода прошло от ее кончины, траур до весны носить буду... Во-вторых, больно молода эта половчанка. Внучка моя старшая — дочь Мстислава Владимировича, что сидит в Новгороде Великом, — ей ровесница! Представляешь? Бабушка и внучка одного возраста — смех один.

Пригубив еще раз вина, Ксюша согласилась:

— Разумею тебя прекрасно. И к невестке-покойнице относилась по-родственному тепло, ты ведь знаешь. Но коль скоро Бог ее забрал, мы должны учиться жить без Гитушки. Траур по весне кончится. А потом? Непривычен ты бобылем-то ходить. Дети повзрослели, разлетелись из гнезда кто куда. Без семьи тебе будет тяжело. Войны да суды занимают много времени, но не всё. Одному в холодной постели-то очень грустно, можешь мне поверить.

Мономах молча слушал. А Опракса продолжила:

— Ну а то, что невеста молода, — это хорошо. Сможешь воспитать в своем вкусе. Настоящей русской княгинюшкой. И никто сказать злого слова про нею не посмеет. Выбор князя — закон.

Он отпил из кубка. И в раздумье проговорил:

— Может быть, и так. Не жениться-то не смогу, это верно. Без супруги мне тягостно, мысли набекрень, всё из рук валится порою. Худо, худо! Но немолодые-то бабы замужем давно. Или вдовы. С выводком детей. Ко-

ли полюбил бы — это дело другое. А уж ежели по расчету, лучше молодую, невинную. С чистого листа!

— Видишь, ты и сам понимаешь.

— Понимать понимаю, а в душе как-то боязно. Я один домашние вопросы-то решать не привык, слушал мнение Гиты. А теперь вот тебя призвал... Благодарен вельми за совет да за ласку.

— Да какие же благодарности, братец дорогой? Мы с тобой опора друг другу. То, как ты меня от голодной смерти спас, разве ж я забуду? Жаль, что с Катей Хромоножкой не вышло.

— Ничего, мы еще ее отобьем у Янки!..

Уходила от Мономаха в добром настроении. Потому что жизнь продолжалась. Пусть сама Опракса несчастлива, но зато готова приносить пользу близким. И молиться за всех за них. Приходить вовремя на помощь. Быть советчиком и другом. И тогда никакие Янкины козни не страшны ничуть!

Евпраксия, зайдя в их с Манефой горницу, чуть не поскользнулась: кожаные подошвы туфель оказались на чем-то мокром.

— Господи Иисусе! — прошептала она. — Ты не спишь, сестра? — И в ответ услышала какие-то хрипы. Приоткрыла двери, крикнула: — Огня! Огня!

Прибежала сенная девушка со свечой. В отблесках пламени им предстала ужасающая картина: на полу в луже крови сидит Манефа и, закрыв лицо, тихо стонет.

— Что с тобой, голубушка? — бросилась к ней Опракса.

Отняла ее окровавленные руки от лица и отпрянула в страхе: у Манефы не было глаз! А на месте них зияли две сочащиеся кровавые дырки.

Девушка от испуга выронила свечу, выскочила из горницы с дикими воплями. Набежал народ, принесли еще свечи. Подняли несчастную, повели умыться и перевязать раны. Выяснилось вот что: в темноте кто-то влез в окно и, набросившись на Манефу, со словами:

«Вот тебе, сука-волочайка!» — полоснул острым по очам. Больше она ничего не помнила.

Евпраксия обо всем догадалась. Села в уголке и заплакала. Причитала жалобно: «Господи, за что? От меня одни несчастья кругом... Как мне жить при сём?..»

Появился Мономах — возбужденный, взволнованный и трезвый как стеклышко. Выслушав доклады, сказал:

— До утра никого из дворца не выпускать. Учиним дознание. А коль скоро обнаружим виновного, беспримерно накажем.

Но, конечно, никого не нашли. Ни один человек ни в чем не признался, и никто ничего не видел, не слышал. С Янкой попытался говорить сам Владимир, но она пришла в такое негодование, что ему и вправду возразить было нечего.

— Как ты смеешь, брат, — кипятилась игуменья, — задавать мне вопросы дерзкие? Я всю ночь спала в предоставленной мне одрине — это подтвердит кто угодно, и сестра Харитина пребывала в соседней горнице. Ни один из моих холопов не отлучался, говорю ответственно. И какая связь между мной и вот этой падалью, сукой-волочайкой? Знать ее не знаю, да и знать не хочу. Может быть, сама и выколола глаза Манефе? А теперь хочет заслониться другими? От такой подлой твари можно ожидать что угодно. — Помолчав, добавила: — Если б знала, что такое случится, ни за что бы сюда не тронулась, а сидела б дома. Ведь хотела, как лучше, — помириться с братом, побывать на свадьбе племянника. А меня вновь втянули в какие-то дрязги. Уезжаю немедленно. И ноги моей больше никогда у тебя не будет!

Князь вздохнул:

— Что ж, прости, коли что не так. И не поминай лихом.

— А вот этого, брате, обещать не сумею: тот, кто водится с непотребными грешниками, должен знать, что прощения ему нет и возмездие придет рано или поздно.

Мономах нахмурился:

— Не стращай, сестрица. Мы, поди, не грешнее тебя.

Янка рассмеялась:

— Надо же, святые какие! Ну, живите как знаете. И Господь вам судья!

— Он судья для всех. И кому-то очень худо придется на Его суде.

— Вот уж верно сказано.

Сестры Варвара и Манефа пробыли в Переяславле еще с неделю — подлечили ослепленную, успокоили, как могли, поддержали ласковыми словами. А потом Владимир посадил обеих на ладью, обнял с нежностью, пожелал благополучного возвращения в Киев.

Ксюша пошутила невесело:

— Ну, коль скоро нет с нами той, от кого всё зло, думаю, плохого не будет.

Брат посетовал:

— Горько видеть вашу вражду — глупую, никчемную.

— Разве ж я виновата в ней?

— Нет, не ты, это ясно. Будем же молиться, дабы Бог образумил Янку.

Евпраксия кивнула:

— Что еще остается делать!

Тринадцать лет до этого, Италия, 1094 год, зима

Лотта фон Берсвордт не нашла ничего лучшего, как открыто приехать в замок Каносса и предстать перед маркграфиней Матильдой. Так обосновала свое решение:

— Генрих заподозрил меня в измене — будто бы похитила ключи для побега. И велел пытать, чтобы я созналась. И меня едва не лишили жизни на дыбе. Но потом государь помиловал и велел пробраться сюда, чтобы выкрасть или просто убить Адельгейду. Только делать это — никакого желания. Попытки императору не

прошу. Я хотела бы поступить к вам на службу: вместе одолеем его проворней.

Итальянка разглядывала немку: стройная, холодная, властная; светлые волосы собраны под шапочкой, водянисто-голубые глаза светятся недобро, рот похож на щелку. Нет, она себе на уме. И скорее всего, прикидывается союзницей, будучи на самом деле преданной самодержцу. Но с другой стороны, прогонять ее тоже чрезвычайно опасно. Лучше держать под боком, но контролировать. Станет честно на нас работать — доверять больше. А начнет двойную игру — покарать нещадно. Видимо, такой вариант — оптимальный. И произнесла:

— Хорошо, оставайтесь. Будете в подчинении у Конрада.

Лотта удивилась:

— Но я думала, что опять стану каммерфрау ее величества...

— Нет необходимости — у императрицы компаньонов достаточно. А вот Конраду нужны люди — для посольства на юг.

— Вы меня отсылаете к норманнам?

— Да, в числе полномочной делегации. Мы хотим объединить всю страну, сделав Конрада королем Италии. И для этого — женить на княжне Констанции, дочери князя Рожера, что владеет большей частью Апеннинского полуострова. В случае удачи, станете компаньонкой юной королевы.

Опустив глаза, чтобы маркграфиня не прочла в них негодование, Берсвордт поклонилась:

— Я готова к этому поручению, ваша светлость.

— Вот и замечательно. Можете пока отдохнуть, а в начале марта — в дорогу.

Та подумала: «О, до марта я еще успею навредить Адельгейде!»

А Матильда мысленно ей ответила: «Мы до марта еще посмотрим, искренна ли ты в дружеских намерениях к нашим предприятиям!»

Евпраксия тем временем постепенно привыкала к Каноссе. В первое время радовалась успешному бегству, с удовольствием спускалась из комнат второго этажа дворца к общему обеденному столу, ела с аппетитом и смеялась шуткам герцога Вельфа. Буйная природа Эмилии, где стоял замок, зимний воздух гор, тишина, благодать — все это способствовало улучшению настроения. Но потом она стала понимать, что попала в новый плен — пусть не столь жестокий и губительный, как в Вероне, а, наоборот, с добрым отношением окружающих, с полной, бесконтрольной свободой... лишь на территории крепости. Ни уйти, ни уехать государыня не могла. И куда податься? Вдруг лазутчики императора украдут, убьют? А довольно частые беседы с Матильдой («Надо вывести Генриха на чистую воду, рассказать Европе о его еретичестве и злодействах») оставляли горький осадок. Страхи и сомнения снова переполнили душу. Верно ли она поступила, убежав — и тем самым вооружив неприятелей самодержца? Нет, конечно, сидеть у него взаперти тоже было жутко и смертельно опасно (ведь имелось же подозрение, что императрица Берта, первая супруга, умерла от отравы!). Но вполне возможно, что монарх гнев сменил бы на милость, как бывало уже нередко, и у них все еще бы наладилось? Нет, смешно и предполагать... он неисправим... и Опраксу ждали бы новые обиды... Значит, бегство было необходимо. Хорошо. Но теперь надо ли вредить государю и растаптывать его окончательно? По-христиански ли это?

И тогда она решила посоветоваться со своей духовной наставницей — матерью Адельгейдой, настоятельницей монастыря в Кведлинбурге, где княжна жила и училась после своего приезда из Киева. Ведь, помимо прочего, аббатиса была еще и родной сестрой Генриха IV...

Вот какое письмо у беглянки-императрицы вышло в результате:

«Ваше высокопреподобие!

Обращаюсь к Вам как к единственному и, надеюсь, верному другу во всей Германии. Ибо положение мое незавидно, я не знаю, что делать, и взываю о помощи и поддержке.

К данному письму прилагаю обращение мое к германским епископам, признающим Папу Урбана II и не признающим «антипапу» Климента III; Вы поймете из этого обращения, как несправедливо и подло обращался со мной Его Величество, как заставил меня согрешить при вступлении в его «Братство», как я отказалась отречься от Креста и последствия всего этого. Видит Бог, я любила и люблю супруга и старалась быть ему преданной женой. Не моя вина, что священный брак наш не выдержал испытания — временем и Истинной Верой.

Не снеся унижений, наносимых мне императором постоянно, я бежала из королевского замка Вероны. Люди герцога Вельфа IV Швабского помогли это сделать, и теперь я живу в Каноссе, в замке маркграфини Тосканской. Здесь находится и мой пасынок (ваш племянник) Конрад, тоже, как Вы знаете, не желающий подчиняться странным и преступным приказам своего родителя. Скоро он поедет в Милан и, по доброму согласию с гражданами Ломбардии, будет провозглашен королем Италии, независимым от Генриха. Ходят слухи, что и младший сын Его Величества, проживающий в Майнце, сильно с ним повздорил; правда ли — не ведаю.

В обращении к германским епископам я прошу их о снисхождении, отпущении мне моих вынужденных грехов и молю покорно походатайствовать перед Папой Римским о немедленном расторжении данными ему полномочиями брака нашего с императором. Честно Вам признаюсь: я писала это послание по немалому настоянию маркграфини Матильды. Отказать ей нельзя, ибо сделала она для меня свыше всякой меры, но душа моя неспокойна. Надо ли действительно зате-

вать развод? Ведь в его процессе неизбежно всплывут детали, напрямую порочащие репутацию самодержца. И хотя вина его в моей участи велика и неоспорима, не уверена, стоит ли ее предавать огласке. Честь и слава правящего дома Германии для меня священны.

Именно поэтому отдаюсь Вашей воле. Вы — сестра Генриха, лучше знаете ситуацию в королевстве, настроения и соотношения сил и ко мне всегда относились с добротой и участием. Как Вы пожелаете, так оно и будет. Можете уничтожить мое письмо и послание к германским епископам. Можете вручить его им — в этом случае я готова мужественно пройти через все разбирательства и дознания, лишь бы поскорее освободиться от поруганных императором брачных уз. Делайте как желаете.

Да хранит Вас Господь наш Иисус Христос!

С жаром целую руки Ваши.

Ваша несчастная духовная дочь

Адельгейда.

Писано в замке Каносса, что в Эмилии-Романье,

Месяца февраля 19 дня 1094 года от Р. Х.».

Запечатав письмо и послание германским епископам, Ксюша вручила свитки герцогу Вельфу, лично направлявшемуся в Швабию, и потом даже успокоилась, вроде сбросила с души камень. Думала наивно: «Как Господь рассудит, как решит аббатиса, так затем и сделаю. Мучиться заранее глупо». Между тем спектакль под названием «Императрица обвиняет императора» был уже расписан не Господом, но людьми, как по нотам...

Две недели спустя, Швабия, 1094 год, весна

Монастырь Святого Сервация находился в Кведлинбурге на горе Шлоссберг. Был он основан около века до тех событий, о которых идет речь, и задумывался сразу как приют светских дам — воспитательное учреждение

для девочек, дочерей высшего дворянства. Распорядок дня отличался примерной суровостью — впрочем, не настолько, чтобы делать из будущих принцесс, маркграфинь и герцогинь настоящих монашек. Но образование по тем временам давал превосходное.

Мать Адельгейда возглавляла его более семнадцати лет и вела дела очень мудро, понимая психологию как преподавательниц, так и юных высокопоставленных особ — в меру строго и одновременно по-матерински. Никогда не имела никаких нареканий от родителей девочек. И от младшего брата, императора, отличалась уравновешенностью характера, терпеливостью и терпимостью. Впрочем, не была слишком аскетична — в праздники не брезговала жирной едой и достаточно крепкими напитками.

Прибывшего герцога Вельфа приняла с радушием, угостила знатно и внимательно ознакомилась с привезенными грамотами. Много раз восклицала по ходу чтения: «О, Святая Дева!» — а потом подняла глаза на супруга маркграфини Матильды: дескать, неужели всё это правда?

— Истинная правда, ваше высокопреподобие, — подтвердил Вельф. — Даже еще не вся. Потому что ее величество из смущения опустили некоторые, самые пикантные из подробностей.

— Господи, прости! — покачала головой аббатиса. — Братец мой — отпетый разбойник. До меня доходили слухи о его еретичестве, связях с этим мерзавцем Рупрехтом Бамбергским. Но такое... Маленькая русская — чистый ангел. Я всегда восхищалась ею — скромностью, природным умом, искренностью веры. И старалась не пользоваться ее доверчивостью, зачастую граничащую с наивом... А мой брат грубо надругался. Поломал ей судьбу. Нет ему прощения.

Герцог уточнил:

— Значит, вы согласны передать послание на церковный собор?

— Без каких-либо колебаний. И сама составлю ходайство, где со всей теплотой опишу высокие нравственные качества государыни. Правда — на ее стороне.

— Не страшитесь ли гнева Генриха? — не без колкости спросил визитер.

Настоятельница вздохнула:

— Мне бояться поздно. Я уже у такой черты, за которой боятся только Бога.

Большого желать было нечего. Вельф собственно-ручно отвез обращение Евпраксии и письмо аббатисы в швабский город Констанцу, что находится на южной оконечности Боденского озера (ныне — на границе Швейцарии). Там в апреле состоялся всегерманский церковный собор. И епископы наряду с другими докладами зачитали пергамент императрицы. Дали слово Вельфу. Он, поднявшись, сказал:

— Уважаемые пастыри, уважаемые святые отцы! Я зываю не к разуму вашему, но к сердцам. Ибо что нам говорит разум? Генрих — еретик и хриstopродавец, вздорный человек и коварный политик; но, с другой стороны, он монарх, сражающийся за единство империи, и ниспровергать его не пристало. Так нам говорит разум. Но попробуем задаться простым вопросом: можно ли творить добрые дела грязными руками? Если император продал душу лукавому, отвергает Крест, не считается с христианскими ценностями, как ему доверить христианскую власть? Что построит он, кроме царства тьмы, насилия и разврата? Цель не может оправдывать средства, это всем известно. И теперь посмотрим на всё под иным углом. Брак с императрицей, освященный Богом. Искренность желаний государыни — быть супругу преданной, любящей женой. Чем ответил он? «Пиршеством Идиотов», поруганием беременной Адельгейды, совращением собственного сына. Есть ли этому объяснение? Есть одно — дьявольский искуc и попрание нашей общей морали. Это же подтверждает и сестра императора, преподобная аббатиса. Мнение ее — не последнее,

между прочим. Призываю вас поступить по справедливости и призвать Папу Урбана отрешить Генриха Четвертого от престола, отлучить от церкви и расторгнуть брак с киевской княжной. Да свершится благое дело!

Большинство епископов поддержали герцога, лишь один из них усомнился в нужности призыва к Папе Римскому; ведь провозгласил Генриха императором «антипапа» Климент III, значит, провозглашение незаконно, Генрих не император, отрешать его нечего; а венчали императора с императрицей отлученные от церкви архиепископы Гартвиг и Герман, стало быть, и брак не действителен, значит, и не нуждается в расторжении. Но в такую казуистику углубляться не стали. Общее воззвание к Папе было сочинено и одобрено. Воодушевленный Вельф взялся доставить его в Италию и вручить Папе Урбану II.

В то же самое время, Каносса, 1094 год, весна

До начала марта Берсвордт совершенно не проявляла злых намерений относительно государыни: обе они почти не общались, сухо раскланиваясь при встречах. Ксюша всегда ходила в окружении своих камеристок и каммерфрау, только изредка совершая конные прогулки с Конрадом. Подступиться к ней Лотта не могла.

Между тем время поджимало: на 15 марта был назначен отъезд посольства в Неаполь ко двору князя Рожера. (Поясним в скобках: Юг Италии много лет находился в руках норманнов, выходцев из стран Скандинавии, христиан, признающих Папу Римского. Много раз они воевали с предками Генриха IV и самим Генрихом, но ни те ни другие победить не смогли, так что Апеннинский полуостров — «сапог» — оставался разделенным на две части.) Немка понимала, что должна действовать стремительно, и не знала как. Выкрасть императрицу не представлялось возможным — это ясно.

Да посланница государя и не собиралась оставлять Адельгейду в живых. Смерть — одно решение. Но каким образом? К кухне доступа она не имела, так что отравление приходилось отбросить. Нападение в коридоре с кинжалом в руке тоже немыслимо — слишком много защитников и защитниц. В комнату к Евпраксии тайно не проникнуть — поместили беглянку в угловую башню, совершенно недоступную с внешней стороны... Положение шпионки было практически безнадежным.

Тем не менее выход она придумала.

Сделала вид, что увлечена конными прогулками, и в числе прочих составляла свиту Конраду на его верховых поездках с мачехой. И тем самым превратилась в своего человека на дворцовой конюшне. А 14 марта, накануне своего отъезда на юг, заглянула в стойло — якобы для того, чтобы осмотреть предназначенного ей рысака; незаметно завернув к лошади Адельгейды, выплеснула в торбу с овсом специально приготовленное снадобье медленного действия... И благополучно оставила место преступления.

Делегация отбыла из замка утром 15 марта. Лотта горячо распрощалась с Конрадом и Матильдой, и никто ничего дурного не заподозрил. «Может, я напрасно относилась к ней с подозрением? — думала маркиграфиня. — Ну да ладно. Если миссия к князю Рожеру будет успешна и фон Берсвордт проявит себя с положительной стороны, можно будет взять ее в свое окружение. Женщина она неглупая и наверняка пригодится».

«Слава Богу, что она уезжает, — рассуждала при этом Ксюша. — Я ее боюсь. Не желаю видеть».

А сама дворянка внутренне посмеивалась: кто теперь подумает о ней плохо, если что случится?

Утром 17 марта Евпраксия и Конрад вновь отправились на прогулку. Пригревало солнце, зеленела листва, птицы распевали на ветках, воздух был прозрачен и свеж. Ясное голубое небо радовало глаз. Горные тропинки, по которым они спускались к реке, совершенно

уже сухие, не давали оснований для опасений, что копыта могут скользить. А река бурлила, и вода, разбиваясь о прибрежные камни, брызгала им в лицо. Мачеха и пасынок хохотали от счастья.

Им обоим в ту пору исполнилось двадцать пять. Но она выглядела лучше — худощавая, порывистая, улыбчивая; он же, грузный, неповоротливый, говорил и действовал не спеша, а ходил с одышкой. Но во время прогулок преображался, отпускал неуклюжие комплименты и пытался даже шутить. На обратном пути Адельгейда сказала:

— Вот вернется посольство с согласием князя Рожера на ваш брак с его дочерью — и прогулкам этим придет конец.

— Ну, до свадьбы еще далеко, — утешительно отзывался Конрад. — Если сговорятся, то ее назначат на будущую весну. Значит, сможем нагуляться как следует.

— Я ведь не о свадьбе одной. В мае состоится ваша коронация, вы поселитесь в Павии... Ну а я — неизвестно где.

— Тоже в Павии. Неужели не составите мне компанию?

— Вы меня приглашаете?

— Ну, само собой. Мой дом — это ваш дом.

Государыня залилась румянцем:

— Конрад, я сгораю от счастья! У меня нет слов...

Принц ответил ласково:

— Вы же знаете, ваше величество, как я вас люблю... по-сыновьи, по-братски... И не вы, но я сгораю от счастья, что смогу и впредь оказывать вам знаки внимания... совершенно невинные и безгрешные, лишь от чистого сердца.

— Я теперь спокойна за свое будущее. Ну, по крайней мере, на этот год, до приезда княжны Констанции — вашей невесты.

— Что изменит Констанция? Ничего ровно. У меня нет сомнений, что она будет уважать вас как мачеху.

— Дал бы Бог, дал бы Бог... — Евпраксия вздрогнула: — Вы заметили или показалось?

Немец удивился:

— Я не понимаю...

— Лошадь подо мной странная какая-то. Вроде припадает на правую заднюю ногу. Ой! Вот видите?

— Да, слегка качнулась. Пустяки, бывает.

— Нет, смотрите, смотрите...

Оба поднимались по довольно крутой тропинке — несколько человек охраны и свиты спереди и сзади. А кобыла под государыней то и дело дергалась и мотала головой — вроде в недовольстве. Конрад произнес:

— Вот сейчас поднимемся на площадку, и велю заменить вам конягу.

— Господи, да она сползает... Помогите, помогите! Дайте руку! — Но схватиться, к сожалению, не успела и, качаясь в седле вместе с потерявшей равновесие лошадью, стала падать в пропасть.

Кто-то из придворных бросился за ней, ухватил за плащ, но свалился тоже. Впрочем, этот жест все-таки помог Евпраксии полететь отдельно от туши животного и смягчить удар. Нет, сознание все-таки она потеряла, вывихнула руку и поранила голень; но осталась жива, не сломав ни одну из костей. Синяками и ссадинами отделался и спаситель-придворный. Их обоих вынесли на тропу, привели Адельгейду в чувство. Конрад охал, ахал, а потом, видя, что она вне опасности, даже прослезился. Причитал:

— Слава Богу! Я едва не умер от страха за вашу жизнь.

Государыня слабо улыбнулась:

— Я сама от страха чуть не умерла...

— Провидение вас спасло.

— Не иначе... Да, со мной такое впервые — чтобы лошадь потеряла сознание!..

— Не исключено, чем-то заболела... или отравилась...

— Или отравили...

— Ой, не думаю. Вечно вам мерещатся какие-то ужасы.

— Поживите-ка с вашим папочкой — и не то подумаете еще!

Принц внезапно обиделся:

— А при чем тут он? Вот уж никакой связи!

— Как, а Берсвордт?

— Но она уехала же третьего дня!

— Отравила лошадь, а потом благополучно унесла ноги.

— Не придумывайте, пожалуйста! Я, вы знаете, не люблю ни отца, ни Лотту. Но не думаю, что они настолько хитры.

— И напрасно.

Впрочем, разумеется, никаких улик обнаружить не удалось: вызванный по приказу Матильды лейб-медик, препарировав тело умершей кобылы, не нашел следов яда. Конрад был уверен в невинности каммерфрау, Ксюша говорила, что чувствует — это дело ее рук, а Матильда занимала промежуточную позицию — обвинять не имела оснований, но и подозрений не отвергала; говорила, что с Лоттой ухо надо держать востро.

Травмы у Опраксы быстро сошли на нет. А вернувшийся из Швабии Вельф сразу перевел их внимание на другое.

Два месяца спустя, Италия, 1094 год, весна

Адельгейда, узнав, что собор немецких епископов рассмотрел ее жалобу и составил воззвание к Папе Римскому, не обрадовалась, а, наоборот, разрыдалась. Потому что в душе надеялась: либо аббатиса не захочет разоблачения брата, либо германское духовенство не сочтет мотивы ее протеста справедливыми, вескими и скандал как-то рассосется, а саму императрицу оста-

вят в покое. Но теперь ей грозил публичный допрос на каком-нибудь из новых соборов. Как же вынести его? Как затем пережить последующий позор?

Государыня стенала, жалуясь служанке:

— Паулина, ты знаешь, я в отчаянии. У меня ум заходит за разум. На Руси говорят: «Из огня да в полымя!» Или же: «Как кур во щи!» Не пойти на допрос не посмею — ибо оскорблю тем самым маркграфиню Матильду и герцога Вельфа. И пойти не могу — ибо тем разоблачу Генриха. Он, конечно же, негодяй, только разве моя вина, что люблю негодяя? Понимаю разумом: надо вырвать его из сердца, а душа болит, ноет, плачет, потому что продолжает любить... Тот, кто любит, прощает...

— Вы готовы ему простить все его паскудства? — спрашивала Шпис.

— Нет, конечно. То есть я не знаю. Не простить, но и не вредить. Пусть живет, как может. Как рассудит Бог. Без моих свидетельств.

Немка говорила:

— А почему вы знаете волю Божью? Может, Он и выбрал вас в качестве орудия? Через ваши свидетельства хочет отстранить Генриха от власти?

— Ты считаешь, я должна выступить?

— Я считаю, что вам следует полностью отдаться воле Провидения. Как решит Создатель, так оно и выйдет. Если сложится, значит, сложится. Если же Господь не желает удаления его величества от дел, то и не допустит ваших выступлений.

Евпраксия вздыхала:

— Ты такая умная, Паулина, что не мне, а тебе надлежало бы сделаться императрицей.

Та смеялась:

— Скажете тоже, ваше величество! Я ведь только так, по-житейски болтаю. Вроде со стороны смотрю. Чисто отвлеченно. А случись самой принимать решения, от которых зависели бы судьбы людей, забоялась бы сразу. Никакой власти не захочешь, никаких бо-

гатств. Мне бы что? Просто выйти замуж удачно, чтобы жить безбедно, нарожать детишек — мал мала меньше — только и всего. А высокие материи не по мне. Голову сломаешь.

— Вот и у меня голова пухнет от забот.

Вскоре замок в Каноссе удостоил своим визитом Урбан II. Ехал он из Рима в Милан, где ему предстояло короновать Конрада. Папа был маленький и пухленький, бегал на коротких ногах и размахивал детскими ладошками. Вместе с тем черная щетина густо перла из его подбородка, заставляя понтифика бриться два раза в день. Маркграфиня Тосканская рассказала ему об участии убежавшей императрицы и затем представила саму государыню. Адельгейда была одета в темные тона, шла, потупив взор, и, приблизившись к первосвященнику, встала перед ним на колени. Тот, растрогавшись, протянул ей руку для поцелуя. Облаченный в белое, сидя в высоком кресле, Папа ногами не доставал до земли и поэтому выглядел несколько комично.

— Вот ходатайство германских епископов. — Маркграфиня Матильда протянула ему трубочку пергамента. — А ее величество выражает готовность выступить на церковном соборе и ответить на любые вопросы.

Евпраксия молча кивнула.

— Да, конечно же, — отозвался Урбан, — это очень ценно. Нам необходимо покончить с ересью. Пусть расскажет нам об их сборищах, об обряде посвящения — как он, я забыл, у них называется?

— «Пиршество Идиотов», — подсказала Матильда.

— Надо же такое придумать! В чем он заключается? Вроде «черной мессы»?

— Хуже, ваше святейшество, — покраснела Ксюша. — Вроде Содомы и Гоморры, вакханалия и разврат.

— О, Святая Мадонна! — осенил себя крестом Папа. — А скажите, ваше величество, правда ли, что Генрих предлагал Конраду взять вас как мужчину?

— К сожалению, правда. Конрад не посмел, и они поссорились.

— Значит, слухи безосновательны? Между вами и пасынком нет любовной связи?

— О, как можно! Мыслимо ли подобное? — У Опраксы краска залила даже шею.

— Счел необходимым спросить. — Папа развел короткими ручками. — Извините, если вдруг невольно обидел. Но предупреждаю, ваше величество: на соборе, при разбирательстве, мне придется задавать вам вопросы и пострашнее.

— Понимаю. Буду откровенна во всем.

— Если так, вы окажете значительную услугу делу очищения католичества от возникшей скверны. От угодных сатане братств — альбигойцев, николаитов, трубадуров, катаров¹⁰... Мы объявим священную войну всем неверным, начертав на наших знаменах презираемый ими Крест. Это будет Крестовый поход за веру! Пусть горит земля под ногами врагов христианства — и в Европе, и в Азии!

А Матильда добавила:

— Хорошо бы привлечь к походу Готфрида де Бульона. Он искусный воин и поссорился с Генрихом. И к тому же давно мечтал отправиться в Палестину за священным сосудом Сан-Грааль, заключающем Кровь Спасителя.

— Неплохая кандидатура, — наклонил голову понтифик. — Правда, я слышал, он сочувствует тамплиерам¹¹, замышляющим создать тайный рыцарский орден.

— Что ж с того? Цель у нас одна, мы объединимся.

— Тоже правильно.

Накануне их отъезда в Милан возвратилась делегация из Неаполя, привезя приятные новости: предложение о женитьбе с благодарностью принято, и венчание можно провести будущей весной, так как лишь в апреле молодая достигнет шестнадцатилетнего возраста. Все с горячностью поздравляли Конрада, он сиял от радости.

Евпраксия, столкнувшись с Лоттой в коридоре, сдержанно раскланялась. И спросила, не утерпев:

— Удивляетесь, Берсвордт, что я жива?

Каммерфрау скривила губы:

— Отчего же? Я рада. Разве была угроза жизни вашего величества?

— Будто вы не знаете!

— Да откуда ж мне знать, если я была далеко?

— Ах, не притворяйтесь, вам не обвести меня вокруг пальца.

Та пожала плечами:

— Станный разговор. Лишь туман и одни намеки. В чем вина моя? Объясните прямо.

— Прекратите, Лотта! Что за повелительный тон? Перед вами императрица. Ничего объяснять я не собираюсь. Лишь прошу учесть: мы еще сочтемся. И кому-то сильно не поздоровится в результате.

Немка усмехнулась:

— Интересно, кому же? Может, той, кто стремится к разрыву супружеских уз? Ведь с разрывом утеряется статус императрицы... Кем тогда окажется та особа?

— Тем же, кем была: маркграфиней Штаденской — по первому мужу — и великой княжной Киевской — по рождению.

— ...приживалкой при дворе пасынка? Незавидная доля!

— Конрад любит меня как мать!

— Вы об этом скажите его будущей жене. Мать и сын ровесники? Столько времени коротают вместе? Очень любопытно!

Ксюша не стерпела, сорвалась на крик:

— Вы поганка, Берсвордт! Я вас ненавижу. И добьюсь, чтобы вам в Каноссе указали на дверь.

— Воля ваша. Значит, встретимся где-нибудь еще. Мир-то тесен. А Фортуна неумолима.

— Только не стройте из себя перст судьбы!

— Что же строить, если мне назначено стать как раз перстом?..

Евпраксия, кипя от негодования, двинулась по коридору мимо Лотты и демонстративно толкнула ее плечом. Каммерфрау шарахнулась в сторону, поклонилась подобострастно и негромко, но явно хмыкнула. А потом убрала улыбку и проворчала: «Ничего, ничего: с лошадьё не вышло, выйдет как-нибудь иначе, еще!»

День спустя главные обитатели замка поскакали в Милан: Адельгейда с Матильдой, Вельфом и Урбаном, а фон Берсвордт — в многочисленной свите Конрада.

Коронация совершилась 27 мая. Городские жители радостно приветствовали молодого монарха на соборной площади, а коллегия консулов созданной недавно в Милане коммуны (по примеру Мантуи, Пизы и Феррары) поднесла ему символический ключ от Ломбардии. Как и предполагалось, поселился он в королевском замке Павии, но Опраксу к нему Матильда не отпустила, опасаясь за ее жизнь. Рассудила про себя: пусть сначала выступит на соборе, созываемом Папой, выполнит свою миссию, а потом уж катится по собственному желанию... Евпраксия не возражала: не хотела жить в одном замке с Лоттой — и вернулась с маркграфиней в Каноссу.

А собор был назначен на будущую весну.

Год спустя, Италия, май

Лето, осень и зима миновали для государыни без каких-либо неприятностей. Иногда она выезжала на прогулки в окрестностях замка. Иногда играла с герцогом Вельфом в шахматы. Иногда с Матильдой — в запрещенные в то время католической церковью карты. Иногда по просьбе супругов пела русские и половецкие песни под аккомпанемент лютни. Но обычно, сидя у себя в комнате, вышивала или читала, постоянно думая, как затем пойдет ее жизнь — после выступления на со-

боре. Где ей преклонить голову? Драгоценностей хватит ненадолго. А на что потом жить? Возвратиться домой, на Русь? Но одной, без охраны, отправляться в такую даль она не рискнет. А примкнуть к обозу еврейских купцов ей как императрице не позволит гордость. Может, сесть на корабль, плывущий к Константинополю, а оттуда в Киев? Но для этого у нее слишком мало денег. И потом — опасность оказаться в руках у пиратов, от которых страдает всё Средиземноморье. В плен возьмут, продадут в сераль какого-нибудь султана... Бр-р! Хуже, чем за Генрихом замужем!..

Мысли были тяжкие, невеселые. Часто плакала. И не знала, на что решиться.

Между тем зима начала медленно сдавать. В феврале потеплело, небо стало чистым, прекратились дожди, а дороги высохли. И пришла пора двигаться в Пьяченцу — городок, что стоит южнее Милана, на одном из берегов По, — где и созывался Урбаном церковный собор.

Вельф скакал верхом, и высокое страусиное перо трепетало на его полукруглой бархатной шапочке, отдаленно напоминавшей современный берет. Адельгейда с Матильдой ехали в повозке; первая — в скромном темном облачении, без каких-либо украшений, только ожерелье из жемчуга; а матрона была одета пестрее — в фиолетовый плащ, синее, расшитое драгоценностями платье, подпоясанное серебряным ремешком, бирюзовое покрывало на голове. Вслед за ними следовали повозки со слугами. Охранял именитых каносцев конный вооруженный отряд, состоявший из семидесяти рыцарей, облаченных в кирасы и высокие металлические шлемы. А на длинной пике, прикрепленной к седлу одного из первых кавалеристов, развевался флаг с гербом дома Вельфа — головой единорога, обрамленной дубовыми листьями и скрещенными мечами.

На подъезде к Пьяченце к ним навстречу выехали посыльные Папы Римского, проводили в город и сообщили, что собор откроется завтра, в чистом поле, на бе-

регу: там специально расставлены деревянные кресла и лавки.

— Отчего же так? — удивился герцог. — Почему не в храме или где-нибудь во дворце под крышей?

— Слишком много народу съехалось. Архиепископов и епископов из Италии, Франции, Бургундии и Германии — более четырех тысяч. А мирян — в десять раз поболее. Все хотят услышать, как понтифик призовет народы Европы на Крестовый поход.

— Господи, и мне придется выступать на глазах у этой толпы?! — побледнела императрица. — Обвинять Генриха? Открывать подноготную? Никогда. Ни за что на свете!

— Что вы, что вы, душенька, отступать нельзя, — живо возразила Матильда. — Ваш отказ будет истолкован неверно. Повлечет ненужные сплетни и усугубит ситуацию. Да и Генрих получит повод лишний раз позлорадствовать. Умоляю вас, проявите твердость!

— Нет, не знаю, не знаю... Мне ужасно не по себе...

1 марта 1095 года было солнечным и безветренным. Берег По зеленел молодой травой. Где-то высоко в поднебесье раздавалась песня ликовавшего от весны жаворонка. Вся обширная долина в окрестностях города, ровная близ реки и затем круто поднимавшаяся к Пьяченце, создавала тем самым уникальный естественный амфитеатр колоссальных размеров, — шевелилась, как муравьиная куча, столько народу собралось! На низинной части были расставлены кресла с подушками: там устроились иерархи церкви; среди них преобладали фиолетовые и красные цвета сутан, с небольшими вкраплениями черного. Остальные зрители и зеваки занимали возвышенность, разместившись на лавках и складных стульях или подстелив на землю попоны. Городская стража наблюдала за тем, чтобы не было суетоки и драк. Предприимчивые торговцы продавали булочки, пирожки, прохладительные напитки и пиво. Словом, как у нас на футбольных матчах...

«Папа! Папа!» — разнеслось по рядам. В окружении кардиналов появился Урбан — в белых, расшитых золотом длинных одеждах и высокой тиаре — папской короне, надевавшейся в торжественных случаях (а во время богослужений ее заменяла митра). Первосвященника подвели к огромному трону, установленному в центре импровизированного «партера». Обернувшись к собравшимся, римский понтифик не спеша произнес напутственную молитву и провозгласил церковный собор открытым.

Первый час обсуждения был для зрителей скучноват: говорили о том, как в отдельных епархиях соблюдаются законы, принятые прежним Папой Григорием VII, — о безбрачии католических священнослужителей, о владении монастырями земель, о соотношении светской и духовной властей. Наконец Урбан перешел ко второму вопросу — рассмотрению жалобы, поданной ему Адельгейдой. Попросил одного из немецких епископов зачитать официальные грамоты — собственно жалобу и решение собора в Констанце. Два германских архиепископа, также приехавшие в Пяченцу, подтвердили подлинность решения и добавили от себя: Генриха IV отлучали от власти и раньше, но безрезультатно. Но теперь, после вскрывшихся фактов вероотступничества и сатанизма, надо добиться реального смещения самодержца. А архиепископ Базельский прямо указал, что считает необходимым передать престол королю Италии — Конраду.

Папа пригласил государыню выйти в центр.

Евпраксия — маленькая, хрупкая, в темном одеянии, оттенявшем бледность ее лица, — встала с кресла и предстала перед народом, чуточку потупившись. По рядам пробежали реплики: «Да она премилая», «Из каких славян — полька или русская?», «Говорили, что Генрих ежедневно стегал ее плеткой», «Вот бедняжка!».

Урбан задал первый вопрос:

— Можете ли вы, ваше императорское величество, утверждать, что ваш первый муж, Генрих фон Штаде по прозвищу Длинный, маркграф Нордмарки, был отправлен по приказу его величества Генриха Четвертого?

Государыня покачала головой отрицательно:

— Я могу лишь предполагать... Подозрительно совпадение двух смертей: прежней императрицы и моего супруга. Словно по заказу. Вскоре после этого император сделал мне предложение...

— Значит, вы согласились выйти замуж за кесаря, будучи еще в трауре?

— Да, но поставила условие: обручение через год, не раньше. Так оно и произошло.

— Вы решили выйти за него по душевной склонности?

— Безусловно.

— А когда вы поняли, что любите монарха?

— С самой первой встречи. Просто я боялась в этом себе признаться.

— А когда вы увиделись впервые? И где?

— В Кведлинбурге, в монастыре, где я обучалась, переехав в Германию из Киева.

— То есть до замужества с маркграфом Генрихом Длинным?

— Получается, что так.

— Значит, вы любили императора, выйдя за другого?

— Повторяю, ваше святейшество: я боялась себе признаться в этом. Но теперь понимаю, что уже любила.

— Значит, Генриха Длинного вы не любили?

— Нет, ну отчего же? Но — иначе... Больше — уважала...

Гул прошел по рядам епископов, а потом и простых мирян.

— Мужа уважали, а любили Генриха Четвертого?

— Да, пожалуй... Понимаете, император обладает сверхъестественной силой. Я в его присутствии, под его пронзительным взглядом, совершенно теряю волю,

становлюсь как бы невменяемой. В этой моей привязанности к нему есть отчасти что-то нездоровое, непонятное и пугающее.

— До сих пор?

— К сожалению, да...

Зрители опять зашумели, обсуждая услышанное.

Папа задал следующий вопрос:

— Можно ли понять, что его величество обладает чарами колдуна?

Адельгейда смутилась:

— Я не знаю... Но воздействие это ни на что не похоже.

— Очень интересно. Расскажите теперь, дочь моя, о так называемом Братстве николаитов. Как узнали вы про него, как вас принуждали в него вступить? Генрих уговаривал лично?

— Нет, на эту тему мы почти не беседовали. Объяснял его духовный отец — Рупрехт Бамбергский, ныне уже покойный.

— Что он объяснял?

— Кто такие николаиты и откуда они взялись.

— Изложите, пожалуйста, только вкратце.

— Якобы они следуют вероучению Николая Пинарского, одного из первых святых, отрицавшего культ Креста Святого и седьмую заповедь. Крест — каббалистический знак, не имеющий христианско-сакрального значения...

— Про седьмую заповедь разъясните, — оборвал ее Урбан. — Речь идет о блуде и кровосмешении?

— В общем, да. Потому что николаиты не считают грехом супружескую неверность, равно как инцест.

— На каком основании?

— Говорят: все люди родственны, ибо произошли от Адама, и любой брак — кровосмесителен.

Шум поднялся такой, что охранникам пришлось умирять наиболее разошедшихся зрителей. Наконец понтифик смог продолжить допрос:

— В чем же состоит обряд посвящения в Братство?

— В целой серии ритуалов, в ходе которых посвящаемые и уже посвященные предаются всевозможным плотским грехам. А затем проходят обряд очищения огнем.

— Вы прошли обряд?

— Нет, не полностью.

— Как сие понять?

— Под нажимом его величества и Рупрехта согласилась. Я не понимала всей сущности и наивно полагала... словом, неважно. Согласилась, и точка. Плохо сознавала вначале, что со мной происходит. Поступала, как скажут... И пришла в себя в тот момент, как мне полагалось отречься от Креста, плюнув на него.

— Вы не плюнули?

— Нет. И поэтому не стала николаиткой. Генрих был вне себя. Мы расстались фактически...

Урбан уточнил:

— Можно ли понять, что всю первую половину ритуалов вы прошли?

— Я же говорю: плохо сознавая...

— Но прошли?

— Да, прошла.

— Прелюбодеяния?

— Да.

— Свальный грех?

— Ах, к чему такие подробности?! — Адельгейда с хрустом ломала пальцы. — Я не понимала, что делаю...

— Вы должны ответить.

— Хорошо, отвечу: и свальный грех.

Зрители внимали с таким напряжением, что над берегом висела перевозданная тишина.

— И кровосмешение? — продолжал понтифик неумолимо.

— Слава Богу, нет. Генрих предложил Конраду быть со мной в числе прочих, но наследник престола отказался.

— Значит, Генрих и Конрад присутствовали там?
— Да, негласно. Наблюдали через окошко.
— Получается, Генрих сам вас толкал на супружескую неверность?

— В том-то и весь ужас.
— Непонятно! Для чего ему это было нужно?
— Он считал, что принес меня в жертву истинной вере. Согрешив, а затем очистившись, я должна была приблизиться к Богу. И приблизить Генриха тем самым.

Папа осуждающе покачал тиарой. А потом спросил:

— Как вы полагаете, император нормален?
Евпраксия помолчала мгновение, но сказала твердо:
— Полагаю, что да. Но порою с ним случаются приступы негодования, и во время них он теряет разум.
— Часто ли случаются?
— Да, нередко.
— Можно ли считать, что Генрих одержим дьяволом?

Весь собор замер в ожидании. Государыня негромко произнесла:

— Не берусь судить. Иногда казалось... но с другой стороны... я не знаю!

У первосвященника больше вопросов не было, и она вернулась на место. А глава католиков вызвал на допрос Конрада. Молодой король вышел слегка вразвалку и, припав на одно колено, с благодарностью приложился к перстам Урбана. Тот спросил:

— Вы готовы, ваше величество, отвечать со всей откровенностью?

Тяжело дыша, императорский сын ответил:

— Да, готов. И клянусь отвечать от чистого сердца.
— Где и когда вы впервые узнали, что отец ваш — николаит?

— У него во дворце в Гарцбурге, осенью одна тысяча восемьдесят восьмого года.

— Он вам сам сказал?

— Нет, беседовал со мной Рупрехт Бамбергский.
— Как вы отнеслись к этому известию?
— С недоверием. Возмущением. И со страхом.
— Согласились пройти обряд посвящения?
— Что вы! Никогда. Я воспитан матерью в духе католицизма и ни разу не усомнился в святости Креста и незыблемости основ христианского брака.

— Тем не менее вы оказались рядом с отцом, наблюдая через окошко за развратными действиями, совершаемыми над мачехой?

— Каюсь, оказался. Я не ведал подробностей. А потом умолял его величество прекратить эту вакханалию. А когда он велел мне пойти и взять Адельгейду, чуть его не ударил. Мы поссорились навсегда.

Папа одобрительно смежил веки и проговорил:

— Хорошо, сын мой. А теперь скажите, каковы были ваши отношения с ее величеством до того и после?

— Очень добрые. Мне как человек она чрезвычайно симпатична. Чистая и светлая душа.

— Вы не ревновали к отцу?

— О, нисколько. Я надеялся, что его новая жена будет счастлива. Ведь с моей матерью он почти не виделся.

— Как вы относитесь к тому факту, что ее величество согласилась вначале стать николаиткой и пройти обряд посвящения?

— Думаю, что сделала она это по незнанию. И под сильным нажимом. Даже под угрозами. И немудрено: слабая, беззащитная женщина. Ждущая ребенка...

Урбан удивился:

— Как, она была беременна?

— Совершенно верно.

— Господи, помилуй! Ваш отец допустил надругательства над беременной женой?!

— Я с прискорбием отвечаю: да.

Многие зрители возмущались вместе с понтификом, некоторые женщины плакали. Мрачные епископы не могли поднять глаз. Кое-кто крестился. И нигде, ниот-

куда не было смешков, столь обычных для огромной толпы, улюлюканий или зубоскальства. Страшный, трагический рассказ взволновал каждого.

Между тем допрос Конрада подходил к концу. Папа спросил его:

— Как вы полагаете, ваше величество, Генрих Четвертый может впредь управлять империей?

Итальянский король задышал еще чаще и ответил не без труда:

— Полагаю, нет... Мой сыновий долг мне диктует сказать обратное, но произнести: «Может» — значит исказить истину. Мой отец — страшный человек. Он живет в разладе с самим собой. Из-за постоянной бессонницы злоупотребляет снотворными средствами. Много пьет. Делает несчастными всех вокруг... Мой отец привел империю к гибели. И простить такое никому не дано.

Отпустив монарха, Урбан предоставил слово маркграфине Матильде. Та заговорила с напором:

— Ваше святейшество! Уважаемые отцы церкви! Уважаемые ломбардцы! У меня сердцебиение, я возмущена до глубины души — от того, что услышала сегодня. Мне и раньше была известна жуткая история ее величества. Но, как говорится, в общих чертах. И сейчас, после этих богомерзких подробностей, я готова целовать край ее одежд — за святое мученичество, пережитое ею. Да, она согрешила, только согрешила по принуждению, под нажимом и влиянием колдовства. Я убеждена, что ее первый муж был отравлен. Так же, как и императрица Берта. Ибо император — злодей и хриstopродавец. Нет ему прощения. Пусть горит в аду! Ибо только там ему место.

Выступившие вслед за ними епископы поддерживали Матильду с Конрадом. Прения закончились быстро. И понтифик сказал в заключительном слове:

— Ваше императорское величество, подойдите ко мне. Встаньте на колени. — Папа положил ладонь на ее

преклоненную голову. — Дочь моя! Именем сегодняшнего собора отпускаю вам все невольные ваши прегрешения. Вы освобождаетесь от церковной епитимьи. Я провозглашаю ваш брак с императором Генрихом Четвертым расторгнутым. Он не муж вам боле. Будьте счастливы, если сможете! — И поцеловал ее в лоб.

Одобрительный рокот раздался в рядах. Многие епископы удовлетворенно кивали.

Урбан отпустил Адельгейду и продолжил:

— А теперь относительно самого Генриха. Я согласен с маркграфиней Тосканской: нет ему прощения. Он — исчадие ада и приверженец сатаны. Проклинаю его и считаю отныне отлученным от нашей Церкви Святой. Призываю подданных Священной Римской империи не считать его боле императором и не подчиняться приказам. Властью, данной мне Господом, объявляю Генриха Четвертого низложенным. Аминь!

Далее епископы проголосовали, и вердикт был поддержан единодушно. Папа объявил часовой перерыв в работе собора.

— Поздравляю, ваше величество, — наклонилась к Евпраксии Матильда. — Мы блистательно выиграли. Стерли неприятеля в порошок.

Русская сказала печально:

— Знаете, графиня, у меня в душе нету радости. Я отныне не «ваше величество», так как сделалась бывшей женой низложенного правителя... Мы навеки разлучены. И от этой мысли у меня темнеет в глазах, а на сердце камень. — Адельгейда заплакала — как-то беззащитно, по-детски.

— Ну, не надо, не надо, душенька, — постаралась успокоить ее тосканка. — Вы же сами знаете, что за человек Генрих. Вам не суждено примириться. А зато выступлением на соборе вы освободили Европу от негодя. Совершили благородное дело.

— Может быть... Но какое мне дело до Европы, если кончились надежды на счастье?..

Подошедший Конрад подтвердил Опраксе свое предложение — переехать к нему в Павию, поселиться в королевском дворце. Та благодарила итальянского короля, промокая слезы. Вместе с маркграфиней села в паланкин и, задернув шторы, чтобы скрыться от взглядов любопытных, удалилась за городские стены Пьяченцы.

А церковный собор, проработав несколько дней, так и не пришел к соглашению — надо ли идти Крестовым походом в Палестину. Мнения разделились, и противников акции, говоривших, что Сам Христос не одобрил бы кровавой войны, пусть и против неверных, пусть и во имя веры, за Гроб Господень, набралось немало. Урбан нервничал и в конце концов отложил рассмотрение этого вопроса, предложив собраться чуть позже, на юге Франции, в Клермоне, зная, что французское рыцарство хоть сейчас готово сражаться. И тем более что в Пьяченцу почему-то не прибыл Готфрид де Бульон, на которого Папа делал ставку в будущей кампании (римский понтифик надеялся, что, выступив в Клермоне, здоровяк бургундец сможет изменить ситуацию в пользу военных действий).

Эхо церковного собора прокатилось по всему континенту. О разводе в императорском доме говорили-судачили повсеместно. Показания бывшей государыни обрастали невероятными, фантастическими деталями. Якобы во время посвящения в николаиты были совершены ритуальные убийства христианских младенцев, и участники пили их горячую кровь; что развратный Генрих жил со всеми своими детьми и домашним скотом; что епископ Рупрехт постоянно ходил в сопровождении черной собаки и черного зайца, превращаясь по ночам в неясутья, и питался мышами; а еще, мол, у николаитов в потаенной пещере был воздвигнут идол в виде деревянного старика, на которого натягивали свежесодранную человеческую кожу, а в глазницы вставляли по карбункулу. От подобных рассказов у людей поднимались волосы дыбом.

Весть о церковном отлучении и низложении вскоре докатилась до императора. Он узнал о допросе супруги, о ходатайстве германских епископов и предательстве аббатисы — Адельгейды-старшей. Ярости монарха не было границ. Прыгнув на коня, он с десятком своих соратников поскакал в Кведлинбург. Прямо верхом все они вторглись в монастырь и затем попали к настоятельнице в покои.

— Мерзкая ракалия! — закричал Генрих, брызгая слюной. — Я предупреждал: не мешай мне и не вреди. Ты меня не послушалась. И теперь поплатишься.

Самодержец и его молодцы распластали несчастную на столе и держали крепко, а придворный шут короля, гнусный карлик Егино, сладострастно насиловал ее больше получаса.

Удовлетворившись безумным зрелищем, венценосец моментально остыл и уехал из Кведлинбурга в Гарцбург — забываться от всех напастей в мозельском вине и бесчисленных любовных утехах.

Двенадцать лет спустя, Русь, 1107 год, осень

Постепенно Манефа начала привыкать к своему незрячему положению. Научилась обслуживать себя без чужой помощи, подниматься и спускаться по лестницам, выставляя вперед деревянную трость, чистить крупные овощи к обеду. Даже начала иногда улыбаться. А всю верхнюю часть лица прикрывала черной шелковой лентой, что была завязана под платком.

Евпраксия на первых порах ни на шаг от нее не отходила, обучала всему и служила поводом. Та стеснялась, говорила, что это лишнее. Но сестра Мономаха не соглашалась:

- Ах, о чем ты? По моей вине потеряла очи.
- Да какая ж твоя вина, милая Варвара?
- Потому как лезли с целью моего ослепления.

— Ну, во-первых, до конца еще не понятно. Во-вторых, даже если так, грех на них, а не на тебе.

— Если б мы с тобою не меняли лежанки, а заделали бы щель в оконце, ты осталась бы в здравии.

— Что же задним числом кручиниться! Сделали как сделали. И мои глаза больше не вернешь. Раз уж Бог мне послал это испытание, значит, поделом. Каждый должен нести свой крест, как бы тяжело ни казалось. Сетовать грешно. Надо думать о будущем, а не о прошедшем.

— Ты святая, сестра Манефа, — восхищалась Опракса.

— Да какая святая, ей-Богу! Просто не считаю, что позволено нюни распускать из-за пустяков.

— Ничего себе пустяки — сделаться слепой!

— Ну, слепой — не мертвой. Мог не по глазам, а по горлу чикнуть. Нет, не говори: всё, что ни случается, к лучшему.

Тем же октябрём настоятель монастыря познакомил бывшую германскую государыню с братом Нестором и сказал:

— Ты читала его «Жития», выражала немалое восхищение ладным слогом. Не желала бы подсобить ему в летописном деле?

— Я была бы счастлива. В чем нужду имеет?

— В непредвзятом взгляде и достойном советчике. Ты с твоим образованием иноземным знаешь многое, смотришь глубоко, ощущаешь тонко. И могла бы заметить недочеты, огрехи, несурaziцы, коли вдруг найдутся. Подсказать, поправить.

Женщина зарделась:

— Да достанет ли умения у меня?

— Испытать невредно. Думаю, получится.

Нестор выглядел мрачным, крайне неприветливым. Выше среднего роста, смуглый, темноволосый, он тарачил глаза по-рачьи, а его синяя нижняя губа постоянно выпячивалась вперед, вроде ее хозяин обижался на

мир. Голос имел глухой, прямо-таки рокочущий. И писал, низко наклонившись к пергаменту.

Встретил Ксюшу, глядя исподлобья. Пробурчал с досадой:

— Наш игумен вечно отвлекает людей. И тебя, сестра, от хозяйских забот, и меня от составления хроник. До сих пор обходился без соглядатаев, и как будто бы выходило славно.

Евпраксия ответила:

— Я могу просто переписывать за тобой. Молча, без советов.

Он не согласился:

— Ну уж нет. Коль прислали, так исполняй все, чего велели. Может, что отловишь действительно. — И, раскрыв кованный ларец, протянул ей несколько толстых свитков. — Вот, читай сначала. После посидим и обсудим.

Раскатав пергамент, Евпраксия увидела заголовок: *«СЕ ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ, ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА РУССКАЯ ЗЕМЛЯ, КТО В КИЕВЕ СТАЛ ПЕРВЫМ КНЯЖИТЬ, И ОТКУДА РУССКАЯ ЗЕМЛЯ СТАЛА ЕСТЬ»*.

Начинался рассказ со Всемирного потопа, а затем говорилось о происхождении славянских племен, в частности — полян и древлян, об Андрее Первозванном, проповедовавшем в этих местах, и об основании Киева. Первый свиток заканчивался походом князя Олега на Царь-град.

— Ну, что скажешь? — Нестор обратился к монашке, видя, что она закончила чтение и сидит задумавшись.

Евпраксия покрутила пергамент, тщательно подыскивая нужные слова. Наконец сказала:

— Лучше промолчу, дабы не гневить.

Летописец выставил вперед синюю губу:

— Значит, не понравилось?

— Да не то чтобы не понравилось... Это было бы слишком смело с моей стороны. Речь твоя течет плав-

но, ровно, как река Днепр в тихую погоду. И никто не смог бы так лепо словеса плести по-русски, как ты. Не читавшие греческих и римских анналов могут восхищаться. Но ведь я читала... И удивлена беглости твоего повествования. От Потопа сразу переходишь к нашим временам, не упомянув ни о древних русла-нах, предках русов, ни об их князе Бусе, что распят был готами на кресте, ни о гуннских ордах, бывших до хазар...

Тот поморщился:

— Был ли Бус или не был, — мы о сем не ведаем. Судишь по «Велесовой книге»¹², а ея писали волхвы-идолопоклонники. Нет им веры. Коли сочинял бы сказание, песнь, былину, мог бы вставить. А в доподлинных хрониках не имею права.

— Ну, допустим, — согласилась она. — А зачем хулишь половцев? Вроде они такие сякие немазанные, между тем как у половины русских князей — половецкие жены.

— Ну и что с того? — не поддался Нестор. — Жены их были крещены, значит, от обычаев мерзких отrekliся. А язычники-половцы — сплошь губители христианских душ. Говорить о них нельзя благосклонно.

— Что ж, не говори благосклонно, но и не марай зряшно. Мол, едят хомяков, и сусликов, и другую нечисть. Отчего же нечисть? Русские едят зайцев — тех же грызунов, но побольше.

Летописец ответил:

— Всё, что меньше зайца, нечисть и не может употребляться в пищу.

— Кто сие сказал?

— Так ведется от века.

В общем, не ладили. Да еще Нестор пожаловался игумену: мол, сестра Варвара утверждает крамолу и не зря в Андреевской обители взаперти сидела на воде и хлебе — видимо, отравлена насквозь католической ересью, что была почерпнута ею в неметчине. Феоктист

никаких крутых мер не принял, но велел монахине больше летописца не беспокоить, опыт не удался. Евпраксия безмолвно повиновалась.

А в конце октября приключилось вот что. Принесли записку от Кати Хромоножки: младшая сестра сообщала, что будто бы Васка при смерти: уколола палец, началось нагноение, и теперь девочка в агонии; не поможет ли ей инок Пимен, что лечил Манефины раны? Ксюша бросилась разыскивать лекаря.

Тот учился мастерству врачевания у известных печерских целителей — Агапита и Дамиана — и теперь совершал чудеса, избавляя и зная, и простых мирян от телесных недугов.

Пимена нашла за молитвой, дождалась конца, бросилась ему в ножки, умоляя посетить Янчин монастырь и помочь болезной. Старец согласился после первой же оброненной фразы, и они вдвоем на обычной подводе, взятой у игумена, поспешили в Киев.

У ворот их встретила Серафима, похудевшая, сильно постаревшая, за какой-то год превратившаяся из дородной женщины в сухонькую старушку. Поздоровалась и сказала:

— Слава Богу! Может, еще не поздно. Нам самим не справиться, и на брата Пимена вся надежда.

Пимен пробормотал в жидкие усы:

— Уповать не на меня надобно, но на Господа Бога Иисуса Христа.

У постели Васки сидела Катя и при появлении Евпраксии бросилась ей на шею, заливаясь слезами:

— Душенька, Опраксушка, что же это будет?

— Погоди, не реви раньше времени. Как она?

— Да пока всё так же.

Девочка лежала с закрытыми глазами, все лицо ее блестело от пота, губы шевелились беззвучно, левая кисть была замотана тряпкой. Пимен размотал бинт, осмотрел раздувшийся фиолетовый палец. Удивленно проговорил:

- Уколола простой иголкой?
- Да. А что?
- Не такой уж простой, судя по всему.
- Как сие понять? — задрожала Ксюша.
- Красный венчик видишь? Нехороший признак.

Мнится мне, что иголка была отравлена.

— Свят, свят, свят, — побледнела Хромоножка и прижалась к старшей сестре. — Неужели?.. Аж подумать страшно!..

— Помоги ей, брате! — жалобно произнесла бывшая императрица.

— Постараюсь, конечно. В меру скромных сил.

Острым ножичком вскрыл нарыв, удалил оттуда продукты гниения и прижег раскаленной металлической палочкой. Распорядился принести тазик, совершил больной кровопускание, наложил жгут на предплечье и дождался прекращения тока крови. Внутрь велел давать много питья и целебные жаропонижающие отвары из плодов малины, мать-и-мачехи и душицы. Обещал заехать завтра утром. И опять заверил, что на всё воля Божья.

Целый день Евпраксия провела вместе с Катей, помогая приемной дочери. Переодевали ее в сухое, с ложечки поили и вдвоем сажали на горшок. Та по-прежнему большей частью лежала с закрытыми глазами, а когда поднимала веки, никого не могла узнать, издавая непонятные звуки. К вечеру ей сделалось вовсе худо, пот катился градом, и она металась в бреду. Хромоножка плакала, а Опракса держала больную за руку — правую, не завязанную и шептала молитвы.

Неожиданно дверь открылась, и в проеме нарисовалась Харитина с масляной улыбочкой на устах. Покивав, спросила:

— Не откинулася еще?

Ксюша встала, подошла к ней вплотную и, чеканя каждое слово, произнесла:

— Слышишь, ты, змея подколотная? Передай матушке-игуменье: я терпела долго. Я терпела голод заперти в келье. Измывательства над собой и над Катюшей. Отравление келейника Феодосия. Ослепление сестрицы Манефы. Но теперь мое терпение на исходе. Если Васка умрет, обещаю во всеуслышанье: я убью Янку и тебя этими руками. И пускай потом покарают меня люди и Небо. Но вначале отомщу вам по справедливости.

Харя отступила, продолжая наклонять голову:

— Передам, передам, конечно. Как не передать, коли угрожают? Зряшно обвиняют во всех тяжких?

— Прочь пошла! И молитесь за ее исцеление. Лишь тогда прощу!

Подлая келейница удалилась, громко хлопнув дверью. Ксюша села на лавку и прикрыла лицо ладонью. Хромоножка отозвалась:

— Ух, теперь пойдет буча! Янка нам с тобою помнит.

— Нету сил бояться. Довела до предела, гадина. — Опустила руки. — Хочешь, попрошу за тебя у игумена? Переедешь к нам.

Катя удивилась:

— Как, а Васка? Бросить ее одну? На съедение этим хищницам?

Евпраксия ответила:

— Я боюсь, Васке не помочь.

— Нет, не говори! Рано хоронить. Погляди, сестрица: вроде бы она задремала.

Та склонилась над девочкой:

— Может, задремала... может, без сознания... Нам сие не ведомо.

— Погодим до утра. Утро вечера мудренее.

С первыми лучами тусклого осеннего солнца появился Пимен. И спросил с порога:

— Как она, недужная?

— Вроде бы жива.

— Это главное. Опасения были, что прошедшая ночь станет роковой. — Деловито пощупал лоб. — Жар не сильно спал, но и не возрос. Хорошо ли она потела?

— Да, изрядно.

Он разбинтовал оперированную руку:

— Гноя выступило немного. Удалим и прижжем еще. — Поднял на монашек глаза. — Коли за день положение не ухудшится, то она поправится.

— Да неужто, Господи?

— Только лишь поите обильнее. Надо промывать кровь, удаляя остатки яда.

— Мы все время пытаемся.

— Лучше, лучше пытайтесь.

Вечером больная открыла глаза и, заметив Ксюшу, разлепила губы:

— Маменька Опраксушка, ты ли это?

— Я, моя любимая, точно я. — И счастливые слезы навернулись монахине на глаза.

— Отчего ты здесь?

— За тобой гляжу. Вместе с Катеринкой.

— Здравствуй, здравствуй, тетушка.

— Здравствуй, золотая.

— А чего же глядеть за мной? Ах, ну да — рука... уколола пальчик... Помню, помню.

Евпраксия спросила:

— А не вспомнишь ли, где взяла иглу — ту, которой поранилась?

— Где взяла? Как обычно, на моем столике, в мастерской.

— Прежнюю, каленую?

— Нет, нам третьего дня выдавали новые. Вроде бы подарок от матушки Янки...

— Ах, от Янки...

— Разве что не так?

— Ничего, ничего, родимая. Просто любопытно. Выпей-ка отварчику, липового цвету. Пополняй утраченные силы.

— Как прикажешь, маменька. Можно, я тебя поцелую?

— Ну конечно, душенька.

— А теперь тебя, тетушка любимая.

— С удовольствием, Васочка. Ты лежи, лежи, я сама к тебе наклонюсь.

Сами-три плакали от счастья. Бывшая императрица сказала:

— Я вас больше не оставляю у Янки. Заберу к себе.

Девочка встревожилась:

— Навсегда, что ли, заберешь?

— Ну, само собою. Разве ты не хочешь?

Васка застеснялась:

— Да не больно, если уж по совести... Здесь мои друзья. Я люблю мастерские, наш церковный хор...

— Новых друзей найдешь. Жизнь твоя дороже.

Хромоножка сказала:

— Я без Васки тоже не поеду. Или вместе тут, или вместе там.

— Значит, вместе там. — А потом смягчилась: — Ладно, потолкуем попозже. Набирайся сил, поправляйся, спи. Мы с Катюшей тоже по очереди вздремнем. Эта ночь была тяжелой... — И поцеловала девочку в щеку. — Ну, приятных сновидений, родная.

— И тебе, маменька Опраксушка.

Подтыкая ей одеяло, Евпраксия подумала: «Как она похожа на мать! Бедная моя Паулинка! Сколько раз ты меня спасала — и тогда, в Вероне, и затем в Павии от проклятой Берсвордт, перед самым походом крестоносцев... Как же это было давно! Больше десяти лет назад. А как будто вчера...»

Тяжело вздохнула. Выпила воды и сказала Кате:

— Ненадолго прилягу. Что-то измоталась совсем. Разбуди через пару часиков, я тебя сменю.

— Хорошо, дорогая, не тревожься. Васку мы больше не упустим.

Обе еще не знали, что над их головами собираются новые тучи.

**Одиннадцать лет до этого,
Италия, 1096 год, лето**

Вскоре после Пьяченского собора Папа Урбан II лично соединил брачными узами итальянского короля Конрада I и княжну Констанцию. Церемония проходила в миланском соборе Сант-Амброджо. Адельгейда, присутствовавшая на ней, вспоминала свою свадьбу с Генрихом IV — музыку, цветы, разные забавные ритуалы, связанные с поверьями... И теперь она ровным счетом никто, жалкая изгнанница, никому не нужная, полунищая, лишь с одной горничной Паулиной из прислуги... Каждая улыбка, обращенная к ней, каждый шепоток за спиной Ксюша воспринимала трагически: издеваются, думала она, говорят о потерянной мною чести, об отвратном посвящении в Братство и участии в свальном грехе, о разводе на церковном соборе... И предпочитала как можно реже появляться на людях, поселившись в королевском дворце в Павии. Но, конечно, не поехать в Милан на венчание пасынка просто не могла. И теперь страдала — как от грустных воспоминаний, так и от внимательных взглядов со всех сторон.

— Ваша светлость! Вы, наверное, забыли меня? — услышала она где-то над собой.

Посмотрев вверх, увидала круглое приветливое лицо с розовыми щеками — Готфрида де Бульона, герцога Бургундского, собственной персоной.

— Рада встретить вас, ваша милость, — покраснела от удовольствия Адельгейда. — Это честь и для Конрада — видеть такого знатного рыцаря у себя на свадьбе.

— Я, признаться, больше здесь по делу, — откровенно признался тот. — Надо поговорить с его святейшеством, прежде чем поехать в Клермон. Мы не можем проиграть тем занудам, кто считает, что поход гибелен.

— В Палестину, за Гробом Господнем?

— И священным сосудом Сан-Грааль. Мы пройдемся по всей Европе. Овладеем Константинополем и заста-

вим греков принять католичество. А затем общими усилиями заберем у сарацин Иерусалим. Установим там христианское царство.

— С вами во главе?

Здоровяк неожиданно засмутился, прямо не повзрослому:

— О, не смейтесь надо мной, ваша светлость. В Палестине может править лишь один Иисус. Я же — смертный раб Его и освободитель Земли обетованной. Большого титула мне не надо.

Он хотел откланяться, но она задержала его внезапным вопросом:

— Герцог, поясните, а какими маршрутами вы намереваетесь идти на восток?

Де Бульон неопределенно пожал плечами:

— Точные маршруты пока не проложены. Видимо, по Югу Германии, через Венгрию и Моравию... Почему вы спросили, ваша светлость?

— Я хотела бы отправиться вместе с вами.

Готфрид изумился:

— Женщина? В походе? Это ни на что не похоже!

Евпраксия коснулась его перчатки:

— Вы меня неправильно поняли. Я хотела бы под вашей защитой перебраться в Венгрию — под крыло моей тетушки, бывшей королевы Анастасии. Здесь мне делать нечего... Ну так что, согласны?

У него в глазах вспыхнула веселость:

— Почему бы нет? Буду рад услужить милой даме и приятному человеку.

— Не смутит ли вас моя репутация — разведенной, низложенной императрицы? И не испугает ли вероятная болезненная реакция Генриха?

Рыцарь рассмеялся:

— О, наоборот! Щелкнуть его по носу — очень даже славно. Мы давно поссорились, он не выполнил ни один из своих посулов, так что я имею полное право пренебречь и моими. — Великан поцеловал ее руку. — Жди-

те же сигнала, ваша светлость. Я заеду за вами обязательно.

Русская проводила бургундца долгим взглядом. Осенила себя крестом. Мысленно сказала: «Это мой единственный шанс вырваться отсюда». И вздохнула горько.

А пока продолжала жить у Конрада. До нее дошли вести, что Клермонский съезд поддержал Урбана II, выступившего с призывом брать Иерусалим. Всю кампанию взяли на себя, кроме де Бульона, два французских герцога и один южноитальянский. Бывшая государыня начала готовиться в путь.

Но в начале осени 1095 года вместо сигнала от Готфрида получила весточку из Киева. Передали ее по цепочке иудейских купцов — через Лейбу Шварца. Ксюша, давно отвыкшая от кириллицы, долго разбирала витиеватые строки.

«Адельгейде, императрице Священной Римской империи, вдовствующей маркграфине фон Штаде и великой княжне Киевской Евпраксии Всеволодовой бьет челом ея родная сестрица Катерина, ныне послушница Андреевского монастыря.

Многие тебе лета! И тебе, и супругу твоему, императору Генриху Четвертому! Бог даст, ты узришь грамотку скромную сию глазыньками своими ясными.

В первых строках этого письмеца я принуждена поведать тебе скорбную, плачевную весть. Батюшка наш, Всеволод Ярославов, внук Володимеров, князь великий Киевский, отдал Богу душу в среду, месяца апреля, в 13 день 6601 лета от Сотворения Мира. Погребли его в 14 день на Страстной неделе, положи в гроб в храме Святой Софии. Мы, прощаясь с ним, плакали зело, бо он был добр, аки Моисей, мудр, аки Соломон, и прекраснодушен, аки Иоанн Предтеча. Но теперь ему в райских кущах по достоинству воздастся по делам его. Мы же, грешные, оставаясь сиротами на земле, молимся за бессмертную тятенькину душу.

Помолись и ты, милая сестрица, не забыв о нас — матушке нашей Анне, братце Володимере Мономахе, о сестрице Янке и, конечно же, обо мне, недостойной рабе Божьей.

Братец же наш сводный Володимер Мономах, следуя заветам отеческим — мир хранить на Руси Святой, — не стремился сесть на Киевский стол, а послал за нашим двоюродным братцем Святополком в Туров, бо тот Святополк — Изяславов сын, и по старшинству должен править. И явился Святополк в Киев, и народ встречал его хлебом-солью. Володимер же уехал править в Чернигов, а наш братец Ростислав — в Переяславль.

В сё же время пришли к Святополку половцы на поклон, бо желали мира. Святополк же окаянный не послушал свою дружину и старцев киевских, взял послов в полон и закрыл в темной, испросив за них выкупа немалого. Как прознал про то половецкий хан Тугорхан, так пошел на нас. Было его полков видимо-невидимо. Святополк же послал за помощью ко Володимеру с Ростиславом. Те пришли, и была сеча злая на берегах Стугны. Налетели половцы, аки звери лютые, побежали русичи и пошли через речку вброд. И узрел Володимер, что течением несет Ростислава, тонет он. Бросился на выручку — да не смог спасти. Так представился в сие лето брат наш единокровный Ростислав Всеволодов, Царствие ему Небесное! Тело его в Стугне отыскиали ввечеру, принесли в Киев, и мы плакали по нему зело, ведь ему было лет всего 23. И отпели его, и погребли тож во храме Святой Софии, рядышком со гробом родителя нашего. Володимер же Мономах удалился с остатками дружины в свой Чернигов, будучи в великой печали.

Долго воевал Святополк с неприятельскими полками, и погибли многие, и был глад и мор в городах и весях. Но в конце концов замирились все, Святополк же взял в жены дочку Тугорхана. Володимер сел в Перея-

славле. А еще была саранча в то лето, августа в день 26, и поела всякую траву и много жита.

В остальном же живем по-старому, молим Господа нашего Иисуса Христа о милости Божьей. Я в послушницах с весны, и Андреевская обитель стала мне вторым домом. Сводная наша сестрица Янка всё такая же — мрачная, суровая, будто холодом от нея веет. Ну да Бог с ней!

От жидов киевских, приезжавших с Неметчины, мы прознали о преставившемся сыне твоём и о неурядицах у тебя в семействе. Не тужи, милая сестрица, бо на то воля Вседержителя. Да хранит тя Провидение и да укрепят тя робкие мои словеса сии.

Остаюсь за сим любящей сестрицею Катериной по прозвищу Хромоножка.

Писано во стольном граде Киеве, месяце марте в 9 день 6603 лета от Сотворения Мира и 1095 лета от Рождества Христова».

Прочитав письмо, Адельгейда, разумеется, сильно расстроилась. Вспоминала родителя, доброго, могучего, как он брал ее в детстве к себе на колени, гладил по головке и приговаривал: «Девушка-красавица, пошто губки надула? Глянь, как солнышко светит, лютики-цветочки растут, птахи заливаются. Благодаты! Каждому отпущенному дню на земле радоваться надоть!» Вот и кончились его дни. Бедный тятенька! Умер, не простившись со своей дочкой-неудачницей. Доведется ли ей когда-нибудь оказаться в Святой Софии и прильнуть щекой к его усыпальнице? Да еще — брата Ростислава? Он всегда смотрел на Опраксу и на Катю свысока. Нет, не обижал, но и не дружил. Лишь однажды отогнал, помнится, от Ксюши злобного дворового пса, чуть не укусившего ее за ногу. Та сказала (ей в ту пору было лет восемь): «Ох, спаси ты Боже, брате!» Он ответил хмуро: «Осторожней будь. Как в другой-то раз не окажется меня рядом?» Да, не оказалось... Некому защитить ее теперь. И придет ли за ней герцог де Бульон?

1096 год выдался для бывшей императрицы очень непростой. Главной ненавистницей ее сделалась, помимо фон Берсвордт, ставшей камерффрау молодсой ита-
льянской королевы, и сама Констанция. Юная каприз-
ная скандинавка, избалованная и вздорная, некраси-
вая и зловредная, невзлюбила русскую с самого начала.
Не исключено, что дошли до нее несуразные слухи
о любовной связи мачехи и пасынка... Словом, по мере
проживания под одной крышей ненависть жены Кон-
рада возрастала неукротимо. То ли ревность была при-
чиной, то ли зависть к красоте Ксюши, не иссякшей,
несмотря на ее невзгоды, то ли просто адское желание
мучить беззащитную женщину... Евпраксия старалась
реже выходить из своих покоев, посещала церковь Сан-
Микеле только по воскресеньям и присутствовала на
общих застольях лишь по праздникам. Но Констанция
даже в эти редкие случаи их общения говорила дерзос-
ти — что-то вроде: «До чего ж бывают наглými люди —
пригласили их погостить недельку, а они не уезжают
годами!» Разумеется, тут не обходилось без влияния
Берсвордт...

Ксюша ждала герцога де Бульона как манны небес-
ной. Но бургундец не ехал и не ехал. Оставалось одно
развлечение — зоосад.

Надо сказать, что шестнадцатилетняя королева при-
везла с собой из Неаполя целый зверинец — льва, панте-
ру, нескольких павлинов, выводок шимпанзе и удава.
Клетки разместили в саду замка, и специально нанятый
слуга задавал корм животным. Конрад с удовольствием
демонстрировал всем своим гостям собранную фауну
и хвастливо обещал в скором времени завести у себя
крокодила и слона. Гости поражались и ахали.

Адельгейда тоже, прогуливаясь в саду, наблюдала
за обезьянами и хищниками, иногда кормила павли-
нов. И установила добрые отношения с Филиппо, что
служил при клетках. А тем более итальянец проявлял
естественный интерес к Паулине; Шпис пока не сдава-

лась, между ними шла тонкая игра, и влюбленный нередко жаловался хозяйке:

— Я ведь с добрыми намерениями, поверьте. Если она захочет, то могу жениться.

Бывшая императрица смеялась:

— Сами разбирайтесь и не впутывайте меня!

— Нет, ну, если спросит вашу светлость — дескать, как ей быть и на что решиться, вы уж поддержите меня и скажите, что Филиппо — человек неплохой, и к вину склонность не имеющий, и свои обязанности исполняющий рьяно.

— Хорошо, скажу.

— Очень вам буду благодарен.

А служанка относилась к ухаживаниям служителя зверинца как-то несерьезно, с долей иронии. Отвечала на вопросы Опраксы:

— Разве это мужчина? Тьфу! Словно в поговорке — ни кожи, ни рожи. Я таких не люблю. Настоящий мужик должен быть большим, косолапым и мохнатым — как медведь. А мозгляк Филиппо носом не вышел. И другими своими конечностями...

Но однажды в августе итальянцу удалось уговорить Паулину прогуляться в город — побывать на празднике апостола Павла, ведь она, Паулина, тоже это имя носила. Евпраксия дала согласие:

— Ну конечно, сходи, развлекись, развейся. А не то закиснешь в четырех стенах, сидючи со мною.

— Как-то боязно оставлять вас одну.

— Перестань, не придумывай глупостей. Конрад выделил мне охрану, посторонний в мои покои не прошмыгнет.

— Посторонний — нет, а вот кто-нибудь из «своих»... Вы ведь понимаете, про кого я!

— Разумеется. Но не думаю: мы с фон Берсвордт перестали общаться, и, надеюсь, она забыла все свои угрозы.

— Вашими б устами... Только мне тревожно чего-то.

- Я тебе приказываю идти!
- Хорошо, хорошо, как знаете...

После ее ухода Адельгейда читала книгу — сборник произведений Иоанна Златоуста на греческом, а потом как-то заскучала, затомилаь и решила спуститься в сад.

Было очень жарко и тихо: половина обитателей замка удалилась в город на праздник, остальные пережидали полуденное пекло под крышей. Звери тоже томились в клетках, и особенно удав, кожа которого сильно пересыхала. Шимпанзе приветствовали Опраксу радостными визгами, стали ей протягивать миски для питья. Та взяла ведро и пошла к бочке, где копилась вода. Напоила обезьян и павлинов, окатила удава, но к пантере и льву приблизиться побоялась — только издали пожала плечами: извините, мол, ничего не могу поделать. Лев смотрел на нее тоскливо, развалясь на полу, тяжело дышал. А зато пантера, спрятавшись в тень, наблюдала за бывшей государыней зорко — золотисто-зелеными сверкающими глазами, кончик ее хвоста нервно вздрагивал.

— Вот вы где, неуловимая дама! — раздалось из-за деревьев.

Обернувшись, Евпраксия увидела не спеша идущую по дорожке Берсвордт.

— Я зашла к вам в покои, но охрана ответила, что искать вас надо в саду.

— Что вам надо, Лотта? Королевская чета поскакала на праздник...

— А ее величество меня отпустила. Для серьезного разговора с вами.

Ксюша сделала шаг назад, отступая в тень:

— Ну, так говорите.

— Я и говорю. Мы немедленно уезжаем с вами в Германию.

Киевлянка снова отступила на шаг под ее напором:

— Интересно! Это кто же решил такое?

— Королева Констанция при моей поддержке.

— Пусть свое решение скушает за ужином. Я здесь нахожусь по соизволению короля Конрада, моего, между прочим, пасынка. Только он волен отказать мне от дома.

Немка сделала шаг вперед:

— Но от дома вам никто не отказывает. Просто нам пора уезжать. Генрих нас заждался.

— Это кто сказал?

— Я вам говорю. Он еще в Вероне приказал мне привести вас к нему — мертвую или живую. Я хотела мертвую... но уловка с вашей лошадью в Каноссе не удалась. Стало быть, придется живую.

Адельгейда опять отступила и почти вплотную приблизилась к клетке, где сидела пантера. Улыбнулась криво:

— Неужели вы всерьез полагаете, что вернусь в Германию добровольно?

Берсвордт придвинулась к ней:

— Нет, конечно. Но у вас нет иного выбора. Или смерть, или возвращение. Защитить вас никто не сможет, ибо Конрад на празднике, Паулина тоже, а охрана наверху, караулит двери. Экипаж уже наготове. Мы сейчас выходим из сада, залезаем в повозку и уезжаем. Стража на воротах подкуплена и препятствий чинить не станет. Очень просто. — Взяв ее за плечи, Лотта притиснула Адельгейду к прутьям. — Или вы погибнете в лапах у пантеры!

Бывшая императрица попыталась вырваться:

— Нет! Пустите! Вы не смеете, подлая!

— Смею, ваша светлость, очень даже смею! Отомщу за всё! И верну расположение государя!

Черная хищница прыгнула на прутья и, разинув пасть, полоснула лапой по плечу Опраксы, вырвав вместе с лоскутом платья не такой уж маленький кусок мяса. Евпраксия дернулась, крутанула обидчицу, и теперь уже Берсвордт оказалась прижатой к клетке. Дикая кошка, помешавшись от запаха свежей крови, запусти-

ла длинные когти ей в спину. Та вскричала от боли, отшвырнула от себя русскую и упала у клетки на колени. Но Опракса не растерялась и, схватив деревянное ведро, запустила в немку. К сожалению, промахнулась. Каммерфрау собралась с силами и опять набросилась на противницу. Обе начали кататься в пыли, яростно вопя и валтузя друг друга. Несомненно, Лотта была покрепче и, хотя спина ее сильно кровоточила, постепенно стала одолевать. Опрокинула Ксюшу на грудь, в грязь лицом, села ей на поясницу, утянула руки назад и поволокла к клетке. Бывшая жена Генриха упиралась, дергалась и кричала сквозь зубы: «Нет! Нет!» — но дворянка продолжала ее толкать к лапам хищницы. Видя это, пантера извивалась у прутьев, вождедая лакомство. В остальных клетках звери тоже разволновались. Обезьяны скакали и зывали о помощи, оскорбленно кричали павлины, даже лев приподнял гривастую голову и смотрел с вопросом в глазах на происходящее. Лишь удав ни на что не реагировал. Привалившись к прутьям, кошка выставила лапу и пыталась когтями зацепить голову Опраксы, приближавшуюся к ней, понукаемая Берсвордт. Расстояние сокращалось. Вот осталась пядь... вот всего лишь каких-нибудь два вершка... Вот уже средний коготь дотянулся до завитка волос... Но в последний момент киевлянка нагнула шею и, схватив соперницу за талию, перекинула через себя. Хищница вцепилась немке в мягкое место, начала кусать и рвать зубами. Обливаясь кровью, женщина едва вырвалась, отлетела и упала на землю. Не успев передохнуть, получила такой удар ногой в челюсть, что мгновенно потеряла сознание.

Тяжело дыша и утирая пот, Адельгейда проговорила:

— Получила, да? Увезла живой или мертвой? То-то же, мерзавка!

Обезьяны ликовали у себя в клетке. Радостно пищали павлины. Лев опять уронил гривастую голову и невозмутимо прикрыл глаза.

Возвратившаяся к вечеру Паулина, обнаружив хозяйку в комнате, в синяках и царапинах и с довольно глубокой раной на плече, так и ахнула:

— Мать Мария и святые апостолы! Что с вами?

Выслушав рассказ Евпраксии, бросилась ее перевязывать и кудахтать, как клуша:

— Я ведь словно знала, что нельзя было уходить!

— Ничего, ничего, все уже прошло.

— Вы обязаны поставить в известность короля.

— Господи, а что Конрад сделает? Он такой тюфяк... Нет, одна надежда на Готфрида де Бульона.

— Что-то ваш Бульон вспоминает о вас не больно. Лето на исходе.

— Ничего, ничего, надо потерпеть еще чуточку. Лучше расскажи, как ты провела время.

Шпис рукой махнула:

— Да никак, признаться. Выпили, покушали и потанцевали. Ничего больше.

— Ну а что б ты хотела больше?

— Ну, хотя бы потискал в темном уголке, пощипал бы за что-нибудь аппетитное... Не поверите, ваша светлость: только раз поцеловал — и то в щечку!

— Положительный, порядочный человек — что же удивляться?

— Да пошел он в задницу со своей порядочностью — извините, конечно! Я ведь говорила: мне такие паиньки поперек горла!

— Ты желала бы проходимца, но страстного.

— Ну? А то! Лучше пять минут сладкого греха, чем сто лет пресной добродетели!

— Фу, какая охальница! Ты как будто бы не христианка прямо. Значит, не пойдешь за Филиппо?

— Да ни в жизнь, клянусь! И потом, от него кошатиной пахнет. Я же кошек на дух не выношу, будь то лев, или пантера, или фон Берсвордт...

Вскоре Адельгейда узнала, что Крестовый поход уже начался и гигантские толпы вооруженных людей,

большей частью стихийно, тянутся со всех уголков Европы на юго-восток.

— Паулина, а про нас ведь действительно забыли, — говорила Ксюша горничной. — И без Готфрида я до Венгрии не доеду.

— Стало быть, поедem в Париж к вашему кузену Филиппу, королю Франции.

— Надо будет написать ему грамотку. Если пригласит, то отправимся.

— Вдруг откажет? Лучше без приглашения, как снег на голову!

— Нет, нельзя. Если Анастасия откажет, до Руси добраться — пара пустяков. А откажет Филипп — и по-даться будет некуда, только с камнем на шее в Сену!

Перед Рождеством Евпраксию посетил Конрад. Королю исполнилось двадцать семь, и излишняя тучность ему не шла: он уже не мог сам садиться на лошадь и, всходя по лестницам, часто останавливался, чтобы передохнуть. Не прибавила счастья итальянскому самодержцу и семейная жизнь: от неукротимой супруги молодой человек страдал не меньше других. Принеся мачехе рождественский дар — милое колечко с бриллиантом — и поцеловав руку, венценосец задал вопрос:

— Удостоите ли вы нас своим присутствием на вечернем приеме?

— О, боюсь, не смогу, — опустила глаза Опракса. — Вы же знаете, ваше величество, как я не люблю появляться в свете.

Он вздохнул трагически:

— Знаю, знаю... И ума не приложу, как вас помирить с королевой.

— Да никак не надо. Будущей весной я от вас уеду, несмотря ни на что.

Конрад сразу как-то приободрился:

— Неужели? Все-таки решили?

— Да, пожалуйста, успокойте ее величество и других заинтересованных лиц.

Он слегка смутился:

— Что вы, что вы, не в этом дело! — А потом торжественно произнес: — Со своей стороны, обеспечу вас всем необходимым — лошадьми, повозкой, провожаемыми и деньгами. Слово короля.

— Я не нахожу слов для благодарности, ваше величество...

Ксюша написала грамоту в Париж и ждала ответ, как внезапно, 3 марта 1097 года, в королевском замке в Павии появился младший брат де Бульона — Бодуэн. Он разительно отличался от Готфрида — был не слишком высок, но строен. И его большие голубые глаза излучали пылкость девятнадцатилетнего юноши. Прямо в дорожном платье молодой бургундец поспешил к Адельгейде и, приветствовав ее, заявил:

— Ваша светлость! Я приехал по указанию старшего брата. Он находится в предместьях Константинополя и отправил меня во Францию и Германию, чтобы привести подкрепление, а к тому же велел заехать за вами. Если вы намерены двигаться в Венгрию, то извольте поторопиться. Сколько дней вам необходимо на сборы?

Глядя на него с замиранием сердца полными слез глазами, бывшая императрица ответила:

— Я могу ехать прямо завтра. Дело только в транспорте. Мне король обещал коней и кибитку...

— Превосходно. Значит, послезавтра в дорогу. Я и мои пажы сможем отдохнуть пару дней.

Паулина и Евпраксия занялись сборами. А фон Берсвордт поняла, что еще немного — и она упустит последнюю возможность расквитаться с противницей.

Там же, 1097 год, весна

Первый Крестовый поход всколыхнул Европу. По дорогам старого континента издавна бродило много разного люда: обедневшие рыцари в поисках жижи и приключений, беглые кандальники, нищие, па-

ломники, странствующие труппы акробатов, благородные трубадуры и простые разбойники. Все они и еще масса крестьян, разоренных несколькими годами засухи и неурожая, после клермонского призыва Папы Урбана: «На Иерусалим!» — потянулись к юго-востоку. Грабежей и насилия по пути их следования — в Чехии, Моравии, Венгрии — сразу стало больше в несколько раз. Шайки нападали на местных жителей и, крича, что они идут воевать Гроб Господень, требовали еды и питья, угоняли скот, разоряли дома и бесчестили женщин. Справиться с ними никто не мог. Дело дошло до народных волнений, и венгерский король Калман, только что пришедший к власти в стране, осенью 1096 года взял в заложники младшего де Бульона, чтобы вынудить Готфрида обсудить на переговорах меры предотвращения новых бесчинств групп «авантюрьеров» (так тогда называли стихийных участников похода — в противоположность регулярной армии крестоносцев). Готфрид и Калман встретились в небольшой деревушке, расположенной на берегу озера Нейзидлер-Зе — на границе Штирии и Венгрии, — и вначале орали друг на друга, а потом успокоились и довольно мирно определили точные маршруты следования рыцарей и пажей; там, по этим трассам, де Бульон-старший обещал обеспечивать порядок, а король получал возможность не считать крестоносцами всех вооруженных людей в прочих местностях и уничтожать беспощадно. Юный Бодуэн был благополучно отпущен из плена.

Тем не менее около 30 тысяч «авантюрьеров», возглавляемых неимущим рыцарем Вальтером Голяком и его духовным учителем, проповедником Петром Пустынником, летом того же года подошли к Константинополю. Византийский император Алексей Комнин, крайне обеспокоенный этим нашествием, отдал приказ немедленно переправить чужеземное войско на греческих кораблях через Мраморное море в Малую Азию.

На подходе же к Палестине «авантюрьеры» натолкнулись на прекрасно обученные вооруженные силы турок-сельджуков и со всей неизбежностью были разгромлены. Вальтера убили, а Петру удалось спастись. Вместе с тремя тысячами уцелевших однополчан он вернулся в Европу и в дальнейших боевых действиях не участвовал.

В это время, ближе к зиме 1096 года, к византийской столице подтянулись рыцари во главе с двумя де Бульонами и другими герцогами. Император Комнин, опасаясь захвата и разграбления города, предложил им достаточно выгодные условия договора о дружбе и ненападении. Западные воины разругались между собой (братья Константинополь или не брать?) и едва не разодрались, но потом согласились с греками. «Братья-православные» брали на себя материальную часть — обеспечивать «братьев-католиков» провиантом, фуражом, медицинскими препаратами и кораблями. Зимой крестоносцы скоротали во Фракии. А весной великан-бургундец, отправляя младшего брата в Лотарингию за дополнительными войсками, вспомнил об Адельгейде и велел Бодуэну на обратном пути сделать крюк в Ломбардию и забрать с собой несчастную русскую...

Накануне отъезда из Павии Паулина вышла проститься со зрителем зверинца Филиппо. Он пытался ее обнять и поцеловать, но она отстранилась со словами:

— Поздно, дорогой. Не судьба нам быть вместе. Разбежались наши, как говорится, стежки-дорожки.

Итальянец бубнил:

— Ты скажи только слово, милая Паола, — мол, поедем вместе, я согласна быть твоей супругой! И клянусь, все брошу — клетки, королеву, Павию, Италию — и отправлюсь следом. В Венгрию так в Венгрию. Мне всё едино. Лишь бы не расставаться.

— Ишь какой горячий! — улыбалась немка. — Ублажил пылкими словами — точно маслом по сердцу...

Но, увы, Филипп, ничего не выйдет. Я тебя не люблю. Хоть убей — ну, ни капельки. Ты хороший человек, верный, добрый друг, но не больше. Не воспринимаю тебя как мужчину.

— Стерпится — слюбится.

— Никогда. Не хочу. Не надо.

Тот опять полез обниматься, но служанка оттолкнула его, подняла палец кверху и взволнованно прошептала:

— Тс-с, не шевелись!

— Ну, пожалуйста, дорогая, ну, хотя бы разик, — стал канючить мужчина.

Женщина безжалостно цыкнула:

— Тихо! Замолчи! Слышишь?

— Что? — не понял слуга. — Ни единого шороха.

— Затаи дыхание... Кто-то пилит, нет?

Неудавшийся жених по-гусиному вытянул шею:

— Да, возможно... Вроде звук пилы. Но откуда?

В такое время?

— Вроде бы с конюшни. Что пилить на конюшне в полночь?

— Да, действительно? Непонятно.

— Надо посмотреть, — заявила Шпис.

— Ой, а стоит ли? Разве наше дело — за чужими подглядывать?

— Вероятно, не наше. А вдруг наше? Я, пока не уеду из этого замка, не могу быть ни в чем уверена!

Осторожно, на цыпочках, вынырнули из сада и, стараясь оставаться в тени, избегая отблесков факелов, побежали к боковому входу в конюшню. Через щелочки заглянули внутрь.

— Что ты видишь? — прошептал Филиппо.

— Ни черта не вижу. Но ведь пилят — явно!

— Явно пилят, да.

— Я зайду. Жди меня снаружи. Позову — приходи на помощь.

— Береги себя.

— Да уж постараюсь... — И она приоткрыла створку дверей.

В темноте освоилась быстро. Увидала, как в дальнем углу полыхает свечка. И как раз оттуда шел звук пилы.

Аккуратно ступая, подобралась. Выглянула из-за столба, подпиравшего крышу. Разглядела возок — тот, что Конрад выделил Адельгейде, — и фигуру в черном, возле задней оси... Человек подпиливал ось!

— Ах, скотина! — не сдержалась немка и, схватив висевшие вожжи, от души протянула незнакомца поперек спины. — Что ж ты делаешь, пакостник такой?

Тот отпрянул, выронил пилу, обернулся.

Паулина узнала Лотту фон Берсвордт.

Обе женщины стояли друг против друга несколько мгновений. Первой пришла в себя служанка:

— Ну, паскуда, гадюка... Наконец-то Провидение нас свело. Ты сейчас ответишь за свои гнусные делишки.

Наклонившись и взяв пилу, каммерфрау ответила:

— Ну, достань, попробуй. Я сейчас покончу с тобой, а потом доберусь и до хозяйки.

— Не дотянешься. Руки короткие, — заявила служанка.

— Мы сейчас посмотрим...

Медленно ходили вокруг столба, и никто не решался броситься вперед первой. Просто оскорбляли друг друга.

— Жаль, что Генрих не повесил тебя в Вероне, — говорила простолюдинка. — Мне приходится выполнять чужую работу.

Но дворянка парировала достойно:

— Я в Вероне оказалась на дыбе по твоей милости. И опять же по твоей милости Генрих вздернул несчастного дона Винченцо... Ты сейчас заплатишь за это.

— Что ж ты медлишь, фройляйн? Или трусишь, уважаемая белая косточка? Опасаешься моей, черной?

— Просто думаю, что тебе отпилить раньше: голову или зад?

— Фу, какие мы грубые! Каммерфрау ее величества не должна употреблять такие слова.

— Поучи еще меня хорошим манерам, быдло!

— Да приходится учить, если вы ругаетесь, как последний конюх! — И, не выдержав, Паулина стеганула ее вожжами по лицу.

Берсвордт поскользнулась, но в падении подсекла ей ногу, и служанка упала на спину, в кучу соломы. Лотта воспользовалась этим и набросилась на нее с пилкой. Паулина отпихивала от себя железные зубья, а Лотта давила что есть мочи, и металл почти что касался обнаженной шеи противницы. Вот еще мгновение — и вопьется в горло... Паулина чувствовала его холод... И, напрягшись, саданула дворянке коленом ниже живота. Благородная дама взвыла от боли и скатилась на бок. А соперница отшвырнула ногой пилу и, насев на дворянку, стукнула ее кулаком по лицу.

Берсвордт уклонилась от второго удара и ударила ей подошвой в пах.

Отлетев, Паулина врезалась затылком в деревянный столб и сползла по нему, теряя сознание.

— Вот и всё, — тяжело дыша, прохрипела Лотта. — Дело сделано. Остается только отворить дверцу для ее души... Пусть летит на волю! — Подняла пилу, встала перед Шпис на колени и с оттяжкой занесла руку, чтобы полоснуть лезвием по горлу.

И свалилась тоже, запрокинувшись на спину.

Это подоспевший Филиппо вырубил ее подвернувшимся под руку хомутом. И второй раз огрел, для верности, чтоб не поднялась.

Бросился к служанке, начал приводить в чувство. А когда она открыла глаза, сразу упрекнул:

— Почему на помощь не позвала, как договорились?

Шпис, кряхтя и морщась от боли, села. Простонала жалобно:

— Про тебя забыла... Ой, как плохо мне! Ты в глазах двоишься... Ха-ха-ха, два Филиппа! Если выйду за тебя, могут обвинить в многомужестве...

— А пойдешь, пойдешь? — загорелся он.

— Ах, отстань... Мне не до того...

— В благодарность за спасенную жизнь?

— Хвастунишка... Я подумаю до утра... Где проклятая Лотта?

— Я ее успокоил... — Наклонившись, итальянец сказал: — Кажется, совсем...

Паулина ответила:

— Вот и правильно. Так ей, злой колдунье, и надо.

— Да, теперь меня за убийство повесят.

— Кто ж узнает? Если спросят, то я отвечу, что всю ночь был в моей постели...

— Я в твоей постели?

— Ну конечно. Разве ты не хочешь?

— Значит, можно?

— Глупый ты, Филипп! Я твоя должница. А долги надо отдавать.

Он помог ей подняться, и они, обнявшись, вышли из конюшни.

А наутро только несколько человек провожали де Бульона с компанией: сенешаль замка, капеллан и немного слуг, в том числе и Филиппо. Перед самым отъездом появился Конрад: он поцеловал Адельгейде руку, обнял и растроганно пожелал счастливого путешествия. Сообщил:

— Нынче ночью кто-то раскроил череп Берсвордт. Тело ее было обнаружено на конюшне.

— Боже правый! — ахнула Опракса. — Кто же это сделал?

— Неизвестно. По-христиански жаль ее, но вообще-то я Лотту не любил.

— Да, я тоже.

Вместе с Паулиной Адельгейда села в повозку, и отряд Бодуэна поскакал к воротам. Шпис молчала о под-

пиленной оси, чтоб не выдать ни себя, ни зрителя зверинца; оба свежее испеченных любовника лишь раскланялись на прощание, не сказав друг другу ни слова. И какие могут быть слова, если расстаешься навеки?

Выехав из Павии рано утром, вскоре миновали Милан и заночевали в Бергамо. Двигаться по достаточно узким альпийским дорогам было сложно, а особенно в марте, по весенней распутице, но никто из конников, слава Всевышнему, в пропасть не сорвался. Бывшая государыня, сидя в экипаже, полной грудью вдыхала чудодейственный горный воздух, закрывала глаза от яркого солнца, говорила сама себе: «Господи, свобода! Наконец-то свобода! Может, мне еще улыбнется счастье?» — но при этом, разумеется, понимала, что в Италию больше никогда не вернется. И какая-то смертельная тоска холодила сердце: так и не успела хоть в малой степени насладиться дарами этого чудесного края — морем, уникальной природой, безмятежно поваляться на солнышке, поплясать на простом деревенском празднике... Позади — обиды, позор, скорбные могилы Груни Горбатки и сына... Бедный Лёвушка! Не сердись на свою бездольную мамочку, не сумевшую прийти, чтобы попроситься; ты ведь знаешь: если бы могла, то пришла бы...

Вслед за озером Комо горы сделались очень высокими, с ослепительным снегом на вершинах. Паводок в реке Инн был немал и высок, и стремительное течение размывало дорогу, иногда затопляя ее, доходя лошадям до голеней, а повозкам — под самое днище. Неожиданно поломалась задняя ось — та, что подпиливала Берсвордт, но, по счастью, никто не пострадал. Привели мастеров из маленькой горной деревушки, и за три часа всё было починено. В остальном же отряд де Бульона-младшего следовал без задержек, молодой Бодуэн вел себя по отношению к дамам более чем галантно и решительно пресекал каждую попытку своих пажей пококотничать с ними.

Отдыхая в крепости Инсбрук, за стаканом грога, юный герцог сказал о брате:

— Он излишне сентиментален. Зря пошел на мир с греками: надо было брать Константинополь.

— Вы немилосердны, мой друг, — упрекала его Евпраксия. — Греки — такие же христиане. А Христос учил: нет ни иудея, ни эллина, есть творенье Божье по имени человек — по Его образу и подобию.

— Но иначе раскол церквей не преодолеть: греки не хотят подчиняться Папе.

— И не надо. Пусть у каждого будет свой обычай молиться.

Молодой человек хмурил брови:

— Вы опасная еретичка. Видно, николаиты повли-
яли на вас очень сильно.

— Ах, оставьте, при чем тут николаиты? Я сама по себе считаю, что нельзя веру насаждать огнем и мечом. Христиане против насилия.

— Вы противоречите Папе Римскому: он благословил христиан на поход.

— Если Папа противоречит заповедям Иисуса...

— А-а, так вы против Папы! Вот оно, влияние Генриха!

— Хорошо, не станем толковать дальше, а не то поспоримся.

Возле крепости Хоэнзальцбург их уже поджидало пополнение, шедшее из Баварии, Лотарингии и Швабии. Впереди были Австрия и Венгрия. Как-то встретит приезд племянницы тетя Анастасия? Да жива ли она вообще?

Десять лет спустя, Русь, 1107 год, осень

От игумена Феоктиста прибежали за сестрой Варварой: приглашают к его высокопреподобию. Та явилась. Настоятель Печерской обители сказал: прискакал гонец от князя Святополка, ждут ее во дворце.

— Что-нибудь стряслось? — испугалась женщина.

— У него посол от германского императора. И желают поговорить, дочь моя.

— Да зачем же? Я не хочу.

— Неудобно отказывать, не упрямясь, пожалуй. Человек приехал издалека, по таким-то погодам.

Евпраксия, помявшись, кое-как согласилась. Дали ей возок, лошадь и возницу, и она отправилась.

Во дворце поднялась в залу для пиров — гридницу. И не сразу узнала в поседевшем, полысевшем мужчине Кёльнского архиепископа Германа — порученца Генриха IV, приезжавшего за ней в Штирию и Венгрию. А теперь, получается, служит новому самодержцу — Генриху V?

Герман встал, поклонился и сказал по-немецки:

— Рад, что вижу вас в полном здравии, Адельгейда.

— Милостью Божьей еще жива. Только я не Адельгейда уже, а сестра Варвара.

— Понимаю, да.

Сели. Помолчали. Евпраксия спросила:

— Что вас привело в Киев?

— Приказание его императорского величества Генриха Пятого. Он взывает к вашей милости — просит помощи в деле похорон своего отца.

У монахини по лицу пробежала нервная дрожь:

— Как, простите? В деле похорон? Я не понимаю. Ведь насколько мне известно, бывший мой супруг умер год назад!

Немец согласился:

— Совершенно верно. Но лежит до сих пор непогребенный, так как церковь, что подвластна Папе, не дает согласия на захоронение по чину императора, ибо был отлучен и предан анафеме.

— Страсть какая! Это ж грех великий — тело не предавать земле. Где же он лежит?

— В маленькой, неосвященной Шпейерской часовне. Тамошний епископ, давний враг усопшего, продол-

жает упорствовать. А поскольку вы были в хороших отношениях с Урбаном Вторым, то могли бы повлиять на епископа, чтобы он выдал тело. Генрих Пятый просит вас отправиться в Шпейер.

Евпраксия похолодела:

— Ехать снова в Германию? Это невозможно.

— Отчего? Три недели пути — и мы на месте. К Рождеству возвратитесь на родину.

— Нет, и не просите. Я давно отрешилась от мирских дел.

Герман покачал головой:

— Разве похороны его величества лишь мирское дело? Долг не только гражданский, но и духовный. Вы любили покойного и имели от него сына. Генрих Четвертый в завещательном предсмертном письме, продиктованном мне лично, всех простил: Конрада и Генриха-младшего, Урбана и вас. Неужели вам, человеку Божьему, трудно простить его в свою очередь и помочь с погребением?

Женщина замялась:

— Я давно простила его... Тоже написала примирительное письмо и передавала с купцами, но оно, к сожалению, опоздало... Я должна подумать. Посоветоваться с родными... Завтра дам ответ.

— Превосходно, я жду.

Вся в смятенных чувствах, Ксюша помчалась в Вышгород к матери. Та была в обычном расслабленном состоянии и невозмутимо сказала:

— Почему не поехать, тэвочки моя? Что плёхой между вами был, всё уже забыл, всё быльем зарос — после драка кулаками нельзя махать. А помочь надо.

— Маменька, голубушка, это тяжело! — на каком-то надрыве выкрикнула дочка.

— А земной жизнь есть вообще тяжел. Ничего, ничего, ты такая сильный. Оставлять тело без могил — тяжелей еще. Ты сама себе места не найти, если не поехать.

На обратном пути Евпраксия завернула в Андреевскую обитель — повидаться с Ваской, Катей и Серафимой. Васка уже поправилась и ходила в школу, а сестра никак не могла решить, оставаться ей в Янчином монастыре или перебраться в Печерский. Весть о том, что Опракса до конца года может пропутешествовать в Германии, вроде даже обрадовала ее:

— Вот и хорошо, я пока останусь. А потом видно будет.

— И тебя не страшит наше расставание?

— Безусловно, милая, но я верю, что за расставанием будет встреча. Ты должна поехать. А иначе не простишь себе никогда.

Девочка поддакнула:

— Да, поехать надо, только не одной.

— С кем еще?

— Так со мною.

Евпраксия снисходительно рассмеялась:

— Вот еще придумала!

— Маменька, пожалуйста, ну поедem вместе!

— Даже не проси! Я сама умираю от страха, как подумаю, что опять отправлюсь за тридевять земель, а еще за тебя бояться! Нет, останешься дома. Береженого Бог бережет. — Посмотрела на Серафиму: — Ну а ты что мне посоветуешь?

Бывшая келейница поддержала общее мнение:

— Да, нельзя не пойти навстречу пасынку. Коль послал сюда человека, значит, ты его единственная надежда. Хочет упокоить отца. Как ему откажешь?

Из груди Варвары вырвался вздох:

— Понимаю: вы правы. А душа отчего-то ноет.

— Ясно: от сомнений. Примешь вот решение — сразу успокоишься.

— Я еще посоветуюсь с отцом Феоктистом.

Настоятель Печерского монастыря, выслушав ее, ласково спросил:

— Дочь моя, что тебя страшит больше — дальняя

дорога или нежелание оказать услугу своему давнему обидчику?

— Ах, ни то ни другое, отче. Я на Генриха больше не сержусь. Бог ему судья! К тяготам дороги тоже отношусь трезво. Просто неизвестность меня гнетет. И разлука с дорогими людьми.

— Стало быть, смирись. Долг превыше страхов. Я благословляю тебя на духовный подвиг. Ты должна вынести невзгоды и свершить святое предназначение. Судя по всему, Небо хочет этого. — И перекрестил ее трижды.

Ксюша подчинилась.

Выезжали 30 октября, в мелкий дождик, что считалось благоприятной приметой для отъезда. Герман скакал верхом, а Опракса двигалась в закрытом возке, с небольшим сундучком, где везла необходимые в дороге вещи и лекарства. Вспоминала, как ее впервые увозили в Германию — больше двадцати лет назад: пышно, целым свадебным поездом, кавалькадой, с верблюдами... А теперь — скромно, очень буднично и в сопровождении всего пятерых немцев-всадников...

Первую остановку сделали в Житомире. Ужинали вместе в гостинном дворе, говорили о ситуации в Германии, об итогах Крестового похода. Евпраксия узнала, что союзные войска европейцев, переправившись на греческих кораблях в Малую Азию, тяжело пробивались с боями к Иерусалиму и в конце концов овладели городом летом 1099 года. Было провозглашено Палестинское христианское княжество, во главе которого встал Готфрид де Бульон. Через год он умер, заразившись тропической лихорадкой, и престол унаследовал его брат. Так что цель вроде бы достигнута и Святая земля освобождена, но неверные окружают христиан со всех сторон, без конца нападают, и приходится посылать на Ближний Восток новые и новые войска для отпора противнику; а энтузиастов все меньше, денег тоже, и не ясно, сколько Бодуэн сможет продержаться.

— А нашли ли священный сосуд Сан-Грааль? — задала вопрос Евпраксия.

— Я не знаю, не слышал, — отвечал ей Герман. — И признаться, считаю, что его не существует в природе. Это всё легенды из песен трубадуров...

Помолчав, Ксюша попросила:

— Расскажите мне о последних днях Генриха Четвертого.

Немец посмотрел с неохотой, но потом решил, что нельзя ей отказывать.

— Он, конечно, не признал отлучение от церкви на соборе в Пьяченце, где вы выступали, и продолжил править частью Священной Римской империи, остававшейся у него в подчинении. Даже собирался ехать в Святую землю, чтобы помогать Бодуэну де Бульону, передав бразды правления Генриху-младшему. Но как раз в это время новый Папа, избранный после смерти Урбана Второго, правящий и ныне — Пасхалий Второй, — снова отлучил императора от церкви. И провозгласил императором Генриха Пятого.

— Сын с отцом находился в ссоре?

— Часто враждовали, но не менее часто и мирились. Сын просил отца подчиниться Папе, и тогда конфликт будет разрешен. Генрих-старший вроде бы ответил согласием, и к нему прислали папского легата. Но они сразу же поссорились, и легат отказал самодержцу в отпущении грехов. Рассердился и младший Генрих. Он напал на отца, посадил под арест в замок Бекельхайм, а епископ Шпейерский вынудил монарха подписать отречение. И на съезде в Майнце двадцать седьмого декабря тысяча сто пятого года Генрих Пятый был повторно коронован.

— А его родитель?

— А его родитель, выпущенный из Бекельхайма, ускакал в Льеж, где и объявил свое отречение недействительным, ибо было подписано оно под угрозой смерти. Он решил бороться с сыном за престол. Центром со-

противления выбрал Кёльн. Генрих Пятый осадил город и попытался взять его штурмом. Вряд ли бы это удалось, если б Генрих Четвертый не скончался. Перед смертью я его причастил и собственноручно записал последнюю волю — он прощал всех своих врагов, в том числе и сына.

— Ну а сын?

— Сын похоронил его в Шпейерском соборе. А когда уехал, Шпейерский епископ, не согласный с этим решением, вынул тело из саркофага и удерживает непогребенным полтора года.

— Господи Иисусе! Что же Генрих Пятый не повлияет?

— Шпейер находится в княжестве Пфальц, а оно не подвластно императору.

— Ну и чудеса! — удивлялась Ксюша невесело.

А потом, оставшись одна, долго молила Деву Марию о защите и покровительстве в деле упокоения бывшего супруга.

Двадцать четыре года до этого, Германия — Русь, 1083 год, лето

Сватать четырнадцатилетнюю Евпраксию Всеволодовну из Германии прибыла ее тетка — маркграфиня Ода фон Штаде.

Дело в том, что Ода была второй женой старшего сына Ярослава Мудрого — Святослава Ярославича. Вместе жили они недолго, но счастливо, правили Киевом три года и родили сына. Но внезапно у князя на щеке появился фурункул, вскрыли его неудачно, и от заражения крови Святослав умер. Безутешная вдова с маленьким ребенком отбыла в Германию, увезя с собой громадное состояние...

И никто не знал, что княгиня перед отъездом спрятала в днепровских пещерах ценностей не меньше, взять с собой которые просто не смогла. А потом искала

предлог возвратиться в Киев за второй половиной своих сокровищ.

Что ж, предлог был выбран достаточно убедительный. Северной землей в Саксонии, Нордмаркой, правил ее брат, Удон II фон Штаде. В тридцать девять лет он скоропостижно скончался, поскользнувшись на лестнице и разбив затылок о каменную ступеньку. И оставил после себя процветающие поместья, многочисленные амбары, полные пшеницы и проса, винные погреба, две суконных мануфактуры и немалые стада коров и овец. Все это досталось его сыновьям — Генриху по прозвищу Длинный, семнадцатилетнему юноше, и тринадцатилетнему Людигеро-Удо. В общем, тетя сделала предложение старшему племяннику: мол, она съездит в Киев и сосватает за него княжну Евпраксию, за которой дадут приданого — видимо-невидимо.

Генрих Длинный, тощий, нескладный молодой человек, рыжий и лопоухий, сплошь в больших и маленьких конопушках, с недоверием смотрел на нее, невысокую тридцатилетнюю даму, полноватую и довольно милую:

— Право, тетя, я озадачен. Может быть, найти невесту из наших?

Ода возразила:

— Глупости, мой друг, у тебя напрасные опасения. Русские такие же христиане, как мы; чуточку наивнее и попроще, чуточку упрямее и суровее, а вообще люди славные и гостеприимные. Я вон прожила среди них столько лет и, как видишь, жива-здорова.

Юноша по-прежнему сомневался:

— Да она, наверное, ни бум-бум по-немецки...

— О, не страшно. Мы ее отдадим подучиться в Кведлинбургский монастырь. Пусть штудировать языки, примет католичество, разовьется как следует. Ей ведь ныне всего четырнадцать. А когда шестнадцать исполнится, свадебку сыграете.

Генрих Длинный молча поморгал и спросил напоследок:

— Да она хороша ль собою?

— Просто прелесть! — с воодушевлением воскликнула тетка. — В ней намешана скандинавская, славянская и куманская кровь. В результате вышел ангелочек — глаз не оторвать! И смышленная очень. Ты не пожалеешь, верно говорю.

Наконец он сдался и кивнул со вздохом:

— Хорошо, согласен. Отправляйтесь и, коль сговоритесь, привезите ее вначале сюда, в Штаде, для знакомства, а потом уж отправим в Кведлинбург.

— Так и сделаю, дорогой, можешь быть спокоен...

...Евпраксия вышивала на пяльцах в мастерских Андреевского монастыря, как вошла келейница Серафима и произнесла низким голосом:

— Душенька Опраксушка, милости прошу к ее высокопреподобию. Ждут к себе немедля. Поспешай, родимая, дабы матушка не почали гневаться. Ныне сутрева в нерасположении духа.

— Ах! — воскликнула четырнадцатилетняя княжна. — Не иначе, дурные вести. Может, батюшка неожиданно-негаданно захворали? Или с братцем Володимиром Мономахом что? Ой, не приведи Бог! — И, перекрестившись, устремилась к двери.

Был июнь. Солнце жарило рьяно, прямо-таки вцепляясь в черную материю ее платья. Туфельки шуршали по белому раскаленному камню бесконечного ряда ступенек. Если глянуть с высокого крыльца, можно рассмотреть за стеною монастыря вымощенный Андреевский спуск, ведущий ко Владимирской горке. Именно с нее, по преданию, сто лет назад и крестил ее прадед киевлян...

Девочка вошла в Янчины палаты. Янке было в ту пору тридцать три года. Стоя у оконца, настоятельница смотрела во двор, и ее худая длинная фигура в черном балахоне выглядела точно обугленное дерево посреди сильного лесного пожара. Повернула голову в сторону вошедшей. Тень от рамы вроде разрезала ее

лицо: нос немного приплюснутый, плотно сжатые не-
добрые губы...

— А, явилась не запылилась, — проворчала игуменья, подойдя к сестре. — Говорят, в последнее время делаешь успехи. На латыни болтаешь бойко. Ну-тка переведи: «*Fortuna tibi favet*».

Девочка наморщила лоб:

— «Счастье... тебе... благоволит...»

— Совершенно правильно. Но об этом есть и другое изречение: «*Fortuna vitrea est, tum, cum splendet, frangitur*». Понимаешь? «Счастье порою разбивается, как стекло, в миг его особого блеска». Никогда нельзя забывать, чтоб не загордиться.

Евпраксия согласно поклонилась. Настоятельница монастыря протянула руку и взяла двумя пальцами нежный подбородок сестры. Подняла ее лицо к свету, рассмотрела внимательно: смуглая, с оттенком гречишного меда, кожа, сросшиеся брови, острый носик, карие глаза, словно два умытых дождем лесных ореха, загнутые кверху ресницы... Да, она была хороша! А со временем превратится просто в красавицу — безусловно. Почему одним всё, а другим ничего? Чем Господь прогневался на Янку? Обделил женской привлекательностью, а потом и разбил надежды на семейное счастье? А вот этой пигалице, половчанке, соплячке — и пригожесть, и отменное сватовство? Ненавижу ее, задушить готова!

— Не томи мою душу, сделай милость, — жалобно сказала юная княжна, не сумев по-взрослому выдержать устремленного на нее холодного, хищного взгляда. — Для чего кликнула меня? Не случилось ли что худого с тятенькой и маменькой?

Верхняя губа игуменьи иронически дрогнула:

— Маменька твоя!.. Что с ней станется? — Отпустила подбородок малышки. — И отец, слава Богу, здоров и бодр. От него прибежал посыльный. Велено тебе идти во дворец, в лучшие наряды облечься и предстать пред их сиятельны княжьи очи.

— Что за надобность — сообщи, не мучь!

— Скоро всё узнаешь. — Янка посмотрела на нее с долей жалости: — Не трясись, дуреха. Чай, не голову тебе сечь ведут. Живота не тронут. — И перекрестила напутственно: — Ну, ступай, ступай, время дорого. У ворот увидишь Груню Горбатку и холопа Микешу — с ними и пойдешь.

Поклонившись, Евпраксия скользнула за дверь. Ног не чуя, проскакала по лестницам и пошла вприпрыжку через жаркий, раскаленный полуденным солнцем двор. Тут навстречу ей стали появляться из мастерских ее одноклассницы. В том числе и две сердечных подруги — Фекла по прозвищу Мальга и Екатерина, Катя Хромоножка. Фекла происходила из боярского рода Вышатичей, но ее родители умерли, а из родственников остались только дяди — Ян Вышатич и Путята Вышатич. Оба посчитали за благо приютить племянницу в школе для девочек при монастыре, уплатив за ее полное довольствие. Бедная же Катя, несмотря на увечье — родовую травму, вывихнутый бедренный сустав, — сохраняла доброту и веселость. Обе, заметив Опраксу, сразу подошли, начали выпрашивать: для чего позвали? Что случилось?

— Ой, не знаю, не знаю, — ни жива ни мертва говорила Ксюша, осеняя себя крестом. — Батюшка в палаты зовут. Для не ясно какой затеи.

— Может, сватать будут? — вслух подумала Хромоножка. — Очень даже просто.

— Неужели? — похолодела сестра. — Я умру от страха!

— Душенька, Опраксушка, — улыбнулась Мальга, — коли отдадут тебя за какого-нибудь заморского принца, прихвати и меня с собою в чуждадельные страны! Страсть как хочется поглядеть на мир!

— Ясно, прихвачу, — нервно рассмеялась подруга. — Вместе-то надежней.

У ворот ее поджидала Груня Горбатка, пожилая

нянька, и холоп Микеша, парень лет шестнадцати, бывший у князя на посылках. Оба поклонились при виде маленькой хозяйки.

— Грунечка, голубушка, — бросилась она к челядинке, — растолкуй, сделай милость, на какую такую надобность я сдалась отцу?

— Ох, кровиночка ты наша, буйная головушка, — обняла ее скособоченная служанка. — Увезут тебя от нас к бусурманам лютым, за четыре моря! — И расплакалась чуть ли не навзрыд.

— Тьфу, Горбатка, полно голосить! — сплюнул провожатый. — Ты не слушай ея, дуру окаянную, Евпраксея свет Всеволодовна. Никакие не бусурмане лютые, а вдова Святославова из Неметчины пожаловали — выдавать тебя за немецкого племянника, богатея-вельможу.

— Свят, свят, свят, — прошептала княжна. — Да неужто правда?

— Вот те крест — не вру!

Не прошло и полутора часов, как ее, разодетую в парчу и меха, с длинной толстой косой, перекинутой на грудь, в золотой диадеме шириной в два пальца, всю в бриллиантах и яхонтах и с височными золотыми кольцами, вывели в просторную залу-гридницу — главную палату дворца.

Во главе стола восседал отец — Всеволод Ярославич, плотный широкоплечий мужчина, у которого левая бровь была рассечена саблей; этот шрам придавал его лицу выражение постоянного удивления.

Справа от него находился Ян Вышатиц — старший дядя Феклы-Мальги, киевский тысяцкий, воевода, с крупной сединой в волосах и серьгой в правом ухе.

Слева занимал место митрополит Иоанн II в белом клобуке и просторной рясе; из-под бороды клинышком у него блестел серебром тяжеленный крест. Был он константинопольский грек и не одобрял связей Киева с Западом.

Дальше располагались приближенные князя — видные дружинники, знатные бояре и старейшины города. На такие пиры женщин не пускали, но сегодня сделали исключение: по одну сторону от князя разместилась его супруга — половчанка Анна, по другую — Ода фон Штаде. Евпраксия помнила ее смутно (та уехала в Германию шесть лет назад, девочке тогда было восемь), но теперь, после слов Микеши, сразу восстановила в памяти.

Поклонившись в пояс, Ксюша прошептала:

— Здравия желаю всем честным господам, а великому князю и великой княгине в отдельности. Звал ли, тятенька? Правду ли поведали, что имеешь ты надобность во мне?

Всеволод отпил из высокого червленого кубка, согнутым указательным пальцем вытер край усов; на перстах его горели драгоценные кольца. Ласково взглянув серыми глазами на дочь, утвердительно покивал:

— Здравствуй, здравствуй, Опраксушка, самая пригожая моя дочь. Как идет учение, много ли познаний праведных ты в себя впитала?

— Слава Богу, порядочно. Слов дурных от наставников не слыхала.

— Умница, хвалю. И горжусь тобою. А теперь услышь княжье и отеческое мое повеление. Надлежит тебе этим летом следовать в германские земли, к будущему мужу — графу Штаденскому. Во главе поезда поскачет Ян Вышатич, а с собою возьмешь надлежащую прислугу и знатное приданое. Я скупиться не стану, лучшее отдам, что смогу. Тем продолжу деяния моего великого тятеньки Ярослава, укреплявшего узы Иеропии и Руси. И да будет по сему!

Юная княжна в знак покорности наклонила голову, приложив руку к сердцу, и затем, волнуясь, проговорила:

— Как прикажешь, отче. А дозволь просьбу высказать?

— Говори, не таись, хорошая.

— Разреши взять с собою Феклу-Мальгу как мою любимую дружку? У нея такое желание, да и у меня тож. Мы вдвоем, обе-две, верно не погибнем посреди чужеземцев!

Все заулыбались речи Евпраксии, а отец ответил:

— Я бы согласился, будь на то воля попечителей ея, Яна да Путяты.

Пожилой воевода покачал серьгой в ухе и покашлял в кулак. А потом сделал разъяснение:

— С братцем мы давно в расприх. У него спрóbите отдельно. А с моей стороны возражений нет. Пусть Мальга поедет, может быть, и счастье свое отыщет. В жизни ить, известно, происходит всяко.

Так и рассудили. Только митрополит пробубнил с неодобрением:

— Никакого счастья у еретиков-латинян быть не может. Лишь разврат и смута.

Киев постоянно лавировал между Западной Европой и Константинополем. Всеволод пышно принимал послов от Генриха IV, воевавшего с Папой, но открыто не поддерживал. А митрополит, ненавидевший католиков, в споре Генриха и Папы все-таки склонялся в пользу Папы, нежели «антипапы» (то есть вел себя, как и Константинопольский Патриарх). Словом, князь нередко поступал, не считаясь с первосвятителем, Иоани же позволял себе иногда словесные выпады против князя. В целом же друг с другом уживались неплохо.

Вскоре после пира в терем к Евпраксии, милую светелку, где она жила, поднялась тетя Ода. Заглянула в дверь и сказала на вполне сносном русском:

— Тук-тук-тук, мощно заходить? Я не потрефошу покой будусчий графинь?

Девочка вскочила с колен, потому что молилась перед образами в Красном углу, и, залившись румянцем, вежливо склонилась в поклоне.

— О, мин херц, мне не нушен цирлихь-манирлихь. Мы с топой же родные, йа? — И она по-матерински обняла Ксюшу. — Мой племянник Хенрихь повелел клаяться тебе и преподнести айне клайне подарок в знак лубоф унд на добрый лад — так, понятно, йа? — Немка отцепила от пояса небольшой кожаный мешочек и достала оттуда серебряную коробочку на цепочке. — А тепер смотреть, што фнутри этот медальон! Айне гроссе интересе!

Дочка Всеволода надавила на пупочку сбоку, верхняя пластинка подпрыгнула, и под ней оказался вырезанный из кости профиль молодого мужчины, прикрепленный на темно-фиолетовый самоцвет, выполнявший роль контрастного фона. Миниатюра была необычайно изящной. Ода объявила:

— Это есть господин Нордмарки, маркграф фон Штаде, Хенрихь Ланг, што по-русски Длинный, — тфой шенихь! Мошно надефать цепочка на шея и носить, как ладанка, штоп не сапыфать! Ты дофольна, йа?

Профиль был как профиль, никаких эмоций он не вызывал, но из вежливости пришлось согласиться:

— Благодарствую, тетушка, за заботу и ласку. Буду носить на шее и молиться за здоровье его светлости.

— Гут, гут, ошень карашо!

Немка была действительно довольна: сговор состоялся, и, пока он шел, слуги маркграфини, бывшей великой княгини Киевской, выкопали из указанной ею пещеры сундуки с богатствами, погрузили на крытые повозки и доставили в условное место, вне Киева, чтобы присоединиться к свадебному поезду, отправлявшемуся в Германию. И наверное, из приданого Евпраксии Генрих Длинный что-нибудь ей отвалит, отмечая тетины заслуги в устройении выгодного брака. Так она обеспечит безбедную жизнь и себе, и сыну!..

А подружки Ксюши, рассмотрев профиль в медальоне, заключили веско: некрасив, но и не дурен. Фекла заявила:

— Ай, с лица, известно, воду-то не пить. Главное — богатый да знатный.

— Нет, ну все же приятнее, если муж леп лицом и телом, — уточнила невеста.

— Может, и приятнее, только в муженьке красота — дело второстепенное. Радуйся, что идешь не за старика и не за уроды. Вот бы натерпелась тогда!

Катя Хромоножка поддержала ее:

— Ох, счастливая ты, сестрица! Вот меня, убогую, век никто не просватает.

Будущая графиня, пожалев бедняжку, обняла ее и поцеловала:

— Не тужи, родимая. Стану я в Неметчине настоящей хозяйкой, обустрою дом и тебя к себе выпишу. Уломаю супруга-то. Чай, не обедняем. Будешь за моими детьми приглядывать!

И сестры хохотали от радости.

А потом у монашки Гликерьи — той, что преподавала в школе для девочек Андреевского монастыря греческий язык, географию и историю, — без конца допытывалась в деталях: какова страна Германия, с чем ее едят? И совместными поисками в умных книгах выяснилось вот что.

Триста лет назад простиралась от Испании до Чехии и Польши необъятная держава императора Карла Великого. А когда он умер, то его империя быстро развалилась на части. К западу возникло королевство Франция, к югу — Италия, на востоке — Германия, между ними — Бургундия. И Германия, в свою очередь, состоит из отдельных княжеств-герцогств — Швабского, Баварского, Лотарингского, Франконского и Саксонского. Каждое герцогство — из отдельных вотчин, «марок». Стало быть, фон Штаде в герцогстве Саксонском заправляет Нордмаркой, примыкающей к Северному морю.

А король в Германии — Генрих IV — из Франконии. И саксонцы его не любят.

Евпраксии теперь часто снились эти загадочные земли — почему-то в виде непроходимых лесов, где поют диковинные разноцветные птицы и гуляют неведомые звери — единороги. А еще снилось море — впрочем, больше похожее на Днепр, только шире, — как она и мужчина с профилем из медальона едут на большом красивом челне в сторону восходящего из воды солнца. «Господи, — молила невеста, — сделай так, чтобы все это сбылось, стало явью. Чтобы полюбил он меня, я его, и, проживши дружно, мы бы умерли, как в сказке, в один день!»

Подготовка к отъезду шла тем временем полным ходом. В сундуки холопы складывали приданое, обустривали повозки для дальней дороги, в специальном хлеву конюхи ухаживали за тремя княжьими верблюдами, поднесенными Всеволоду его тестем — половецким ханом Осенем: было решено поразить воображение немцев экзотическим видом этих животных.

В отношении к самой Ксюше вскоре обнаружились перемены: девочки-боярышни в женской школе откровенно завидовали, а учительницы-монашки спрашивали не так строго. В окружении Всеволода то и дело заговаривали о грядущей поездке и давали советы. Даже сводный брат князь Владимир Мономах, прискакавший из Чернигова, где тогда правил, по делам к отцу, встретил девочку с невиданной доселе учтивостью, по щеке погладил:

— Немчуре спуску не давай, пусть не задается. Ги-тушка моя, аглицкая принцесса, очень немцев не любит. Говорит, дикари да варвары. Ну, да ты не пасуй, знай, что за тобой — Русь!

Был он вылитый тятенька, только тридцатилетний. Портил его лишь слегка приплюснутый нос, как у Янки, — родовой знак Мономахов.

А еще у Опраксы случился памятный разговор с иудеем Лейбой Шварцем, киевским раввином. Он два раза в год приносил князю дань, собранную с еврейской

общины, и как раз сидел на скамейке в гриднице, ожидая управляющего хозяйством — тиуна, а княжна пробежала мимо. И, о чем-то вспомнив, подошла к нему.

Иудей поднялся и учтиво наклонил голову в шапочке-кипе. А невеста Генриха Длинного, посмотрев на Шварца снизу вверх, чуть прищурилась и спросила живо:

— Ты ведь, Лейба, родом из Германии — правду говорят?

Тот прикрыл веки в знак согласия:

— Точно так, да хранит Господь красоту твое и здоровье!

— Что ж, тогда поведай, как там люди живут — весело, богато?

Иноверец развел костистыми руками и пожал плечами. Было ему около пятидесяти, но морщины уже виднелись на его продолговатом лице, и залысины убежали под самую шапочку.

— Одного ответа у меня нет. Кто богаче, тот живет весело. Кто беднее — печальнее. А бывает наоборот. Как везде. Просто к нашему брату, иудею, зачастую относятся плохо. Хуже, чем в Киеве.

— Отчего же так?

— Злобы в людях больше. Предрассудков и нетерпимости. Заставляют нас пришивать к одежде желтую полосу и носить колпак с рогами, чтобы точно видеть, что идет чужак. Именно его надо бить в случае погрома. Оттого и бежим кто куда — либо на запад, к гишпанцам¹³, либо на восток, к ляхам¹⁴ и русичам.

— Понимаю... А скажи, как зовется стольный град Германии — вроде нашего Киева?

— Но такого у немцев нет.

Ксюша в удивлении вытянула губы:

— Разве так возможно? Где живет их король?

— Генрих Четвертый, с твоего позволения, проживает в замке у себя во Франконии. Часто приезжает в другие герцогства. А столицы нет, так уж повелось.

— Надо же! Престранно, — покачала головой девочка и, подумав, еще спросила: — А каков он, этот король? Ты его живьем видел?

— Видел, как твою светлость. Он высокий, стройный, держится в седле прямо. Взгляд — как молния... Про него разное болтают. Вроде бы заметит девушку пригожую — и увозит к себе в опочивальню. Ночь потешится — и зарежет. А еще, говорят, будто не признает христианский Крест... Но не надо доверять сплетням: на торговой площади всякое услышишь.

Евпраксия перекрестилась:

— Ох, не дай Бог встретиться с таким! Ничего, в случае опасности Генрих Длинный, мой жених, меня защитит. Как ты думаешь, Лейба?

— Защитит, наверное. Если Генрих Четвертый его не погубит...

Накануне отъезда князь пригласил Опраксу к себе, долго наставлял, говорил, что в семейной жизни надо слушаться во всем мужа, не перечить и не скандалить, соблюдать местные обычаи, деньги зря не тратить, а детей воспитывать в строгости и богобоязни.

— Тятенька, ответь, — задала ему вопрос дочка, — а коль скоро Генрих Длинный не окажется мне по сердцу, будет невоспитан и груб, а еще, паче чаяния, бить начнет и куражиться, — как мне поступить? Ворочаться домой без спросу или же терпеть до последнева?

Озадаченный Всеволод посмотрел на нее внимательно, и кривая, рассеченная левая бровь придавала его лицу выражение еще большего удивления. Подойдя поближе, он провел ладонью по ее волосам, чуть волнистым, мягким, цвета еловых шишек, заглянул в глаза. От отца пахло мускусным орехом: он специальной мазью нафабривал бороду, усы и прическу.

— Надобно терпеть, дочь моя. Ибо нам невзгоды даются для смирения духа. А князя да цари — человеки особые, избранные Господом для печения о простом люде. «Люб — не люб, по сердцу — не по сердцу», —

разговор не про нас. Умножение достоинства и славы Отечества — вот о чем надо думать. А своим бегством опозоришь Русь... — Он прошел взад-вперед по палате, где беседовал с девочкой, и дощатые половицы под его сафьяновыми сапожками недовольно заохали. — Муж дается Богом, и разрушить брачные узы может только Бог. Или Церковь Святая — в редких случаях. Но тебе о них лучше и не знать. Так что ворочаться домой без спросу не смей.

— Как прикажешь, отче, — поклонилась дочь.

А за день до прощания мать-княгиня завела девочку к себе в горницу. Анне минуло в ту пору тридцать лет; небольшого роста, хрупкая, не улыбчивая, половчанка посмотрела на Ксюшу строгими глазами и сказала чинно:

— Тэвочки моя, скоро расставаться, да. Я тебе давать материнский совет-мовет: не позорить себе, но держать очень высоко! «Я княжон!» — всюду помнить. У тебе предок — не одна Русь, не один Рурик, не один варяг-маряг, нет! Есть и наш куманский хан — Осень, Шарухан, Урусоба. Помнить хорошо!

— Буду помнить, матушка, — посмотрела на Анну Ксюша и слегка потупилась.

Мать порывисто притянула ее к себе и, прижав к груди, звонко чмокнула в щеку — может быть, впервые за все детство. А потом, вроде устыдившись, оттолкнула прочь:

— Ну, ступать, ступать! Душу не травить. Наш куманский женщин — плякать очень плёх!

И когда девочка, понурившись, двинулась из горницы, быстро перекрестила ее — три раза.

Тогда же, Русь — Германия

Киевляне провожали свадебный поезд Евпраксии очень пышно — в праздничных одеждах, после богослужения, с колокольным звоном и хоругвями. Впереди обоза скакал Ян Вышатич на гнедом коне. Рядом

ехал его подручный Сновидка — он трубил в серебристый рог и держал прикрепленный к седлу шест, на котором развевалось красное полотнище с белым двузубцем, снизу переходящим в крест, — символ князя Всеволода. Вслед за ними по бокам гарцевали пятьдесят добрых молодцев — из числа киевской дружины и немецких рыцарей, что сопровождали Оду фон Штаде. А в повозках тряслись княжна с теткой, Фекла-Мальга и Груня Горбатка да еще с десятков горничных-холопов. Завершали процессию три верблюда, груженных поклажей. На телегах ехали сундуки с приданым.

По пути, в Ирпени, в нескольких верстах от столицы, к ним примкнули еще три подводы — с вырытым кладом предприимчивой немки...

Появление свадебного поезда в каждом городе — по дороге — вызывало переполох: люди высыпали на улицы и таращили глаза на диковинных проезжающих; лаяли собаки, а мальчишки долго бежали следом, тыча пальцами в двугорбых уродцев.

На два дня останавливались в Гнезно. Польская столица того времени приняла гостей достаточно сдержанно: сам король Болеслав II их встречать не вышел, объяснив свой поступок недомоганием, и обнять двоюродную сестру соблаговолила его невестка, тезка Ксюши — Евпраксия Изяславна, толстая и рябая. «Что там Киев? — вяло вопрошала она. — Кто ишо помер?» — и зевнула, растворив огромную пасть, не перекрестив ее как положено.

Также на два дня останавливались в немецком Магдебурге — в доме архиепископа Гартвига. Вместе с Генрихом IV он боролся с Папой и не признавал церковных вердиктов, в том числе и закона о celibate¹⁵ католических священнослужителей. И открыто жил со своей «экономкой», подарившей ему пятерых детей. Отдохнув, путешественники погрузились в ладьи и поплыли по Эльбе на север, в Гамбург. А оттуда было рукой подать до Штаде.

Город располагался на высокой горе; из-за толстых

зубчатых стен поднимался графский замок с центральной башней — беркфритом. На ее островерхой крыше поворачивался в сторону ветра золоченый флюгер в виде вставшего на задние лапы и оскалившегося льва. Над воротами реял флаг с тем же львом, но коричневым, с желто-черным фоном. Над отдельными башнями сверкали позолоченные кресты. Через ров с водой вел довольно узкий каменный мост. Он не доходил до ворот, облицованных зелеными, белыми и черными глазированными кирпичами, обрываясь посередине: без второго, подъемного моста, опускавшегося при помощи длинных дубовых бревен с цепями, в город попасть было невозможно. Кроме того, путь преграждала железная решетка из толстых прутьев.

В авангарде поезда разудалый Сновидка громко затрубил в рог.

— Кто такие и с какой целью едете? — крикнула по-немецки охрана ворот.

Приближенный тетушки Оды также по-немецки ответил:

— Здесь ее светлость маркграфиня фон Штаде, следует с русской миссией во главе с великой княжной Киевской Евпраксией, благородной невестой вашего маркграфа!

Заскрипел деревянный ворот, и решетка начала подниматься.

Караван миновал каменные двойные стены: первое кольцо укреплений было ниже, а второе поднималось аршинов на семь, со специальными балконами, через дырки в которых на возможных противников выливали кипящую смолу или масло. Главная улица представляла собой беспорядочное нагромождение двухэтажных домов с островерхими крышами; каждый дом украшался эмблемой — птицей, зверем или цветком. В ноздри ударял отвратительный запах сточных канав. Но графиня фон Штаде как ни в чем не бывало тыкала из окна повозки пальчиком и трещала без умолку:

— Этот штрассе — улиц — называется Поросьяча Коленка, йа, йа, потому што так назыфают корчма, где иметь вайн унд швайн — рейнский вино унд тушеный сфинка унд капуста. Гут! Этот дом шифет герр бургомистр. Этот дом — герр фторой бургомистр. Здесь шифет нотарьюс... Здесь иметь аптеке, где готовят снадобий против хворь. На соборный плосчать сколько люд! Все хотеть видеть айне кляйне невест Хенрих Ланг!

Накануне Генрих Длинный отдал распоряжение: замок вылизать, улицу Поросьячей Коленки, по которой проедет процессия, выстлать соломой, чтоб колеса повозок не застряли в какой-нибудь луже у колодца, не пускать из сараев кур и свиней, а народу облачиться в праздничные одежды.

Граф уже привык к своему положению хозяина замка, города и Нордмарки и давно не стеснялся повелевать. В мае ему исполнилось восемнадцать лет, и его произвели в рыцари. Накануне торжественной церемонии он постился три дня и ходил молиться в небольшую капеллу при замке. Ночь перед посвящением скоротал в храме Святого Вильхадия — покровителя рода фон Штаде, — не сомкнув глаз, в размышлениях и молитвах. А наутро епископ Штаденский, при скоплении знати и простых горожан, освятил меч, доставшийся сыну от отца, и торжественно вручил его молодому графу. Генрих сам застегнул на себе золоченый пояс, на котором висели ножны, вставил в них меч и во всеуслышание произнес молитву рыцаря: «Принимаю меч сей во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, дабы употребить его на свою защиту и защиту Святой Церкви Божьей, на поражение врагов Креста Господня и веры христианской, и, насколько сие возможно для немощи человеческой, не поражу им никого несправедливо!» После этого его облачили в доспехи, дали щит и копье, и он, сев на коня, выехал за город, где продемонстрировал боевые искусства. Правда, неприятелем Длинного был не человек, а простой деревянный манекен в латах,

но бесстрашный юноша протаранил его копьем и безжалостно порубил мечом. Разливанный пир завершил праздничные действия.

И теперь юноша стоял на ступенях храма Святого Вильхадия, облаченный в пурпурную бархатную рубашу, доходившую до колен, схваченную под ребрами тонким поясом, в темно-красном плаще и такого же цвета шапке с пером. На его щеках пробивалась молодая рыжая поросль. Он и всё его окружение — городская верхушка, фогт¹⁶, ратманы и бургомистры — вглядывались в ряд торговых построек, из-за которых появлялся русский свадебный поезд с резвыми его скакунами и мохнатыми верблюдами.

Наконец слуги помогли спуститься тетушке Оде, а за ней вышла невысокая смуглая девочка в дорогой бело-красной накидке. Солнце брызнуло ей в лицо, и она зажмурилась. Колокол на церкви радостно зазвонил.

— Друг мой, Генрих, — обратилась к нему тетя по-немецки, — разреши тебя познакомить с Евпраксией. Как она тебе?

— О, Майн Готт, — восхищенно проговорил рыцарь. — Да она — чистый ангел! Но какая юная!..

Опустившись перед ней на колено, он склонил голову и губами коснулся руки нареченной. Та стеснительно покраснела: целовать дамам пальчики на Руси принято еще не было. «Ну и головастик, — промелькнула у нее мысль. — Профиль в медальоне — много лучше. Впрочем, не беда: главное, что не злой и не страшный. Может быть, подружиться». Поднялась по ступеням храма, поклонилась встречающим, обернулась к толпе и склонилась снова. А народ, запрудивший площадь, радостно взревел, замахал руками, стал подбрасывать в воздух шапки. Будущая графиня всем понравилась.

Под малиновый звон церковного колокола оказались в храме. Здесь княжну изумило то, что католикам разрешалось во время службы не стоять в полный рост или на коленях, как у православных, а сидеть на специ-

альных, прикрепленных к полу скамейках. Непривычно выглядела скульптура-распятие вместо иконы. А безусый и безбородый епископ в фиолетовом одеянии — круглой шапочке, как у иудеев, и в сутане — смотрелся не менее удивительно. Но церковная музыка, извлекаемая из диковинной формы инструмента, походившего на высокий ткацкий станок, у которого справа надо было накачивать воздух мехами, а с другой стороны нажимать на белые и черные палочки, восхитила и заворожила.

После окончания мессы Генриха Длинного, тетю Оду и Ксюшу усадили в деревянные паланкины и понесли в графский замок.

Он стоял в центре города и был обнесен дополнительной каменной стеной с башнями. А внутри находились мелкие постройки: кузница, мельница, небольшая часовенка-капелла, кухня, конюшня, погреба, домики для челяди и бассейн с питьевой водой... За ажурной оградой просматривался садик: пышные кусты роз, несколько вишневых и яблоневых деревьев, виноградник, клумбы с лилиями... Надо всем этим возвышалась неприступная башня-терем — беркфрит — больше десяти аршин в высоту.

— Там живет граф? — обратилась невеста к Оде.

— О, найн, — улыбнулась та. — Только кокда фойна, для спасения от фрага, в слючае осад. А кокда мир, он шифёт в палас, а по-русски — дфорес. Нишний зал — для приём гостей, пир, обед, а наферк есть спален, купален, гардеробе, отдых, шахмат... Фирштейст ду — понимаешь, йа?

Наконец Ксюшу привели в ее комнату на втором этаже и оставили одну. Окна были узкие и высокие. Под цветастым балдахином находилась кровать, а под ней — элегантный ночной горшок. В нише висел дорогой инкрустированный рукомойник, сбоку имелись деревянные шкафчики с выдвижными ящиками. Рядом с кроватью у стены возвышалась небольшая полуго-

лонна со скульптурой аскетичного вида дядьки в одеянии с капюшоном — точно такая же была в храме Святого Вильхадия, значит, представляла его самого. На полу лежали звериные шкуры.

Вдруг печаль и тоска накатили на девочку, Евпраксия упала у окна на колени, осенила себя крестом и, молитвенно сцепив пальцы, прошептала с отчаянием в голосе:

— О, Пречистая Дева Мария, для чего мне такие испытания? Как мне жить с этими чужими? Не могу да и не желаю! В Киев, в Киев воротиться охота!

Дверь открылась, и вошла Мальга — притомившаяся с дороги, но неиссякаемо жизнестойкая. Увидав слезы на глазах у княжны, удивленно воскликнула:

— Ба, да ты никак плачешь? Иль не любо тебе в обителище графа?

Разрыдавшись в голос, дочка Всеволода провыла:

— Ой, не любо, не любо, милая... Я домой хочу-у!.. К тятеньке и маменьке... Убежим, Феклуша!..

— Глупости какие! — возмутилась подруга. — Что про нас германцы подумают? Про святую Русь? Дескать, вот связались с недотепами, золота истратили прорву — и зряшно! Да и тятенька с маменькой вряд ли тебя встретят с радостью. Заругаются да еще, может, проклянут за непослушание!

Бедная невеста со вздохом всхлипнула:

— Что же мне поделать, голубушка?

— Так известно что: в баньку сходить попариться — или как тут, у немчуры, это называется? Смыть с себя дорожную пыль, отдохнуть, поспать, облачиться в чистое и на пир явиться настоящей павой. Нос морковкой! Знай наших!

Бодрый тон Мальги несколько утешил несчастную. Ксюша проговорила:

— Ты меня не бросишь? Вместе всё сделаем?

— Ну а то! Для чего я сюда с тобой прибыла?

Вместо бани в замке графа полагалось принимать ванну: в каменную лохань наливали теплую воду, смешан-

ную с лепестками гортензий, тело натирали золой (вместо мыла, не придуманного еще), а затем поливали купающегося из нескольких кувшинов. Груня Горбатка, помогавшая Фекле в этих манипуляциях, обернула княжну в белоснежную простыню тонкого голландского полотна и надела теплые меховые туфельки. В спальне тем временем немки-служанки приготовили неширокий столик: в вазе фрукты — сливы, персики, виноград, черешня, а в кувшине — вино. Подкрепившись, промочив горло, нареченная Генриха Длинного прилегла и забылась...

Вечером ей предстояло многое открыть для себя: графский пир в зале для гостей — с колоссальным камином в полстены и прекрасными коврами; острые и пряные кушанья (суп не подавали, сразу ели жареное мясо — кабана, оленя, цесарки, запивая вином и настойками); музыку на арфе и цитре, романтические баллады в исполнении придворных певцов (тетя Ода ей переводила), выступления жонглеров и акробатов (очень похожих на русских скоморохов), дрессированных голубей; коллективные пляски, чем-то напоминавшие хороводы...

А в другие дни были также прогулки на свежем воздухе и потешный рыцарский турнир за городом, проведенный женихом в честь своей дамы сердца: там в финале граф схлестнулся с нашим Сновидкой и копьем сшиб его с седла. Но копье было без железного наконечника, и дружинник лишь слегка поранил себе плечо. А невеста вручила Длинному перевязь победителя. В общем, она уже успокоилась, даже порозовела и воспринимала действительность в радужных тонах.

Отдохнув с неделю, отбыли восвояси Ян Вышатиц и его добры молодцы. Воевода благословил племянницу на житье в Германии, наказал вести себя смирно, слушаться Опраксу и спешить ей на выручку в нужную минуту. А княжна от души поблагодарила пожилого тысяцкого за отличную службу и просила передать в Киеве низкие поклоны.

Дня четыре спустя Евпраксия со свитой и в сопровождении Оды фон Штаде отбыла в Кведлинбург. На прощание граф, несколько тушуясь и нервничая, произнес (а графиня перевела):

— Драгоценная О-пракс-а! — Он перебирал край своего плаща. — Должен вам признаться с прямой воина и рыцаря: я до самого вашего появления в нашей Нордмарке сомневался, верен ли сей выбор, надо ли было отправляться за невестой на Русь... Но когда вы вышли на торговую площадь, я узрел ваш лик, а затем увидел вблизи, в сердце моем затеплилось радостное чувство. Знаю, знаю, что смогу вас искренне полюбить. И надеюсь: если не сейчас, то со временем вы ответите мне взаимностью... — Граф взглянул на нее в упор, просто и тепло. — Будьте же здоровы, пусть учеба в Кведлинбурге превратится для вас в удовольствие. Обещаю навестить предстоящей осенью. Доброго пути! — И поцеловал ей руку.

Дочка Всеволода ответила:

— Благодарствую за прием и за ласку. Да хранит вас Иисус Христос. Стану ждать вашего приезда. До свидания, милостивый граф! — поклонилась в пояс и пошла к повозке.

В тот же день, к вечеру, их процессия оказалась в Бремене, где заночевала. А на следующее утро, погрузившись на заранее приготовленный корабль, поплыла вверх по Везеру и Аллеру. Стоя с Феклой на палубе, подставляя щеки легким прохладным дуновениям, долетавшим с речной глади, Евпраксия без конца спрашивала подругу:

— Ну, скажи, скажи, он тебе понравился? Ты могла бы полюбить похожего на него?

— Отчего бы нет? — пожимала плечами Мальга. — Мне его братец — Людигеро-Удо — шибко глянулся. Смотрит, правда, букой — ну так что ж с того? Он ить нам ровесник. Возмужает — повеселеет. Твой же Генрих — вьюноша приличный, чинный, благородный...

Ксюша большей частью молчала, думая о своем. Говорила медленно:

— Нет, дружить — за милую душу. В шахматы играть да дурачиться... Но идти под венец? Как представлю себе — мороз по коже.

— Фу, какая глупая! — фыркала боярышня. — Что заранее трусить? Сказано же было: свадьбу сыграете через лето, как тебе шестнадцать стукнет. А за столько времени много ишо воды утечет. И сама вырастешь, да и он в настоящего мужа превратится. Вот тогда и рассудишь.

Тут по лесенке поднималась Груня Горбатка и охала:

— Свет мой, девонька, разве ж можно на ветру-скрозняке стоять? Не ровен час — продует. Что прикажешь делать тогда, чем тебя отпаивать? Вниз спустися, соблаговоли, там покойней, моя голубушка...

На второй день пути снова пересели в повозки и часа через три были в Кведлинбурге. По величине город оказался схожим со Штаде и гораздо меньше Гамбурга или Бремена. Общий вид городков также совпадал: главные ворота с гербом Кведлинбурга — в виде сторожевого пса, чуть выше — богиня плодородия Абунданция осыпала каждого въезжавшего из рога изобилия; главная улица называлась Широкая, а базарная площадь — Маркетплац, где на северной стороне возвышалась ратуша, рядом с порталом которой был поставлен каменный великан — Роланд, символ власти королей. Монастырь и церковь Святого Сервация находились на горе Шлоссберг, как бы нависая над местностью. Мощные их башни угнетали воображение. В церкви, в крипте под алтарем, пояснила по ходу тетя Ода, захоронены останки Генриха I, а в самом монастыре существует другая крипта, вырубленная в скале, где должны были покоиться умершие аббатисы, но на самом деле тут хранят овощи и уголь. А напротив Шлоссберга — холм с основной частью города, и к нему вели 99 каменных ступенек. Сверху открывалась живописная панорама с доми-

ками-фахверками на извилистых улочках, а за башнями городской стены — пышные, цветущие предгорья Гарца. «Красота!» — восхитилась Ксюша. «Лепота!» — подтвердила Фекла.

Встретить долгожданных гостей вышла настоятельница — преподобная мать Адельгейда. Про нее тетя Ода сказала так: «Ты ее любить, йа, йа, потому што она иметь много доброта и большой душа. Не похожа на свой брат-король — Хенрих Шетвертый, еретик унд злѣдей». Евпраксия вздрогнула: «Ой, мне говорили о нем жуткие слова!» И графиня фон Штаде согласилась: «Йа, йа, он не признавать Папа Римский и любить черный месса, на сатана!» И когда княжна перекрестилась от страха, закончила: «Мы, саксонцы, бороться с ним!»

Мать Адельгейда в самом деле была приятной маленькой женщиной, лет примерно сорока, с тонкими чертами лица и насмешливыми глазами.

— О, какая милая эта русская девочка! — улыбнувшись, сказала она по-немецки. — Генрих Длинный приобрел настоящее сокровище. — Приглашающе взмахнула рукой: — Скромная обитель Святого Сервация к вашим услугам, господа. Проходите, располагайтесь. Наши воспитанницы не живут в роскоши, но и не нуждаются. После размещения в кельях милости прошу ко мне отобедать. Я представлю княжне ее наставницу, сносно знающую русский язык, так что им будет проще понять друг друга.

Сам обед в покоях аббатисы не напоминал монастырскую трапезу — и вином, и изысканными пряностями. Матушка Адельгейда с аппетитом съела целого каплуна и прилично выпила, но почти что не захмелела. Тетя Ода не отставала в съеденном и выпитом, без конца хихикала и порой отпускала непристойные шуточки, на которые настоятельница махала ладошкой, а потом осеняла себя крестом, говоря с усмешкой: «О, побойтесь Бога, маркграфиня, в этих стенах не положено так фривольно себя вести. Что подумают де-

ти?» Но княжна и боярышня по-немецки не понимали и подумали только одно: тут намного живее, чем в монастыре Янки.

Вскоре им представили их наставницу — Эльзу Кёнигштайн, суховатую даму в черном. У нее был высокий лоб, безразличный взгляд и довольно хищные кривоватые зубы. Голос дребезжал на высоких нотах:

— Ошен рада наше знакомстфо. Ми долшны ладит. Кто не захотет ладит, полушат наказанье. Наш порьядок ест више фсехь!

Под водительством Эльзы девочкам показали, где что находится: классы для занятий, трапезная и ванная комната, библиотека; под открытым небом — виноградник, сад, водоем с декоративными рыбами. Кёнигштайн ознакомила новеньких с распорядком дня: в пять утра подъем, утренняя молитва и туалет; в шесть — заутреня в храме Святого Сервация, пение псалмов; в семь — легкий завтрак; с половины восьмого до половины двенадцатого — учеба, прежде всего — латынь и немецкий, Ветхий и Новый Заветы, древние авторы на греческом, жития святых; в полдень — месса, плотная трапеза и послеобеденный отдых; с двух часов до пяти — новые занятия, в том числе рисование и музыка, выполнение домашних заданий; после них — работа на свежем воздухе, в винограднике и саду; в семь — вечерня, ужин и свободное время для воспитанниц; в девять — молитва перед сном и отбой. В воскресенье — выходной, нет занятий, только повторение пройденного. Никакого общения с противоположным полом — исключение составляют мужчины-священнослужители, близкие родственники и раз в месяц — разносчики-торговцы, у которых на территории обители, под присмотром монашек, можно купить что-нибудь из сладостей или галантереи (ленты, заколки, пояс, гребень и прочее). Расписание было более суровым, чем они ожидали, и приехавшие русские сразу пригорюнились. Их слегка приободрила на прощание тетя Ода:

— О, мин херц, всё не так плёх! Скоро прифыкат! Если ти иметь недофольстфо, груст — надо приходиться к мутер Адельхайд, у нее искомат поддешршка унд засчита. Надо потерпет. Кто терпет, тот потом полушат награда от Бог, йа, йа!

Сев за воротами в повозку, хитрая графиня умчалась. Ксюша и Фекла обнялись и слегка всплакнули. И пошли обосновываться в кельях с помощью единственной разрешенной им русской служанки — Груни Горбатки. Начинались бесконечные будни в школе-монастыре.

Двадцать четыре года спустя, Германия, 1107 год, осень

По расчетам Германа, в Кведлинбурге остановки не должно было быть, но Опракса уговорила архиепископа все-таки заехать в городок ее ранней юности. Он подумал и согласился.

Только-только потянулся пихтовый лес, рыжие глинистые тропинки Гарца, как на Ксюшу навалились воспоминания. Кровь стучала в висках, и горели щеки. Господи, прошло столько лет, четверть века почти, а природа в этих предгорьях совершенно такая же, девственная, тихая, дышится легко, хвойный аромат словно бы пропитывает насквозь... Да, она точно помнит — здесь развилка; если скакать на север, можно оказаться в пещере Святого Витта, где они скрывались от головорезов Удальриха Эйхштедского; а на северо-запад будет Хильдесгейм, где княгиня венчалась с Генрихом Длинным; а на запад — замок Гарцбург, где затем случилось «Пиршество Идиотов»... Нет, не хочется думать о плохом. Вот он, Кведлинбург, начинает просвечивать сквозь деревья — очертания башен монастыря, городские стены и сторожевой пес на гербе, висящем на воротах... Странное ощущение нереальности. Вроде бы известна каждая деталь, дерево, кирпич и булыжник, вы-

веска харчевни, трещины ступенек, — и щемящее чувство промелькнувшего времени: жизнь прошла! Прежние события никогда не вернуться, а его участников нет в живых, остальные состарились, не похожи на себя юных; новое поколение на улицах, новые наряды, новые песни. Ничего уже не изменишь. Евпраксия из прошлого, а они из будущего. И попасть в прошлое нельзя. И прожить жизнь иначе — невозможно.

Не спеша поднималась на гору Шлоссберг, опираясь на руку Германа. Подошла к собору Святого Сервация, сбоку, со стороны улочки, положила ладони на шершавые камни, желтоватые, вековые. И прикрыла веки. И стояла зажмурившись, что-то еле слышно шепча — может быть, здоровалась, может быть, молилась. А внутри храма было гулко, холодно и покойно. Посреди, под гигантским сводом, в отблесках свечей возвышалось огромное Распятие. Лик Христа, склонившего голову в терновом венце, напряженные руки, скрещенные в лодыжках ступни... И алтарь под ним, и раскрытая Библия. И живые цветы возле алтаря.

Посидела на вытертой одеждами лавочке. На пюпитре было вырезано ножом: «Gott sei dank!» («Слава Богу!»). И она тоже повторила: «Слава Богу, что я вновь оказалась тут. Да, возможно, это путь на Голгофу. Но пройти его достаивается не каждый».

Герман сказал ей на ухо:

— Не хотите спуститься в крипту? Побывать на могиле матери Адельгейды?

Евпраксия подняла на него страдальческие глаза:

— Так ее упокоили в крипте?

— Да, под алтарем.

Медленно спустились по старым ступенькам. Кёльнский архиепископ освещал дорогу свечой. Рыжие отблески ее танцевали на сводчатом потолке, низком, желтом, подпираемом частыми колоннами. В центре находился саркофаг с останками Генриха I. По бокам — прочие захоронения. Подошли к одному из них.

На плите прочли имя аббатисы, даты ее жизни. И печальную фразу на латыни: «Sum, quod eris, quod es, ante fui» («Я то, чем ты будешь; тем, что ты есть, я был раньше»).

Опустившись на колени, Ксюша поцеловала камень и в слезах произнесла по-немецки:

— Матушка моя, я любила вас и равнялась на вас... Как мне не хватает вашего слова!.. Извините меня за всё!.. — А потом быстро поднялась и сказала Герману: — Больше не могу... Душно, надо выйти!.. — И на свежем воздухе долго приходила в себя, глубоко дыша.

Он спросил:

— В монастырь зайдём?

— Да, давайте заглянем на мгновение. Я хочу постоять в саду. Там его величество сделал мне предложение выйти за него.

Сад разросся значительно, виноградник тоже, но тот памятный дуб никаких изменений не претерпел; многовековой, он наверняка помнил времена королей Оттонов, а затем и Генрихов и переживет еще одну смену династий — новая пойдет от сестры Генриха IV и ее мужа и войдет в историю как династия Гогенштауфенов... Евпраксия погладила кору дуба, наклонилась и взяла из травы пару желудей; положила их в кожаный мешочек-кошель, что висел у нее на поясе; посмотрев на Германа, объяснила:

— Посажу потом в Киеве. Может, прорастут.

Немец согласился:

— Да, конечно, это добрая память о былом.

Вдруг она услышала старческий голос, говоривший по-русски:

— Ксюша, ты ли это?

Вздрогнув, обернулась: на аллее стояла сгорбленная старуха, опиравшаяся на палку. Евпраксия ахнула: это была Эльза Кёнигштайн, прежняя наставница ее и Феклы. Бросилась навстречу, обняла и поцеловала, с умилением заглянула в морщинистое лицо:

— Как вы поживаете? Неужели всё преподаете?

Эльза ответила, но уже по-немецки:

— Да, немного, по старой памяти. Не могу без этого. Видимость какого-то смысла жизни. А иначе — смерть. Мне ведь скоро семьдесят восемь... Ну а ты какими судьбами?

Усадив бабушку на лавку, Евпраксия присела рядом и поведала о причине приезда в Германию. Кёнигштайн сказала, покачивая головой:

— Добрая душа! Он принес тебе столько горя, что не заслужил твоего снисхождения.

Бывшая императрица кисло улыбнулась:

— Даже самый закоренелый разбойник должен быть после смерти похоронен.

— Русские сентиментальны не в меру.

— Немцы не меньше. Вспомните, как плакала матушка Адельгейда от душещипательных песен.

Эльза хмыкнула:

— Только после нескольких бокалов вина!

— Может быть. Разве это важно? Матушка Адельгейда тоже любила брата, несмотря на все его злодеяния.

— Нет, последней выходки, с карликом Егино, она не пережила... Впрочем, ты права: перед самой кончиной Адельгейда отпустила ему все грехи.

Киевлянка перекрестилась:

— Царствие ей Небесное! Погребение примиряет всех. Правых и неправых, праведников и грешников. Все равны в смерти. Там, по иную сторону могилы, больше не бывает вражды.

Кёнигштайн взяла ее за руку, и Опракса почувствовала, как практически невесома и холодна старческая ладонь. Промелькнула мысль: «Это пальцы покойницы. Скоро она умрет». Пожилая женщина будто бы прочла ее мысли:

— Скоро я умру. И, хотя не являюсь духовным лицом, разреши мне благословить тебя, дочка. У меня не

было детей. И среди моих воспитанниц мало тех, о которых я могла бы сказать: мне они родные. Ты из их числа. Глядя на тебя, с удовольствием думаю, что не зря старалась, обучая, воспитывая... Будь здорова, милая. Пусть исполнятся все твои намерения. Да хранит тебя Небо от врагов и завистников! — И она поцеловала Евпраксию в щеку сморщенными губами.

Герман произнес:

— Ваша светлость, мы должны спешить, чтоб добраться до Геттингена к вечеру.

— Да, сейчас иду. Подождите меня около калитки. Я хочу сказать фрау Эльзе несколько слов наедине. — А когда он ушел на приличное расстояние, прошептала: — Я в смятении. Он, по-моему, стал питать ко мне не вполне платонические чувства...

— Кто, архиепископ?

— Да! Смотрит совершенно особо... я же чувствую... и когда берет за руку... Я сама волнуюсь! Нет, не знаю...

— Но ведь ты постриглась в монахини... Он священнослужитель!..

Евпраксия воскликнула:

— Ну конечно, конечно же! Ничего быть не может! И при этом страшно — за него, за себя, за всех!

Пожилая наставница философски ответила:

— Адельгейда сказала бы: дьявол искушает обоих. Ну а я не столь категорична. Просто мы обычные люди. В каждом два начала — идеальное и материальное. И которое из них побеждает, в то и превращается человек. Но, каким бы он ни был, под конец жизни сожалеет о прошлом: идеальные — о том, что не знали плотских утех, грешники — о том, что мало думали о возвышенном... Словом, положиись на Судьбу. Пусть Она решает.

— Но потом все равно буду сожалеть? Что бы ни случилось?

— Разумеется. Потому что таков закон.

Вновь поцеловав Кёнигштайн, Ксюша поспешила к калитке. Не хотела оборачиваться, боялась. И сказала Герману:

— Как же тяжело посещать места, где когда-то был молод!

— Тяжело, только все равно тянет.

— Значит, вы меня понимаете?

— Очень понимаю. — И взглянул заботливо.

Но Опракса опустила глаза и заторопилась:

— Надо, надо ехать. Полдень на дворе.

Двадцать два года до этого, Германия, 1085 год, лето

Лето 1085 года выдалось во Франконии дождливое. И его величество, император Генрих IV, направляясь в Бамберг, чуть не утонул в дорожной грязи. К своему другу и духовнику — Рупрехту, епископу Бамбергскому, — он ввалился в дом уже вечером, вымокший и продрогший, похудевший и злой. Вслед за самодержцем следовал его главный подручный — рыцарь Удальрих фон Эйхштед, и, конечно, семенил карлик Егино с маленькой обезьянкой Назеттой, много раз обернутой в шерстяной платок. Обезьянка, замерзшая не меньше людей, без конца чихала.

Рупрехт приложился к перстам монарха, посмотрел на него угодливо и проговорил:

— Ваше величество, вам согреют воду для ванны и накроют обильный стол. У меня для вас хорошие новости.

— Да? Какие? — мрачно произнес Генрих.

— С вашими саксонскими врагами покончено. Герман Люксембургский официально и при свидетелях отказался от претензий на немецкий престол. Граф Оттон фон Нордгейм у себя в замке при смерти. Не без нашей помощи, между прочим: выпил кубок с отравленным вином. А епископа Гальберштадского только что заре-

зали слуги вашего величества. Остальные саксонцы будут сидеть, как мыши в норках. Север — ваш!

Бледное лицо венценосца несколько смягчилось. И рукой в перчатке он похлопал Рупрехта по отвисшей желеобразной щеке:

— Хорошо, спасибо, святой отец.

— Север наш! — повторил Егино странным для его роста басом. — Что ж, теперь осталось завоевать только запад, восток и юг!

Император хмыкнул:

— Замолчи, урод. А не то повешу.

Карлик не растерялся:

— За какое место, ваше величество?

— Догадайся сам.

— Ну, тогда я спокоен: *эта* шейка — выдержит!

Все кругом рассмеялись, а Назетта, вроде подтверждая сказанное, яростно чихнула.

Вяло улыбнувшись, Генрих проворчал:

— Ладно, убирайся отсюда. Не до тебя. Жажду сполоснуть тело, а затем хорошенько промочить горло. Есть ли моя любимая граппа?

— Безусловно, ваше величество. Сколько душе угодно.

— Значит, погуляем.

А пока самодержец нежится в лохани, вкратце расскажем его историю. И начнем со статуса короля в Германии.

В эти времена государь не имел абсолютной власти. Каждое герцогство жило обособленно, подчиняясь Генриху чисто номинально. Более того: всегерманский съезд герцогов и маркграфов («сейм») мог сместить монарха и назначить нового. То есть принц, рожденный в королевской семье, не наверняка становился впоследствии королем; он имел лишь *наследное право избираться!*

Генрих IV был произведен на свет императором Генрихом III от своей жены, по происхождению — француз-

ской герцогини. Принц лишился отца в шестилетнем возрасте, и его окружение, оголтело боровшееся за влияние на мальчика, воспитало юного короля нервным, депотичным, неуравновешенным. Он к шестнадцати годам перессорился с большинством герцогов и самим тогдашним Папой Римским — Григорием VII. Кончилось это грустно: Папа отлучил Генриха от церкви, запретил править и освободил подданных от присяги ему.

Свергнутому монарху ничего не оставалось, как идти и каяться. В январе 1077 года он оделся в рубище и пешком, босиком, по снегу, с несколькими близкими людьми перешел Альпы и направился в замок Каносса, где тогда находился понтифик. Папа долго над ним глумился, не хотел впускать, а потом разрешил войти и сказал, что прощает его как христианин христианина, но как высший церковный иерарх отлучение и проклятие снять не может. И о том, чтоб провозгласить Генриха императором Священной Римской империи, слушать не желал. Генрих был взбешен и поклялся мстить.

Между тем в Германии сейм провозгласил новым королем Швабского герцога Рудольфа. Вспыхнула гражданская война, начались сражения между армиями двух монархов, и никто из них окончательно победить не мог.

Как мы уже знаем, Генрих собрал верных себе епископов из Германии и Италии, и они лишили Папу Григория VII высшего духовного сана, выбрав «антипапой» Климента III. Так и возникла странная ситуация — с появлением в империи двух правителей и двух Пап.

Вскоре она разрешилась в пользу Генриха: в битве возле Цейца в Саксонии был смертельно ранен Рудольф. Вдохновленный Генрих устремился с войсками в Италию, занял Рим, выгнал из него Григория VII, а Климент III совершил вожделенное действо — короновал немецкого самодержца императором.

Словом, к лету 1085 года Генрих IV одержал победу в государственном плане, укрепив свою власть. Но по-

прежнему был несчастен в личной жизни. Он, женатый с 1066 года на Савойской графине Берте, итальянке, очень толстой и некрасивой даме, и имевший от нее трех детей — девочку и двух мальчиков, — жил отдельно, не единожды порывался расторгнуть брак и не делал этого только в силу политической конъюнктуры. А бесчисленные любовницы не могли заполнить пустоту в его сердце.

Вот он вышел из ванной комнаты в доме Бамбергского епископа Рупрехта — стройный, крепкий тридцатипятилетний мужчина, выше среднего роста, волосы до плеч — воронье крыло, с черными задумчивыми глазами и недлинной черной бородой; но лицо казалось излишне бледным, кончики потрескавшихся алых губ были сумрачно опущены книзу, вроде что-то грызло его внутри, мучило, терзало, не давая покоя. Появившись в зале, венценосец сел во главу стола, в кресло с шелковым балдахином, поднял на хозяина удивленный взгляд и спросил:

— Отчего не горит камин?

— Так ведь лето, ваше величество, — отозвался Рупрехт.

— Это все равно. Вы же знаете: я в любую погоду зябну. — Щелкнул пальцами, подзывая гарцуна.

Убедившись, что яда нет, начали застолье. Чаша с вином у прибора монарха представляла собой серебряную ладью: чтобы пить из нее, надо было снять серебряные мачту и парус.

Генрих поднял чашу:

— Господа! Выпьем за империю. За ее процветание и мощь. Чтобы слава ее не меркла и была такой же, как и слава империи Карла Великого!

— Слава императору! — крикнул Удальрих фон Эйхштед.

— Слава! Слава! — поддержали все.

После осушения чарок и разжевывания жаркого от епископа поступил вопрос:

— Не пора ли, ваше величество, позаботиться о границах империи на востоке? Я имею в виду Константинополь.

Генрих посмотрел на него с явным раздражением:

— Это слишком хлопотно. Да и денег нет.

— У него вечно денег нет, — пробурчал Егино. Он, одетый в точности как монарх, представлял собой карикатуру на самодержца. — Потому что всё на баб тратит. При такой политике ни на что не хватит — ни на армию, ни на нас с Назетткой... Что за жизнь такая? Вот подамся в Англию — будете тогда плакать.

Рупрехт продолжал:

— Для чего воевать в одиночку, ваше величество, если можно организовать коалицию? Заключить союз с Венгрией и Русью, вызвать из Бургундии Готфрида де Бульона. И тогда уже идти в наступление.

Император не согласился:

— Не получится... Готфрид прибежит непременно: он мой друг и давно мечтает о походе на Дарданеллы. Ну а прочие? В Венгрии у власти наши недруги. А на Русь я уже отправлял посольство, но оно вернулось с дорогими подарками и без обещания помогать. Больше унижаться перед князем из Киева не стану.

Духовник рассмеялся:

— У меня план иной. Предлагаю брачный союз — принца Конрада с дочкой князя Всеволода Киевского, Евпраксией. Вот и деньги, вот и подкрепление армии!

Карлик отозвался:

— Нет, меня! Нет, меня жените! Я люблю жениться! Я готов жениться хоть каждый день!

Пировавшие захихикали, кто-то отпустил соленую шуточку о мужском достоинстве дурака.

— Цыц, молчать! — крикнул самодержец и ударил кулаком по столу. В зале стало тихо. — Продолжайте, патер. Значит, у Всеволода — дочь на выданье?

— Говорят, красавица. Вы и сами можете убедиться, посетив Кведлинбург.

Император откинулся на спинку деревянного кресла, удивленно спросил:

— Кведлинбург? Я не понимаю.

— Очень просто, — пояснил священнослужитель. — Евпраксия в монастыре получает образование. Ведь она невеста Генриха фон Штаде. Скоро свадьба. Но одно слово вашего величества — и торжественная церемония будет расстроена. А приданое отнимем у Генриха Длинного без труда. Он щенок и раззява.

— Без труда отнимем! — оживился Удальрих фон Эйхштед. — У меня давно руки чешутся — погулять по Нордмарке. Ненавижу этих папских прихвостней с севера! — Он оскалился, показав огромные, вкривь и вкось растущие зубы. Вид у рыцаря был довольно дикий: волосы торчком, перебитый нос и налитые кровью глаза.

А монарх не спеша опустил перста в чашу с розовой водой, поднесенную проворным прислужником (вилки были запрещены, так как напоминали вилы чертей из преисподней, и при еде пользовались ложкой и столовым ножом, помогая себе руками, — так что омовение пальцев до и после трапезы было обязательным ритуалом).

— Я подумаю над вашей идеей, патер, — согласился Генрих. — Конраду скоро шестнадцать, и жениться ему в самый раз. Он вообще засиделся в своей Италии, под крылом у маменьки. Надо приобщать принца к рыцарским делам.

— И не худо бы — к нашим идеалам, — уточнил Рупрехт. — Нужно принимать его в Братство. Потому что в Италии заразится только ложными ценностями, папским пониманием христианства.

— Решено! — отрубил владыка империи. — Завтра поутру едем в Кведлинбург. Я хочу взглянуть на эту невесту.

— И поцеловать ее в щечку. Вот так! — завизжал Егино, тиская Назетту; обезьяна тоже визжала и пыта-

лась укусить карлика за ухо. Все покатывались со смеху, глядя на них.

Вечером следующего дня самодержец со свитой был уже в Веймаре, где заночевал; а оставшийся путь до Кведлинбурга занял у него шесть часов. Отдохнув с дороги, он отправился в монастырь и предстал перед аббатисой — сильный, дерзкий, в черном дорогом бархате и с серебряной изящной цепочкой на шее, левая рука в перчатке — на эфесе меча, правая упирается в бок, в серебристый пояс.

Отношения между братом и сестрой никогда не были сердечными. Бывшая принцесса сделалась монахиней по стечению обстоятельств — после смерти мужа и потери ребенка; занималась больше школой для девочек, нежели божественными делами; не слыла фанатичной христианкой, но и не одобряла действий сумасбродного и беспутного брата. А вражду с Папой Римским осуждала открыто, называя ставленника Генриха — Климента III — самозванцем. Тем не менее приняла высокого гостя подобающим образом, как положено было по этикету.

Венценосец сказал:

— Вы прекрасно выглядите, сестра. Монастырский быт вам на пользу.

— Благодарна за похвалу. Но ответить тем же — значит оказаться неискренней. Ваше величество, вы могли бы быть и румянее, и свежее. Видимо, едите слишком много скромного. И не бережете себя.

— Ах, беречь себя! — отмахнулся он. — Каждый день приносит какие-то неприятности. И ни в чем не вижу успокоения.

Адельгейда выразилась понятным образом:

— Надо жить по заповедям Христа, и тогда не будет поводов для сомнений.

Император развел руками, закатил глаза и демонстративно вздохнул.

Оба церемонно проследовали в покои настоятельницы. Резвые монашки торопливо накрыли обеденный

стол. Брат с сестрой выпили вина и, обменявшись несколькими дежурными фразами, перешли наконец к главной теме.

— Что вас привело в Кведлинбург? — обратилась к брату бывшая принцесса. — Я не столь наивна, дабы полагать, будто вами двигало исключительное желание навестить меня...

— Нет, ну почему же! — вырвалось у Генриха, но потом он сам почувствовал, что переиграл, и весело рассмеялся. — Да, не стану спорить: побудило меня к поездке очень важное дело... Говорят, в вашем монастыре проживает и учится дочь великого князя Киевского?

— Совершенно верно. Через две недели Евпраксия примет католичество и уедет от нас, чтобы обвенчаться с Генрихом Длинным. Свадьба назначена на двадцать второе августа.

Самодержец закинул ногу на ногу, поболтал носком сапога и негромко бросил:

— Свадьбы этой быть не должно.

— Как?! — воскликнула аббатиса. — Вы меня пугаете.

— Я решил женить на русской моего старшего, Конрада. Мне необходим союз с Киевом. Для похода на греков, на Константинополь.

Адельгейда разнервничалась, отодвинула от себя серебряную тарелку и побарабанила пальцами по столу.

— Но жених и невеста поклялись перед алтарем, что обручены. Свадьбу отменить может только смерть одного из них.

Генрих усмехнулся:

— Что вы предлагаете? Отравить маркграфа?

Женщина ответила резко:

— Не паясничайте, ваше величество! Вы прекрасно поняли мою мысль. Клятва у алтаря священна. То есть принадлежит Всевышнему. Ни один из смертных не имеет права посягнуть на нее.

Император кивнул:

— Да, согласен. Но ведь я — помазанник Божий. Значит, не простой смертный. И такое право имею.

— Не берите на себя слишком много, брат. Как бы не пришлось впоследствии каяться. Или вы забыли Канносу?

— Хватит! — оборвал ее венценосец. Помолчал и добавил более спокойно: — Не напоминайте о моей слабости. Я был слишком молод. Вместо военного вмешательства совершил паломничество... Глупость несусветная!.. Добиваться своего можно только силой. Уважают сильных. А на слабых плюют... — Поднял кубок с вином. — Предлагаю выпить за здоровье моего наследника Конрада и его будущую невесту, кем бы ни оказалась она!

Адельгейда ничего не произнесла и в молчании сделала несколько глотков. Самодержец продолжил:

— А теперь я, по крайней мере, мог бы посмотреть на твою киевлянку?

— Так ли это важно, ваше величество? — усомнилась она.

— Уж не думаете ли вы, что я съем ее, словно каплуна? — улыбнулся Генрих. — Не тревожьтесь, ваше высокопреподобие: у меня имеются отдельные недостатки, но в каннибализме уличен еще не был. Хоть кого спросите!

Неохотно Адельгейда позвонила в колокольчик и велела прибежавшей монашке пригласить сюда княжну Евпраксию. Вскоре дверь открылась, и монарх, бросив взгляд на вошедшую, ощутил нешуточное волнение. Да, подобной красоты он еще не видел! Девочка за эти два года сильно повзрослела, выросла, превратилась в стройную изящную девушку, вместе с тем сохранившую детские черты; смуглая, не типичная для немецких женщин кожа и бездонные ореховые глаза делали ее лицо магнетически притягательным. Темная простая одежда, ниспадавшая живописными складками, шла ей невероятно.

Поклонившись, Ксюша заговорила на хорошем немецком:

— К вашим услугам, матушка Адельгейда.

Та ответила хладнокровно:

— Я хочу представить вашу светлость императору Священной Римской империи, королю Германии, Генриху Четвертому, по его просьбе. Августейший брат мой выразил желание познакомиться с дочерью великого князя.

Кровь ударила в лицо русской. Вся затрепетав, преклонила колено и с невероятным трудом выдавила приличествующие слова:

— Ваше величество... это для меня честь... я благодарю...

Самодержец протянул ей руку для поцелуя. Евпраксия коснулась пальцами кисти венценосца, чтобы поднести к губам, но внезапно вскрикнула и отпрянула: между перстами промелькнул электрический разряд, как миниатюрная шаровая молния.

Немец улыбнулся:

— Что, ужалились? Это ничего, так со мной бывает... Встаньте же с колена. Не смущайтесь, душенька. Поднимите голову. Я хочу рассмотреть как следует ваше личико.

Помня ужасы и нелепицы, постоянно рассказываемые о германском правителе, Ксюша была готова упасть без чувств. Но, собрав остатки воли и мужества, медленно, с усилием, подняла голову и взглянула в глаза этому чудовищу, дьяволу во плоти, ненавидящему Святую Церковь и погрязшему в самых изощренных грехах...

...и увидела приятного, умного мужчину, благородного и изящного, может быть, с излишне бледным лицом, с темными кругами под нижними веками, но с такой гипнотической силой во взоре, мощью и каким-то всевластием, исходящим от его существа, что она не могла ни пошевелиться, ни произнести что-нибудь осмысленное...

Их взаимное изучение длилось, наверное, менее секунд. А потом у него на губах вновь возникла улыбка:

— В добром ли здравии ваш отец, князь великий Всеволод?

— Слава Богу, пожаловаться нельзя. Около месяца, как с оказией местные купцы привезли мне из дома весточку. Писано сестрицей Екатериной. Вся родня жива, а родители подтверждают благословение на мое венчание с графом фон Штаде.

— С легким ли сердцем вы вступаете в этот брак? Мил ли вам жених?

Евпраксия как будто ожила:

— Несомненно, ваше величество. Генрих Длинный — замечательный человек и бесстрашный рыцарь. Часто пишет мне. И не реже трех раз в году радуется визитом. Я стараюсь учиться и работать на совесть, чтобы стать достойной супругой моего нареченного.

— Да, успехи великой княжны более чем заметны, — подтвердила сестра императора. — И от главной ее наставницы, Эльзы Кёнигштайн, слышу одно хорошее. А ведь Эльза — дама очень строгая и не спустит ни малейшей провинности.

Прошептав слова благодарности за такую лестную оценку, девушка смущенно потупилась.

Генрих помолчал, затем произнес раздумчиво:

— Что ж, не смею больше задерживать вашу светлость... Можете идти. До свиданья.

Попрощавшись, Ксюша выпорхнула из кельи. Встала в коридорчике, привалилась плечом к стене и услышала, как стучит ее сердце. Облизала губы. И сказала себе по-русски: «Господи Иисусе! Охрани меня от этого человека. Я его боюсь. Он меня может погубить...» Трижды перекрестилась и как будто бы успокоилась. По дороге в классы пробормотала: «Никому ни слова. Ни Мальге, ни Груне. Нечего их пугать. Я сама напугана до смерти!..»

Между тем император продолжал сидеть, погру-

женный в думы. Аббатиса, не осмеливаясь прерывать его размышления, все-таки не выдержала и спросила:

— Как она вашему величеству?

— Что?.. — очнулся брат и взглянул на нее с неким удивлением. — А, княжна... Девочка прелестна... Генрих Длинный — баловень судьбы, что имеет такую невесту...

— Значит, вы оставили эту мысль — выдать Евпраксию за Конрада?

Он провел рукой по лицу:

— О, конечно! Конрад слишком юн и не сможет оценить по достоинству все очарование этой русской феи... — Венценосец поднялся из-за стола и проговорил твердо: — Я на ней женюсь сам.

У монахини от испуга выпал колокольчик из пальцев. Громко звякнув, покатился по полу.

— Вы?! — воскликнула она. — Но каким же образом? А императрица, ваша супруга?

Самодержец ответил грубо:

— Если я решил, то достигну цели. Несмотря ни на какие преграды.

Там же, тогда же

Кавалькада рыцарей во главе с маркграфом Нордмарки Генрихом Длинным, направляясь за Евпраксией в Кведлинбург, сделала последнюю остановку в Брауншвейге, как явился посыльный от тети Оды. Весь в пыли, грязный и расхристанный, он едва не свалился с лошади, у которой изо рта на землю клочьями падала пена.

— Еле ускакал от головорезов Удальриха, — объяснил гонец. — Все дороги на Кведлинбург ими перекрыты.

— Почему? — удивился граф.

— Думаю, это вы узнаете из послания вашей те-тушки. — И достал из-за перевязи свернутый в трубочку пергамент.

Распечатав его, Генрих прочитал:

«Дорогой племянник!

Только что меня известили о готовящемся заговоре против тебя. Преподобная Адельгейда сообщает мне, что ее бесноватый братец вознамерился помешать вашей свадьбе, выкрасть киевлянку, взявшую себе в католичество имя Адельгейды, заточить ее в Гарцбурге и держать взаперти до тех пор, пока его антипапа не благословит развод императора и императрицы, дабы сочетать затем Генриха IV с великой княжной. Но усердным монашкам удалось тайно вывезти дочку Всеволода из монастыря и укрыть надежно. Прихвостни короля ее ищут. Берегись! Жизнь твоя в опасности. Появляться в Кведлинбурге нельзя. Отправляйся в Хильдесгейм и жди меня там. Если мне удастся, я туда приеду вместе с твоей невестой, и вы обвенчаетесь. Да хранит вас Всевышний!

Любящая тебя Ода фон Штаде».

Кожа у маркграфа, как у многих рыжих, отличалась тем, что краснела в одно мгновение. Он стоял разгневанный, с алым искаженным лицом, его трясло.

— Негодяй, — шевелил губами жених. — Грязная свинья. Пусть дотронется только до моей княжны — я его убью этими руками. В деле чести не бывает синьоров и их вассалов, мы уже на равных! — Он свернул письмо, одарил посыльного золотой монетой и сказал одному из своих оруженосцев: — Прикажи седлать. Скачем в Хильдесгейм. Если три дня спустя Евпраксию не привезут, я поеду отнимать ее силой!

...Император тем временем, обыскав с подручными все монастыри в Кведлинбурге и окрестностях, где могли бы скрывать киевлянку, и не обнаружив ее, был разгневан не меньше своего тезки. Он вернулся в обитель к сестре Адельгейде и, не слушая причитаний монашки-привратницы, семенившей следом, ринулся в покои матери-аббатисы. Пнув ногой дубовую дверь, самодер-

жец возник на пороге кельи — яростный и неукротимый, с прядями волос, слипшимися от пота на лбу. Настоятельница поднялась и попятилась.

— Отвечай, паскуда, — глухо произнес венценосец, и щека его нервно дернулась. — Где княжна? Где вы прячете ее от меня, дьявол вас возьми?!

Преподобная возмутилась:

— Как вы смеете выражаться в святых чертогах? Прочь ступайте, я не допущу...

— К черту — и тебя, и чертоги! — оборвал ее брат. — Если ты не скажешь, я отдам всех твоих монашек на поругание молодцам из моей гвардии. Это не пустая угроза. Ты меня знаешь.

Сделавшись как мел, Адельгейда пробормотала:

— Вы покроете позором наш великий род... отвернете от нас честных христиан...

— Удальрих! — крикнул государь. — Удальрих, ко мне!

В коридоре слышалось топанье, и фон Эйхштед, с грязными разводами на мокром лице, с вытаращенными глазами и всклокоченной шевелюрой, появился за спиной Генриха IV.

— Представляете, Удальрих, — обратился к нему император, — эта сучка, моя сестрица, не желает открыть местонахождение киевской малютки... Очень, очень жаль! В наказание мы устроим здесь Ночь Любви со христовыми невестами... Не забудьте про карлика Егино: он получит на осквернение саму аббатису!

Рыцарь захохотал, широко раскрыв пасть.

— Стыд! Позор!.. — заслонила лицо руками бывшая принцесса. — Вы тиран и варвар... полное ничтожество...

— Стойте! — неожиданно прозвучал ровный женский голос. — Отмените свой бесчеловечный приказ. Я скажу вашему величеству, где находится русская.

Все взглянули на боковые двери: там стояла Эльза Кёнигштайн, сухоощавая и бесстрастная. Складки ко-

жи, шедшие от ее ноздрей к подбородку, выглядели, как два пересохших русла ручьев.

— Умоляю, не делайте этого, дорогая! — заливаясь слезами, попросила сестра самодержца. — Лучше бесчестье, чем насилие над несчастной девушкой!

— Почему насилие? — возразила Эльза. — Стать императрицей — разве не благо для нее? Мы не вправе прекословить августейшей особе. Все его желания священны для каждого подданного.

Генрих улыбнулся:

— Браво, браво! Где же киевлянка? Говорите скорее.

— В гроте Святого Витта, что в семи верстах от нашего города. Вам любой крестьянин покажет.

— Знаю, я бывал там! — вспомнил Удалярих. — Мы доскачем туда менее чем за час!

И мужчины, громко звякая шпорами, задевая стены ножами мечей, быстро удалились.

— Боже мой! — произнесла аббатиса с горечью, медленно садясь. — Что же вы наделали, неразумная?

— Ничего такого, — сжала ее запястье Кёнигштайн. — Просто слегка исказила истину: к этому моменту наших с вами воспитанниц в гроте Святого Витта быть уже не должно.

— Да, а вдруг Оду фон Штаде что-нибудь задержит в пути? И она не сможет их оттуда вывезти?

— Ничего уже не поделаешь! — устремила свой взор к потолку плутовка. — Я спасла монастырь Святого Сервация от позора, а спасется ли Адельгейда-младшая — дело Провидения!

...Но действительно, тетка Генриха Длинного опоздала на встречу — колесо на ее повозке неожиданно треснуло, и пока его чинили, минуло сорок минут. Бедные русские — Ксюша, Фекла-Мальга и Груня Горбатка — думали уже, что пропали: то молились Богу, то сидели обнявшись и плакали, то княжна сжимала в ладони медальон с профилем маркграфа, словно амулет, и шептала слова с просьбами о защите и помощи.

Грот Святого Витта был довольно мрачен и сыр. По его каменным стенам то и дело стекали крупные мутноватые капли, пахло плесенью, и материя тюфяков, на которых беглянки ночевали, быстро сделалась влажной. Разводить костер они побоялись, а без света и тепла цепенели души, становилось невыносимо муторно и тоскливо, и шуршанье крыльев летучих мышей где-то в вышине навевало ужас. Груня за эти годы изменилась не слишком: так же без конца охала и ахала и дрожала над своей госпожой, словно курица над цыпленком; но зато Мальга выросла не меньше княжны, а по части женских достоинств даже превосходила ее, и, хотя была не столь экзотична, не изысканно-утонченна, привлекала взор каждого мужчины. Обе девушки кутались в похожие темно-синие плащи-домино, и со стороны их вполне могли принять за сестер.

Вдруг у входа в грот затрепал под ногами гравий, замелькали факелы, и какие-то люди, говоря по-немецки, появились внутри прибежища трех славянок.

— Господи! — воскликнула Евпраксия и вдавила в ладонь теплый медальон.

— Это есть тетя Ода, не бойся, — раздались под сводами русские слова. — Я слегка задержаться, потому што ломаться пофоска... Энтшульдиген майн Цушпэткоммен! Ничего, всё теперь в порядка, выходите бистрей, надо торопиться!

Ксюша побежала навстречу фон Штаде, и они крепко обнялись. Кучер и слуга на запятках выносили тем временем вещи русских и грузили в возок. А Горбатка следила, чтобы ничего не забыли.

Наконец сели в экипаж и, благословясь, покатили по извилистым горным тропкам, по бокам поросшим пихтовым лесом, к Хильдесгейму, где их поджидал Генрих Длинный. Ехать было неблизко — пять часов, да еще большей частью по скалистому Гарцу, но иного пути не существовало. Приходилось надеяться только на удачу.

...А отряд императора прискакал к священному гроту через час после их отъезда. Спешившись, монарх со своими слугами бросился в пещеру и, к своему неудовольствию, обнаружил только тюфяки на полу да объедки незамысловатого ужина.

— Дьявол! Упустили! — выругался Генрих.

— Ничего, догоним, — приободрил его фон Эйхштед. — Далеко они уйти не могли. Мы их выследим, словно олених. И настигнем севернее Броккена!

— Да, по коням!

Пихтовые заросли провожали всадников, озабоченно качая фиолетовыми ветками-лапами. Комья глины летели из-под копыт. Ветер теребил гривы лошадей и плюмаж на шляпах рыцарей. Лица преследователей были красные, потные, разгоряченные.

У развилки придержали коней. Грунт начинался каменистый, и определить направление движения Адельгейды-младшей было невозможно.

— Надо разъезжаться, — оценил ситуацию государь. — Я поеду направо — к Брауншвейгу. Ты же отправляйся налево — в Хильдесгейм. И потом, с княжной или без нее, присоединяйся ко мне. Всё. Удачи!

Развернув скакунов, обе кавалькады устремились в разные стороны. Удальриху на равнине, распростершейся после леса и гор, ехать было гораздо легче. И минут через сорок он заметил далеко впереди экипаж графини фон Штаде.

— Вот они! — выкрикнул вельможа и от радости даже улюлюкнул. — Мы поймали их! Не уйдут, мерзавки!

С посвистом и гиканьем рыцари рванули за беглецами. Очень скоро грум, стоявший на запятках, обернулся и увидел, что за ними следуют вооруженные люди.

— Хорст, прибавь! — завопил он испуганно. — На хвосте погоня!

Ода выглянула в окошко, и лицо ее помертвело. Губы прошептали:

— О, Майн Готт! Кажется, попались...

Груня Горбатка стала креститься. Ксюша стиснула медальон и прикрыла веки. Конский топот застучал в ушах, надвигаясь неотвратимо...

— Стой! Стоять! Именем императора! Голову снесу! — раздалось снаружи.

Экипаж подпрыгнул и резко затормозил. Женщины услышали лязг металла, беготню и неясную ругань. Дверца распахнулась, и в повозку просунулась злобная, налитая кровью физиономия Удальриха фон Эйхштеда. Оловянным взглядом он обвел перепуганных дам и спросил надтреснутым, хриплым голосом:

— Кто княжна? Живо отвечать!

Наступила пауза. Неожиданно Мальга звонко заявила:

— Я княжна!

Рыцарь посмотрел на нее критически:

— Хороша чертовка!.. Вылезай давай. Мы тебя увозим.

— Нет, не смейте, не смейте! — вроде бы проснулась тетя Ода. — Это произвол! Я подам жалобу на сейм! — И пыталась удержать несчастную Феклу.

— Руки прочь! — отпихнул ее прислужник монарха. — Радуйся, что тебя не трогаю. А визжать начнешь — точно удавлю!

Вытащив бедняжку Феклу на воздух, он поднял ее, как пушинку, посадил на лошадь впереди своего седла, сам в него вскочил и, подав знак оруженосцам, поскакал назад, к Брауншвейгу. Вскоре отряд скрылся за поворотом.

Женщины сидели безмолвные, потрясенные всем случившимся.

— Боже мой, Феклуша! — наконец по-русски произнесла Евпраксия, и потоки слез хлынули по ее щекам. — Что же я наделала, подлая? Как могла позволить умыкнуть подругу вместо себя? Горе мне, горе!

Груня Горбатка обняла свою госпожу, начала покачивать, ласково поглаживая по безвольно вздрагивавшим плечам:

— Успокойся, милая... Нешто было б лучше, коли увезли бы тебя? На мою погибель? А Мальга — девка шустрая, спорая на ум, что-нибудь скумекает и отвертится. Вот ей-Бо!

— Йа, йа, — согласилась фон Штаде. — Няня гофрит прафда. Надо думать о тфоя шиснь, а потом уше о подруг. Мы потом Фекле помогать. А теперь — ехать, ехать, шнелль, шнелль! — И, нагнувшись к окну, крикнула возникшему по-немецки: — Хорст, быстрее скачи! Прежде чем откроется подмена, мы должны добраться до Хильдесгейма. Погоняй!

Щелкнул бич, и повозка покатила во весь опор, благо до города было уже достаточно близко.

...А когда через час в Брауншвейге император вышел навстречу прибывшему Удальриху и увидел женскую фигурку у того на коне, он сначала радостно расплылся, но затем, рассмотрев как следует, отступил на шаг. Дико проревел:

— Вы кого привезли, мерзкие скоты? Это не княжна!

— Не княжна? — поднял распушенные брови фон Эйхштед. — Да она сама заявила... — Сморщившись, оскалился, заскрипел зубами. — Бабы!.. Провели, надули!.. — Сжал огромные кулаки в перчатках. — Ваше величество! Дайте мне людей. Я ворвусь в Хильдесгейм. Всё смету на своем пути, но княжну добуду!

Генрих покачал головой:

— Поздно, упустили... Видимо, фон Штаде вместе с ней приближается уже к алтарю... — Подошел к стоявшей чуть поодаль Мальге, сдвинул с ее волос капюшон, заглянул в глаза: — Что, паршивка, вздумала обманывать императора? Или ты считаешь, у меня не достанет воли вздернуть тебя на башне?

На лице у Феклы выступили красные пятна. Девушка ответила по-немецки:

— Жизнь отдать за мою Опраксу — высшая награда!

— Ишь какая! — хмыкнул самодержец. — Нет, мерзавка, этой «высшей награды» ты не удостоишься. — И, взмахнув рукой, приказал приспешникам: — Уведите ее. Стерегите зорко. Отвечаете за русскую головой. Нам она еще очень пригодится.

...А зато в Хильдесгейме пара новобрачных в самом деле входила в храм Архангела Михаила... Тетя Ода, оказавшись за городскими стенами, сразу распорядилась опустить на воротах решетки и поднять мосты, чтобы люди Генриха IV не смогли, опомнившись, помешать свадебной церемонии. В городской ратуше женщин поджидал Генрих Длинный. Радостно-взволнованный, он расцеловал им обеим руки и наивно предложил отдохнуть — выспаться, помыться. Но когда узнал о погоне и ужасном похищении Феклы-Мальги, сразу заявил:

— В церковь, в церковь! До возможного нападения императора мы должны успеть обвенчаться. Пусть тогда попробуют увести жену от живого мужа!

Минуло всего минут двадцать, как жених и невеста уже опускались на колени перед алтарем храма. А епископ Хильдесгеймский говорил на латыни:

— *Ego conjungo vos in matrimonium in nomine Patris, et Filii, et Spiriti Sancti*¹⁷.

Заиграл орган. Евпраксия-Адельгейда глубоко вздохнула и прикрыла глаза: все ее мучения теперь позади, — раз она сделалась маркграфиней, то король больше не посмеет посягать на нее!..

Бедная не знала, что ее невзгоды только начинались.

Двадцать два года спустя,
Германия, 1107 год, осень

Молодой король Генрих V поджидал их в замке Заксенхаузена — левобережной части Франкфурта-на-Майне. Вышел, как отец, одетый в черный бархат, с по-

ясом и кулоном из серебра. Был немного ниже родителя и пошире в кости, не такой стройный, но гораздо больше походил на него, чем покойный Конрад (старший брат умер от сердечного приступа во Флоренции в 1101 году). Евпраксия узнала: тот же профиль и нос с горбинкой, та же бледность лица и круги под глазами, те же темные волосы до плеч.

Двадцатишестилетний самодержец посмотрел на бывшую мачеху и, кивнув приветственно, глухо произнес:

— Я благодарю вас, сударыня, за сердечный отклик на мою просьбу. Вы приехали очень кстати. Дело надо уладить мирно. Я, конечно же, могу вторгнуться в Шпейер со своей гвардией и заставить епископа Эйнхарда упокоить отца. Но потом, как уйдем, тело снова вынут из склепа, мне назло... Только ваше слово может оказаться решающим.

— Постараюсь оправдать ваши упования... Но скажите, ваше величество, отчего епископ действует вам назло? Вы же были единомышленниками, он способствовал отречению Генриха Четвертого...

Молодой монарх криво улыбнулся:

— Я не оправдал надежд оппозиции. Эти негодяи считали, что со мной будет легче, нежели с отцом. Что не стану воевать с Папой и пойду на поводу у саксонцев. Черта с два! Существуют принципы, от которых ни один порядочный человек не откажется. Я объединю под моим началом всю империю и оставлю за собой право назначать епископов. Генриху Четвертому мало удалось сделать в силу его дикого характера и николаитства. Но, по сути, он действовал в нужном направлении, и моя задача — завершить начатое им.

Киевлянка спросила:

— Но захочет ли Эйнхард со мной разговаривать?

— Я надеюсь, захочет. Он сторонник Папы, а покойный Урбан Второй вас поддерживал. И потом, как откажешь вдове поклониться праху умершего мужа? Это было бы вовсе не по-христиански. — Помолчав, са-

модержец добавил: — И к тому же Удальрих фон Эйхштед вам всегда поможет.

Ксюша удивилась:

— Жив курилка?

— Здоровее нашего. Но ударился в религию и ведет аскетический образ жизни. В Шпейере советую приютиться у него в доме — он живет один и по старой памяти очень хорошо к нам относится. А как старый служака никогда не изменит своим друзьям.

— Очень хорошо. И еще об одном хотелось бы узнать... То есть об одной... О моей подруге. Много лет назад я приехала в Германию вместе с Феклой, Феклой-Мальгой, ставшей в католичестве Агнессой. Обе мы вышли замуж за маркграфов фон Штаде — я за старшего, а она за младшего. Вы не слышали ничего о ее супруге Людигеро-Удо и о ней самой?

Генрих ответил:

— Слышал самую малость. Людигеро отправился в Крестовый поход и пропал где-то в Палестине. А графиня вдовствует и растит детей. Старший сын — кажется, его зовут Ханс-Хеннинг — был произведен в рыцари и уже сражался против меня, но остался жив.

— Как бежит время! Старший сын уже рыцарь!.. Впрочем, если б Леопольд, ваш покойный брат, был бы жив, то ему исполнилось бы семнадцать...

Пасынок и мачеха тяжело вздохнули. Женщина сказала:

— Что ж, тогда пойдем. Дело прежде всего.

Оба поднялись. Русская продолжила:

— Рада, что увиделась с вами. Рада, что Германия обрела твердого правителя. У меня с Генрихом Четвертым были сложные отношения. Мы любили друг друга и ненавидели тоже. Но моя любовь к нему пересиливала ненависть. Именно поэтому я и приехала.

Венценосец кивнул:

— Да поможет вам Небо, ваша светлость. Я молюсь за вас.

— Пусть и вы с помощью Всевышнего обретете то, для чего живете.

Собеседники раскланялись и расстались.

На пути к пристани Герман произнес:

— Он достигнет большего, чем его отец. Генриху Четвертому не хватало выдержки и дипломатичности. Он хотел всего и сейчас. А для короля, для политика это самая негодная из возможных черт.

— Да, чуть больше терпения, выдержки и дипломатичности, — повторила Ксюша. — И тогда всё могло бы получиться иначе...

Наклонившись, архиепископ быстро поцеловал ее руку:

— Не грустите, фрау Адельгейда...

— Я сестра Варвара, — уточнила она.

— Не грустите, сестра Варвара. Потому что история не знает сослагательного наклонения. Генрих Четвертый не мог быть иным, чем был, в силу объективных причин.

— Субъективных тоже.

— Субъективных тоже. Соответственно, и вы не могли быть иной. Соответственно, ваше счастье с ним не могло длиться долго. Даже при самой пылкой любви.

Евпраксия не возражала:

— Да, вы правы, наверное... Я ведь просто так — помечтала... А скажите, ваше высокопреподобие: восемь лет назад, в Штирии и Венгрии, уговаривая меня вернуться к его величеству, вы действительно думали, что семейное наше счастье — не химера? Он стремился к этому?

Герман погрузился в раздумья, долго шел в молчании. А потом ответил:

— Да и нет. Безусловно, во главу угла ставилась победа над Матильдой Тосканской. Вы своим возвращением к императору аннулировали бы решения собора в Пяченце. Дали б козыри в руки мужа... Но, конечно, Генрихом двигало и другое. Он ведь вас безумно любил.

Иногда называл богиней. Иногда — проклятием. Ненависть перемешивалась с любовью...

— Господи, как тяжело! — прошептала она. — Не могли быть вместе, но и не могли быть врозь... Господи, за что?.. — И заплакала тихо.

Он пожал ей кисть:

— Будет, будет, не надо слез. Я вас умоляю. Вы, когда плачете, разрываете мое сердце. Потому что я не знаю, как себя вести.

— Извините, патер... Это непроизвольно вышло. — Вытерла рукой щеки. — Так, минутная слабость. Постараюсь быть мужественной.

— Постарайтесь, пожалуйста. Потому что впереди — главная цель нашего визита. Чтоб ее достичь, нам придется потратить много сил и нервов.

— Да поможет нам Бог.

Судно под парусом было уже наготове. Выехав из Франкфурта, плыли по Майну на запад, а затем свернули на юг, чтоб уже по Рейну на вторые сутки добраться до Шпейера. Несмотря на осень, дни стояли прекрасные, солнечные, тихие. Желтые гористые берега Пфальца ласково шуршали опадавшими листьями. В небе то и дело проплывали косяки птиц, улетающих в жаркие страны.

— Вот бы тоже взять и взмыть! — провожая их взглядом, улыбнулась Ксюша. — Снова обрести крылья.

Герман ответил:

— Всякое случается в жизни.

— Только не со мной. Крылья мои подрезаны.

— Ах, не зарекайтесь, сударыня. Разве месяц тому назад вы могли представить, что окажетесь посреди Германии, в лодке на Рейне, на пути к склепу Генриха Четвертого?

— Совершенно не могла! — помотала головой Евпраксия.

— Ну, вот видите. Жизнь готовит нам массу неожиданных. Надо быть готовыми ко всему.

Двадцать один год до этого, Германия, 1086 год, осень

Замок Гарцбург был любимым пристанищем Генриха IV в Южной Саксонии. Он принадлежал королевской династии издавна, и в его капелле много лет покоились кости августейших особ. В ходе войны с саксонцами самодержец вынужденно сдавал Гарцбург неприятелю, и толпа вооруженных крестьян из соседних деревень ворвалась в замок, перебила и разрушила всё, что можно, в том числе и фамильный склеп, разбросав останки покойных около конюшен и кузни. Генрих был вне себя. Он тогда собрал немалое войско, заключил союзы с Богемией, Лотарингией и напал на саксонцев. Битва была жестокая. Государь потерял пять тысяч убитыми, а его противники — восемь тысяч. Жажда мести за поруганные могилы оказалась сильнее: догоняя обращенного в бегство врага, люди короля превратили в выжженную пустыню сотни деревень, виноградников и пашен. Гарцбург, Люренбург и другие замки, выстроенные монархом в Саксонии, были возвращены.

Гарцбург восстановили быстро. Возведенный на одной из высоких гор Гарца, он являл собой неприступную крепость: серые могучие стены, сложенные из грубо отесанных камней, узкие бойницы, башня с флагом королевского рода. В ней — беркфрите — и была помещена Фекла-Мальга. Из окна ее комнаты открывался чудесный вид на окрестные горы — сплошь поросшие зеленью и хвойными деревьями. А когда поднималось солнце, небо голубело, воздух освежал, то душа наполнялась радостными, светлыми чувствами и надеждами на спасение. Но когда на вершину Броккена к вечеру напозлали черные грозовые тучи, била молния, начинался ливень, а земная твердь содрогалась от обвального грома, будто в самом деле собирались ведьмы на шабаш в Вальпургиеву ночь, настроение становилось

скверным и казалось, что уже не вырваться на свободу. Про несчастную русскую боярышню вроде бы забыли. Минул год после ее обмана и пленения, а от Генриха не было вестей и приказов. Тем не менее Фекла продолжала вести себя храбро, плакала немного (да и то украдкой), ела всё, что ни подадут, коротала время за шитьем или же за книгами. Ей прислуживала горничная Марта — толстая глупая девица, от которой пахло свежекипяченным молоком и сдобным тестом.

— Где же император? — спрашивала пленная. — Нет ли слухов о моей участи?

— Ничего не знаю, ваше благородие, — отвечала немка. — Говорили, будто их величество поскакали в Магдебург, а когда вернутся, никому не известно.

Так окончилось лето 1086 года, наступила осень с грустными дождями, сыростью и холодом, в комнате Мальги каждый день разводили огонь в камине, и она грелась, завернувшись в плотное шерстяное одеяло, и вздыхала, глядя на пылающие поленья. Только в ноябре вдруг возникло оживление в замке, слуги зашевелились, заскакали по лестницам, от поварни повалил смачный дух готовящегося мяса на вертеле, по булыжникам внутреннего двора застучали копыта, и пришедшая Марта подтвердила догадку пленницы:

— Прибыли их величество. И в весьма, весьма хорошем настроении, между прочим. Это не к добру.

— Почему? — удивилась Фекла.

— Мы давно заметили: если они хохочут да балагурят, жди беды — или кого-то вздернут, или кому-то на костыляют.

— Ой, какие ужасы ты рассказываешь!

— Да какие ж ужасы, ваше благородие, если это правда? Мы здесь всякого уже насмотрелись. А про «Пиршество Идиотов» я и не говорю!

— Что такое «Пиршество Идиотов»?

— Лучше вам не знать.

— Нет, скажи, скажи.

— Ну, скажу, пожалуй. Это ритуал такой — посвящение в Братство.

— Что еще за Братство?

— Николаитов. Знаете про них?

— Слышала немного. Вроде бы они все еретики.

— Знамо дело, еретики. И христопродавцы. Потому что на службе у нечистого. Правят «черные мессы» и устраивают Содом и Гоморру.

— То есть как?

— Свальный грех.

— Что такое «свальный»?

— Фу, да вы как будто с луны свалились! Сваль-ный — это в свалку, все друг с дружкой... спят.

— Просто спят? В чем же грех тогда?

— Да не просто спят, а... ночуют... Как сказать, не знаю. В общем-то, живут... как супруги... Кто с кем ни попадя. Мужики и бабы. Мужики с бабами. Мужики с мужиками. Бабы с бабами...

У Мальги отвалилась челюсть и заколотилось бешено сердце:

— Да не может быть! Ты меня обманываешь.

— Правду говорю. Наших много там перебывало.

— Ну а ты?

— Бог миловал.

— Ну а если император прикажет?

— Лучше наложу на себя руки. Ни за что! У меня семья хоть и бедная, но порядочная. И богобоязненная. С сатаной дела не имеем. Лучше смерть, чем позор.

— Ой, а вдруг император мне прикажет участвовать в этом «Пиршестве Идиотов»? — испугалась русская. — Как себя вести?

— Это дело ваше. Но прикажут наверняка.

— Не дразни меня.

— А чего ж дразниться-то, ваше благородие? Девушка вы видная, всё при вас, неужели же их величество не потянет на сладенькое? Да как пить дать потянет. Вот увидите, что не вру.

— Я в отчаянии, Марта. Лучше вправду смерть.

— А с другой-то стороны — на каких условиях? Если денег даст, в шелк и бархат оденет да еще выдаст за какого-нибудь благородного дворянина, почему бы нет?

— Ты с ума сошла! А позор? А слухи?

— Да, позор — конечно. Но с другой-то стороны — если денег много, можно и позор пережить.

— Дура, замолчи! Прочь пошла отсюда! Жирная свинья. Я не продаюсь — ни за что, никогда, сколько б денег ни посулили.

— Это дело ваше. Но уж если все равно обесчестят, то за деньги-то лучше, нежели бесплатно...

Генрих посетил пленную боярышню на другие сутки. Фекла видела германского императора во второй раз в жизни, и ее опять поразила бледность лица монарха, резче проявлявшаяся в сочетании с абсолютно черными длинными волосами; а глаза сверкали нездоровым, лихорадочным блеском. Венценосец сел, живо улыбнулся, сделал жест рукой, приглашая собеседницу тоже сесть. И спросил негромко:

— Хорошо ли за вами ходят, есть ли жалобы?

— Жалоб нет. Просто взаперти плохо.

Он пожал плечами:

— Я не спорю! Ясно, нелегко. Но не вы ли добровольно пошли на муки, чтобы выручить свою госпожу? А за каждый такой поступок надо держать ответ... — Государь посмотрел в камин, где поленья потрескивали и щелкали в пламени. — Тем не менее я готов забыть... причиненную мне досаду... если вы дадите согласие сделать то, что я пожелаю.

Думая о «Пиршестве Идиотов», Фекла похолодела. И едва пошевелила губами:

— Что вы пожелаете, ваше величество?

Самодержец вытянул к огню ноги и ответил просто:

— Сделайтесь маркграфиней фон Штаде.

Русская едва не лишилась чувств.

— Я? Фон Штаде?! — И она затряслась от ужаса. — Неужели Опраксушки моей нет в живых?

— Да Господь с вами, отчего вы решили? — поразился монарх. — Евпраксия, а точнее, теперь Адельгейда, в полном здравии и живет в согласии со своим супругом, Генрихом Длинным. Но подрос его младший брат — Людигеро-Удо. Если вы не станете возражать против свадьбы с ним, то не только поучите от меня свободу, но и сделаетесь полноправной хозяйкой всей — я подчеркиваю: всей! — Нордмарки.

Фекла машинально провела ладонью по лбу, словно проверяя, нет ли у нее жара, и растерянно посмотрела на императора:

— Как сие возможно?

— Пусть формальности вас не беспокоят. Главное — согласие. Независимость и богатство, многочисленные владения и блестящее положение в обществе — вот цена вашему ответу «да».

— А Опракса? Я хотела сказать — Адельгейда? Где она окажется в этом случае?

Генрих с удовольствием произнес:

— О, Адель!.. Адельгейда не пропадет. Уж поверьте мне как главе Священной Римской империи! Я ее возведу так, как не снилось ни одной киевлянке!

Девушка по-прежнему сомневалась. Видя это, государь раскрыл карты полностью. Он воскликнул с чувством:

— Или, может, вы не хотите, чтобы ваша подруга стала императрицей?

У Мальги задрожали пальцы, и она их спрятала под накидку. Отдышавшись, спросила:

— Как — императрицей?.. А ее величество Берта?

Венценосец поморщился:

— Я с ней развожусь. Если Берта вообще дотянет до развода. При ее-то тучности...

— Право, я не знаю, ваше величество. Это неожиданно...

— Быстро отвечайте: да или нет?

Русская молчала, понурившись. Самодержец поднялся, бросил на ходу:

— Хорошо, подумайте. Я даю вам время до завтра. — И направился к двери.

— Я согласна, — раздалось у него за спиной.

Повернув голову, император с усмешкой посмотрел на боярышню:

— Вы согласны?

— Да.

— Что ж, отлично. Поздравляю с правильным выбором. Нынче же напишу письмо Генриху фон Штаде с предложением женить его младшего брата. Я уверен: он не сможет отказать императору! — И, расплывшись в улыбке, государь вышел.

А Мальга, упав на колени, заломила руки и прошептала:

— О, Святая Мария! Вразуми меня! Помоги не наделать глупостей!

Там же, 1086 год, зима

Миссию возглавил сам епископ Бамбергский — Рупрехт. Вместе с ним в Штаде прискакали шестеро рыцарей из ближайшего окружения кесаря. Вся семерка сразу была принята маркграфом у него во дворце.

Порученец монарха передал хозяину замка скрученный в рулончик пергамент и почтительно склонил голову. Молодой человек ответил церемонным поклоном. Предложил гостям сесть, развернул послание и предался чтению.

Зала была просторна, потолки высокие, с темными, незакамуфлированными балками. По стенам, наряду с коврами, размещалось рыцарское оружие — сабли и мечи, булавы с ребристыми гранями и топорики, круглые щиты и фрагменты лат. Над огромным разожженным камином были приколочены головы живот-

ных — чучела трофеев графской охоты. А внизу, у огня, грелись три крупные борзые собаки и внимательно наблюдали за незнакомцами.

Отложив пергамент, повелитель Нордмарки сухо произнес:

— Я, конечно, ценю весьма, что его величество так печется о моем младшем брате. И подруге моей жены... Но осмелюсь задать вопрос: для чего Генриху Четвертому нужен этот брак? Да еще столь поспешный? Людигеро-Удо только-только исполнилось семнадцать, он еще не был посвящен в рыцари...

На лице епископа, несколько одутловатом и дряблом, с толстыми щеками, появилось некое умильное выражение, отдаленно напоминающее улыбку:

— Сын мой, не сомневайтесь: в устремлениях императора нет и не может быть ничего корыстного. Более того, он весьма сожалеет, что не так давно, год назад, под влиянием минутного искушения чуть не помешал свадьбе вашей светлости. И устройством счастья Людигеро-Удо хочет хоть частично загладить свою вину. Доказательство тому — знатное приданое, щедро выделенное для русской фрейлин.

Доводы священника не подействовали на графа. Продолжая докапываться до истины, он спросил с не меньшим упорством:

— Отчего бы тогда его величеству просто не отпустить несчастную девушку? Мы могли бы выдать ее за брата и сами, без вмешательства государя.

Рупрехт иронично ответил:

— Ваша светлость слегка лукавит... Без вмешательства государя вы не стали бы женить Людигеро-Удо на такой бесприданнице, хоть и знатного рода. Разве нет? И потом, вы же знаете характер нашего любимого властелина: если он ненавидит, то оголтело, если же раскаивается, то готов идти босиком в Каноссу...

Генрих Длинный живо согласился:

— Да, я знаю характер нашего любимого властелина... И поэтому должен поразмыслить как следует. Дам ответ завтра утром. А сейчас отдыхайте, господа, пейте, ешьте — всё, что пожелаете. Мы гостям всегда рады.

Евпраксия, узнав от мужа о намерениях самодержца, сразу испугалась:

— Он затеял что-то недоброе. Надо проявить осторожность и прозорливость, а иначе мы окажемся в западне.

— Да, но что он хочет? Не могу понять... — И хозяин замка опустил в деревянное кресло, на расшитую шелковую подушку, подперев голову рукой.

Рыжая растительность покрывала его веснушчатые щеки. Светлые, чуть заметные брови были собраны в невеселую складку на переносице. Граф уже не выглядел желторотым птенчиком и в свои двадцать с небольшим мог вполне сойти за зрелого мужчину.

Благотворно брак подействовал и на Ксюшу: при ее прежней детскости, появилась женственность манер и движений, мягкость, обтекаемость форм, милое кокетство во взоре. Но во время разговора об императоре на лице Опраксы читалось крайнее волнение:

— А с другой стороны, как не броситься на выручку горемыке Мальге? Вызволить из плена?

Муж ответил:

— Ты еще не знаешь о престранном условии, выдвинутом его величеством.

— О каком? — напряглась она.

— Людигеро-Удо должен сам приехать в Гарцбург. Обвенчаться в капелле замка и уехать с Феклой сюда... Может, в этом и кроется капкан? Я боюсь отпустить брата одного.

— В самом деле странно. У меня объяснений нет, но я чувствую: что-то здесь не так. Кесарь сплел коварные сети, притаившись в засаде, как паук.

— Сети на кого? На меня? Или Людигеро?

— Или на меня? — с некоторой задумчивостью высказалась женщина.

— Ну уж нет! — помотал головой Длинный. — Ты здесь ни при чем. Ты пропала для него навсегда, выйдя за меня.

— Ох, не зарекайся.

— Правда, правда. Он тебя не достанет при всем желании. А пойдет войной — и столкнется со всей Нордмаркой. И Саксонией! Будет сам не рад.

— Что ж, возможно... — Адельгейда вздохнула. — Предлагаю вот что. Задержи Бамбергского епископа в Штаде. И в ответной грамоте Генриху Четвертому укажи прямо: если тот обидит маленького графа, Рупрехт понесет суровую кару. Вплоть до отсечения головы!

У супруга заблестели глаза.

— Это здравая мысль. У тебя мужской ум, Адель! Я тобой восхищаюсь — с каждым днем всё больше. — Он поднялся с кресла, подошел к жене и поцеловал с нежностью. — Ты моя хорошая, славная, чудесная... Я безмерно счастлив быть с тобою бок о бок, строить наше гнездышко!

— Да, я тоже. Милый, обещай: что бы ни случилось, ты не выдашь меня императору! — И она посмотрела на него снизу вверх, словно на спасителя.

Генрих удивился:

— Господи, о чем ты?

— Ох, не знаю, право. Что-то гложет сердце. Тайное предчувствие.

— Хватит, хватит бояться. Я — вассал короля, но на брачные узы подчинение мое не распространяется. И давно миновали времена с правом первой ночи и других нелепиц. Можешь быть спокойна.

— Я молюсь о том, дабы всё недоброе, что задумал кесарь, не осуществилось!..

В тот же вечер у маркграфа состоялась беседа с младшим братом. Тоже рыжий и конопатый, но не столь худой и гораздо более приземистый, тот стоял на-

бычившись и смотрел исподлобья, словно загнанный в угол зверь: вроде еще немного — и зарычит. Людигеро-Удо не любил в жизни трех вещей: службы в церкви, женщин и родного старшего брата. В церкви он засыпал, так как выучить латынь был не в состоянии. К слабому полу относился с презрением и рассматривал как некое средство удовлетворения возникавших потребностей, ровней не считал и в своих представлениях ставил на одну доску с глупыми слугами и домашним скотом. Генриху же Длинному бесконечно завидовал: почему ему одному — слава и богатство, а для младшего брата — лишь крохи? Вот бы подстеречь его и зарезать! Только так, чтобы подозрение пало на другого. То-то было бы счастье!

И теперь что же получается? Ненавистный Длинный предлагает ему венчаться с некой оборванкой из далекой страны?! Как его язык только повернулся! Да убить за такое мало!

Но последние слова Генриха привлекли внимание юноши:

— ...и пока у меня с Адельгейдой нет детей, ты — единственный наследник Нордмарки. Если вдруг со мною что-нибудь случится, управление перейдет к тебе...

«Если вдруг с тобою что-нибудь случится, — мысленно повторил фон Штаде-младший. — Да, действительно, было бы неплохо...» И продолжил вслух:

— Я женился бы, пожалуй, на русской бесприданнице — при одном условии. Ты в своем завещании должен указать: в случае твоей смерти, если у тебя не будет детей, Адельгейде не отойдет ни единой пяди нашей земли. Деньги ей заплатим — и пускай уезжает на свою поганую Русь.

— Ты уж больно крут и горяч, братишка.

— Да, так что с того? Если речь заходит о целостности Нордмарки, сохраненной для нас поколениями предков, все телячьи нежности следует отбросить.

— Хорошо, будь по-твоему. Я внесу этот пункт в свое завещание. Завтра же заверю его у нотариуса.

Рупрехт молча выслушал заявление старшего маркграфа о принципиальном согласии на свадьбу Удо и о временном заключении епископа под стражу. А в конце сказал:

— Остаюсь в заложниках без малейшего трепета. Ибо знаю: с Людигеро ничего не случится.

— Коли так, то и с вашим преосвященством тоже.

Шесть гвардейцев императора вместе с семьей пажам Генриха фон Штаде и с самим Людигеро-Удо отбыли на юг. В Гарцбурге монарх встретил их радушно, закатил грандиозный пир, демонстрируя при этом дружеские чувства, и присутствовал лично при повторном знакомстве жениха и невесты: первое, три года назад, по прибытии свадебного поезда Евпраксии из Киева, было мимолетно и почти не запомнилось. «Он довольно неотесан и грубоват, — оценила Фекла. — Но сложен неплохо и физически развит. Вон какие толстые пальцы — кочергу завяжет узлом. Что еще желать? Моего ума хватит на обоих». Да и молодой человек констатировал с удивлением: «А она милашка! Не чета Адельгейде. Та — как чашка из китайского фарфора, тонкая и хрупкая, зазевался — и разобьешь. А у этой есть на что посмотреть... и за что подержаться!.. Хм, определенно, русская сучка неплоха. А корявое имя Фекла поменяем на более удобоваримое». Император благословил их брак.

Церемония прошла перед Рождеством и была очень пышной. Музыканты играли праздничные мелодии, разодетые молодые шли из церкви с улыбкой, принимая поздравления именитых гостей. По старинному обычаю, у ворот дворца все должны были выпить по бокалу вина, а молодожены — в последнюю очередь, вслед за чем невеста разбивала бокал, перебросив его через голову. Удаальрих фон Эйхштед, исполнявший роль одного из шаферов, снял с Людигеро-Удо бархат-

ную шапочку и надел на Агнессу (так теперь именовалась Мальга). А она подставила свою ногу, чтобы юный муж на нее символически наступил. После этого началось застолье, с песнями и плясками. Приглашенные остались довольны.

День спустя самодержец пригласил новобрачного в царские покои. Угостил вином и спросил, скоро ли фон Штаде собирается восвояси.

— В понедельник, ваше величество, — отозвался Удо.

— Я вам выделю два десятка охранников, самых закаленных и смелых. Пусть потом составят эскорт Рупрехту Бамбергскому... — Помолчав, государь приступил к основному: — Вот что, Людигеро... До меня доходили слухи, что у вас бывают размолвки с братом?

Парень покраснел:

— Иногда... повздорим... всякое случается...

— Вы его не любите? — пристально взглянул на него монарх.

— Я? — запнулся тот. — Я ему подчиняюсь... как велит закон... Генрих Длинный — старший, он глава Нордмарки, стало быть, и нашего клана... сюзерен...

— ...но считаете себя обделенным? Ведь у вас только пара замков — отдаленных и незначительных.

Младший брат фон Штаде, ерзая на стуле, не решился поднять глаза. Думал: «Что он хочет? Для чего затеял этот разговор? Почему пытается выпытать подноготную наших отношений?»

Развязав кожаный мешочек, венценосец извлек небольшой флакон с плотно притертой блестящей пробкой и поставил его перед собеседником.

— Это что? — недоверчиво спросил недавний жених.

Император взмахнул рукой:

— Так, одна безделица... Если вам покажется, что пришла пора самому управлять Нордмаркой... Не бежать же к аптекарю за снадобьем! Сплетен потом не оберешься...

Округлив глаза, Людигеро-Удо пробормотал:

— Вы... мне предлагаете... отравить Генриха?!

Кесарь сдвинул брови:

— Забываетесь, ваша светлость! Я — помазанник Божий, а не злоумышленник. Вы вольны трактовать мои слова как угодно, но прямых указаний нет и быть не может. Император — вне подозрений! Поняли, надеюсь?

Юноша кивнул.

— Вот и ладно. — Самодержец вновь спрятал склянку в мешочек, затянул тесьму. — Тяжесть невелика. Места займет немного. А быть может, и осчастливит — вас... и многих... — Сделав паузу, он продолжил: — Я прошу об одном: соблюдайте все меры предосторожности. Никому ни слова. Чтобы самому не навлечь на себя несчастья. Было бы прискорбно приговаривать вас к повешению за убийство родного брата. Очень тяжело!..

— Обещаю, ваше величество.

И когда молодой человек ушел, прихватив с собой заветный мешочек, государь с улыбкой сформулировал для себя: «Этот — головорез. Мать родную продаст, а не то что брата. Дело сделано, семя брошено в благодатную почву. Надо только ждать. Думаю, недолго».

Там же, 1087 год, весна

Окончание холодов и приход тепла не был омрачен никакими скверными событиями. Фекла-Агнесса, возвратившись с супругом в Штаде, бросилась в объятия Евпраксии, и счастливым слезам обеих не было предела. Успокоившись, молодые графини радостно нашли, что замужество повлияло на них очень хорошо. Долго не могли расстаться, всюду ходили вместе и подолгу разговаривали по-русски в Ксюшиных покоях.

— Ты, по-моему, счастлива? — спрашивала Мальга.

— О, немало! Генрих очень мил и невероятно забот-

лив. Не дает скучать, каждый раз выдумывает новые потехи: то зовет певцов-миннезингеров, то устраивает мистерии в храме. А наместники слушали галльского сказителя — о бесстрашных подвигах рыцаря Роланда. Всем зело потрафил.

— Мой такого не любит, — говорила подруга. — Книжек не читает и на мессы не ходит. На уме — скачки да турниры, игры в кости да бои петухов. Но зато в алькове — превеликий кудесник и Геркулес. Не дает мне роздыху от вечерней до утренней зорюшки. — И они обе хохотали, закрывая носики надушенными платочками.

Вскоре молодожены отбыли из Штаде в замок Грюнберг, отошедший в собственность Людигеро-Удо после смерти отца. Жизнь у Генриха Длинного и его жены вновь вошла в привычные берега: муж с утра занимался делами, слушал отчеты управляющих многочисленными хозяйствами, сборщиков податей, принимал городских ратманов, разбирал прошения горожан и селян; Адельгейда давала указания стольнику, заведующему графской кухней, ключнику и горничным; после службы в церкви иногда выезжали на конные прогулки, иногда бывали в гостях у соседей; вечерами слушали чтение вслух рукописных книг, привезенных из Гамбурга, Бремена и Кёльна, и домашний орган; спать ложились рано — не позднее половины девятого. Молодая чета относилась друг к другу с нежностью, растянув тем самым медовый месяц более чем на год. Но пришла весна, а с весною — Пасха, на которую прикатили из Грюнберга младший брат и его беременная жена. Тут-то и случилось непоправимое.

Нет, вначале праздник шел, как ему положено: люди из окрестных селений зажигали факелы и ходили с ними по холмам да долам, прыгали над большими кострами и пускали с берега в воду горящее колесо телеги, а в конце спалили чучело зимы из соломы. Парни танцевали с мечами, а красиво одетые девушки распевали

песни на улицах города и за это получали гостинцы. Но на третий день между братьями фон Штаде приключилась ссора. Оба сильно выпили и повздорили из-за пожелания Людигеро-Удо получить в кормление новые угодья в Нордмарке. «У меня жена на четвертом месяце, — заводился младший, — ты обязан это учесть и пойти на уступки». — «Я не стану делить земли предков, — огрызнулся старший. — И того, что уже имеешь, хватит на целый выводок детей». Слово за слово — чуть не подрались.

Рано утром разобиженный муж Агнессы, прихватив супругу, удалился обратно в Грюнберг. А к полудню того же дня Генрих Длинный неожиданно потерял сознание, начал бредить, звать на помощь, и его трясло от озноба. Вызванный из города лекарь сделал кровопускание, но от процедуры графу стало хуже. Вечером он скончался.

Хоронить его приехала вся округа. Адельгейду, то и дело падавшую в обморок от горя, под руки вели тетя Ода и вернувшаяся с мужем из Грюнберга Мальга. Гроб с умершим опустили в саркофаг рядом с саркофагом его отца.

А при выходе из собора тетя Ода сообщила племяннице по-немецки:

- Знаешь, у императора тоже ведь несчастье.
- Да? Какое? — безразлично спросила Ксюша.
- У него в Италии умерла жена, Берта...

Евпраксия вздрогнула, сопоставив оба происшедших события. У нее подогнулись ноги:

- Господи Иисусе! Я теперь пропала...

Двадцать лет спустя, Германия, 1107 год, осень

Прямо с пристани Герман и Опракса поспешили к дому Удальриха фон Эйхштеда. Двухэтажное здание было невелико, мало отличалось от остальных, сосед-

них; красно-коричневая черепитчатая крыша узким клином упиралась в осеннее небо, из нее торчала длинная кирпичная труба; водосточные желоба шли по бокам; камни первого этажа вылезали из булыжников мостовой серыми огромными глыбами, а второй, в деревянных квадратах и треугольниках, выложенный красными кирпичами, выглядел воздушнее и как будто бы веселее. У дубовых окованных дверей притулились два фонаря. Чтобы вызвать привратника, надо было стучать деревянным молотком в деревянный круг.

Но в дверях появился не привратник, а сам Удалярих — сильно постаревший и полысевший. Волосы у него топорщились, как и прежде, но намного более редкие, смахивали на перья плохо ощипанной сморщенной курицы. Кожа под глазами отвисла, а во рту не хватало нескольких зубов. И вообще бывший первый рыцарь императора походил на дряхлого облезлого пса. Правда, со зрением у него было все в порядке, потому что, увидев Евпраксию, тут же ахнул и задрал брови в удивлении:

— Бог ты мой! Уж не сон ли это? Адельгейда, ваше величество! Да какими ж судьбами? Герман! Ваше высокопреподобие! Вот так гости! Проходите, пожалуйста... — Взяв горящую свечу, осветил ступеньки. — Я сегодня один: отпустил слугу навестить умирающую мать. Больше никого в доме нет: я да он. Так, по-холостяцки живем. Предаюсь молитвам, чтению богословских книг и ухаживаю за телом его величества...

Герман обронил:

— Неужели? Мы ведь, собственно, из-за этого и приехали...

Рыцарь усадил их за стол и принес с кухни незатейливую еду — ветчину, хлеб и сыр, огурцы и яблоки. Водрузил пузатую бутылку с вином, оплетенную соломкой. Предложил помянуть Генриха. А потом расказал:

— Года два назад сын с отцом повздорили. Мы пытались их примирить — да куда там! Оба стояли на смерти, оба желали править. И его величество устремился в Майнц, где маркграфы и герцоги собирали сейм, чтобы власть отдать одному из Генрихов и покончить с неразберихой в стране. Ну так вот. Как сейчас помню: Рождество провели во Франкфурте, а тридцатого декабря поскакали в Майнц. И почти сразу нарвались на засаду!

— Чью? — спросил Герман.

— Генриха-младшего. И попали в плен. Привезли нас в замок Бекельхайм, где епископ Шпейерский Эйнхард вышел навстречу императору. Генрих Четвертый спрашивает его: «Как мне понимать этот балаган?» А епископ, поскребыш, гадко ухмыляется и ему отвечает: «Здесь не балаган, ваше величество, а конкретное историческое событие: отречение императора от престола». Государь, понятное дело, только рассмеялся и говорит: «Уж не вы ли меня заставите подписать отречение?» Эйнхард соглашается: «Безусловно, я. Мне поручено или вынудить вас издать манифест об отречении, или умертвить». Генрих говорит: «Вы, епископ, человек Божий, замазаете руки кровью?» Эйнхард снова кивает: «Без малейших колебаний. Ибо есть убийства из благородных побуждений. И они — не грех!»

— Ну и как отреагировал кесарь? — задала вопрос Ксюша.

Удальрих отпил из высокой чарки и продолжил повествование:

— Он сказал, что ему необходимо подумать до утра. Эйнхард разрешил. Император закрылся в тех покоях, что ему предоставили, и никто не знал, что он делает... А наутро вышел какой-то сгорбленный, похудевший, и лицо — серое, как пепел. Очень, видно, переживал, болезный... Вместе с нами сошел по парадной лестнице и предстал перед Эйнхардом. Говорит ему: «Если подпишу отречение, то могу рассчитывать на свободу?»

Тот ему отвечает: «Слово чести. Будущий король, Генрих Пятый, распорядился оставить при вас охрану в десять человек, замок Люттих и его окрестности в качестве лена¹⁸. Гарантирует для вас безопасную старость». Государь согласился. Взял перо и размашисто подписался под манифестом, где указывал, что по доброй воле передает скипетр, державу и другие инсигнии¹⁹ собственному сыну. А потом встал и, не попрощавшись, вместе с нами покинул замок. А епископ с грамотой отправился в Майнц, на сейм, где провозгласили новым королем Генриха Пятого.

Старый рыцарь исповедовался весь вечер. Много пил и много говорил. Рассказал о последних днях жизни императора в Люттихе. 3 августа 1106 года Генрих IV потерял сознание и с постели больше не вставал. Но успел причаститься и составить предсмертное письмо, где прощал сына и просил его не мстить никому из своих сторонников. А 7 августа самодержца не стало.

Евпраксия спросила:

— А епископ Эйнхард почему не дает похоронить тело?

Удальрих вздохнул:

— Говорит, что покуда Папа с императора не снимет анафему, не положено. Врет, конечно, собака. Нет такого правила, нет такого канона. Сколько раз его убеждал — ни в какую. Слава Богу, что не запрещает мне держать в надлежащем виде гроб с покойником, убирать в часовне. Я ведь из-за этого в Шпейере и живу. Дом вот приобрел на последние крохи и решил оставаться при его величестве до момента погребения. А потом уйду в монастырь.

Старикан совсем захмелел и едва не падал со стула от усталости. Но когда киевлянка и Герман стали помогать ему перебраться в спальню, рассердился, встал самостоятельно и, держа свечу, показал им гостевые комнаты, где они могли бы заночевать. И затем торжественно удалился в опочивальню.

Кёльнский архиепископ попрощался с сестрой Варварой:

— Что ж, спокойной ночи. Завтра предстоит трудный день.

Русская кивнула:

— Да, беседа с Эйнхардом ничего хорошего не сулит. Главное, хочу посетить часовню, поклониться праху.

— Это непременно. — Он хотел поцеловать ей руку, но она не позволила:

— Нет, не надо, будьте милосердны.

Он не понял, даже удивился:

— В чем немилосердие?

— У разверстой могилы целоваться кощунственно.

— Мой невинный поцелуй — просто ритуал, не содержит никакого намека.

Ксюша посмотрела на него с укоризной:

— Не кривите душой, святой отец. Вы и я, оба понимаем, что намеки излишни.

Герман помрачнел:

— Вы неправильно толкуете мое отношение к вам.

— К сожалению, правильно. И хочу сказать: чем бы ни окончился мой визит в Германию, я вам за него благодарна. Помогли мне осмыслить мою судьбу и взглянуть с расстояния прожитых годов... Но визит закончится, я вернусь на Русь, вы вернетесь в Кёльн, и останемся добрыми друзьями.

У него на губах промелькнула тонкая улыбка:

— Безусловно, так. А иначе и быть не может.

— Очень рада, что вы это понимаете.

— Мы останемся добрыми друзьями.

— Ничего изменить нельзя, — заключила русская.

— Ничего изменить просто невозможно.

— Я вас возлюбила лишь как ближнего моего.

— Я вас тоже. Исключительно так.

— Вы меня успокоили.

— Вы должны были это знать.

— Я теперь спокойна.

— Это самое главное. Завтра предстоит трудный день.

— Надо хоть немного соснуть.

— Постарайтесь выспаться, — пожелал ей священник.

— Вряд ли, вряд ли. Впечатления переполняют меня. Лишь бы задремать на полчаса.

— Я желаю вам добрых сновидений.

— Да, и вам.

— До свиданья, сестра Варвара.

— До свидания, ваше высокопреподобие.

— Завтра трудный день.

— Надо выдержать его с честью.

А оставшись одна, Евпраксия расплакалась. Жалобно, беззвучно. И необъяснимо. Просто о себе, о своей утраченной жизни, о чудовищной невозможности что-либо исправить.

Утро было солнечным, ясным, но достаточно зябким. По булыжникам шуршали желтые листья. Кутаясь в плащи, Адельгейда, Герман и Удальрих появились на улочке и направились к центру города, где стояла церковь Святого Гвидо. Здесь, по распоряжению Генриха III, находилась рака с нетленными мощами. А за церковью, за другой улочкой, начиналась площадь Шпейерского собора — он вознесся к небу мощными квадратными островерхими башнями, полукруглым куполом, красными кирпичными стенами и высокими узкими окнами с витражами. Темные резные ворота были открыты, а внутри различались красный алтарь и горящие свечи.

Удальрих сказал:

— Надо зайти к Эйнхарду за ключами от часовни. Он их носит сам и всегда дает крайне неохотно.

— Вот мерзавец, — выругался Герман вполголоса.

— Вы со мной не ходите, пусть пока не знает о вашем приезде, — предложил фон Эйхштед.

— Ладно, подождем вас на улице.

Сели на лавочку возле дерева, всю усыпанную опавшей листвой. Евпраксия спросила:

— Как изволили почивать, ваше высокопреосвященство?

— Хорошо, спасибо.

— Я зато не сомкнула глаз.

— Неужели?

— Всё воспоминания, размышления... тени на потолке... Даже побоялась задуть свечу.

— Ах ты Господи! Постучали бы ко мне, посидели бы вместе.

— И помыслить такого не могла: для чего будить невинно спящего человека?

— Я развеял бы ваши страхи.

— Мне самой надо научиться подавлять их.

— Получается?

— Так себе.

Он взглянул с усмешкой:

— Вы боитесь меня немножко, да?

— В глубине души.

— И напрасно.

— Будущее покажет.

Появился старый рыцарь с ключами. Помотав головой, посетовал:

— Патер не в настроении. Видимо, опять расшалилась печень.

— Желчный человек?

— О, еще какой!

— Ну, тогда понятно...

Все втроем направились к маленькой часовне, что располагалась в саду, в нескольких минутах ходьбы от собора: проступала из-за деревьев черной обгоревшей свечой — вместо фитиля черный крест. Удальрих повернул ключ в замке. И прошел первым внутрь.

Ксюша переступила порог, чувствуя, как бьется сердце. Постепенно ее глаза освоились в полумраке. Посреди помещения на массивном столе возвышался

гроб, покрытый белой материей с красным крестом посреди.

«Крест! — подумала Опракса. — Генрих не признавал его, а теперь им накрыт. Крест его настиг и поверг. Крест сильнее. Никому не уйти от собственного Креста». Опустилась на колени и беззвучно прочла молитву.

Эйхштед возжег несколько свечей, и часовня наполнилась желтым светом — теплым, осенним, как это утро.

Герман задал вопрос:

— Гроб не заколочен?

Рыцарь помотал головой:

— Нет, открыт.

— Можно посмотреть на лицо императора?

У бедняжки Евпраксии вырвалось:

— Я прошу — не надо! Я не вынесу, сил не хватит!

Но священник настаивал:

— Вы должны. Не бойтесь. Вам потом самой станет легче.

Удальрих заметил:

— Он довольно хорошо сохранился. Страшного не будет. — И сказал святому отцу: — Поднимайте покрывало с того конца. Сложим пополам.

Крышку сняли. Евпраксия продолжала стоять на коленях, опустив голову, не решаясь оторвать взгляд от пола. Между тем Герман произнес:

— О, Святая Мария, тлен и вправду не коснулся его чела!

Эйхштед подтвердил:

— Значит, Небо его простило. Это добрый знак.

Кёльнский архиепископ наклонился к Опраксе:

— Обопритесь на руку. Ну, смелее, смелее. Господи, да вы вся дрожите! Успокойтесь, милая, с нами Провидение.

Женщина держала глаза закрытыми. Чуть заметно шевельнулись ресницы, веки поднялись. Бывшая императрица с ужасом взглянула на мертвеца. И внезапно оцепенела.

Он действительно лежал, точно спящий. Умиротворенный. Только кожа высохла и приобрела коричневатый оттенок. Губы были сжаты. Волосы покоились ровно. А неяркий свет скрадывал детали.

Евпраксия сделала шаг вперед. Еле слышно проговорила по-русски:

— Вот и слава Богу... Я теперь спокойна... Генрих, я приехала. Попросить прощения. Осенить крестом... Все невзгоды забыты. Впереди у нас только вечность. Наша, наша вечность! — И, нагнувшись, поцеловала императора в лоб.

Герман тоже поцеловал, но скрещенные руки. И сказал негромко:

— Я клянусь вам, ваше величество: что бы ни было, доведу дело до конца. Если надо, отправлюсь в Рим, к Папе, но добьюсь разрешения на ваше захоронение. Справедливость восторжествует.

— Да, тогда и самим умереть не страшно, — отозвался рыцарь.

Так они стояли у открытого гроба, думая об одном, но каждый по-своему.

Неожиданно за спинами услышали голос:

— Что здесь происходит? Кто вы такие? Как вы смеее?!

Обернувшись, они увидели невысокого скрюченного человечка с загнутым книзу носом и ввалившимися щеками. Он казался большим покойником, чем лежащий в гробу монарх. Опираясь на палку, незнакомец подметал сутаной полы.

Удальрих ответил:

— Ваше преосвященство, я позволил себе... Потому что это ее величество императрица Адельгейда и его высокопреосвященство Герман Кёльнский... — А потом обратился к своим друзьям: — Разрешите представить вам его преосвященство Эйнарда Шпейерского...

Местный епископ несколько смягчился, но особой радости не выказал. Отозвался с упреком:

— Вечно вы, Эйхштед, все запутаете. Почему не пришли ко мне сразу? Для чего скрывали от меня наших знатных гостей?

Тот признался с прямою истого служаки:

— Были опасения, что от вас не поступит санкции на открытие гроба.

— Справедливые опасения. Закрывайте, закрывайте его! Не тревожьте праха. Надо проявлять деликатность.

— Деликатность?! — не выдержала Опракса. — Вы, святой отец, говорите о деликатности? А извлечь из склепа похороненное тело — это деликатно? И держать его более года на столе в неосвященной часовне — деликатно? По-христиански?

Эйнхард нахмурился и проговорил не спеша:

— Ваша светлость сгущает краски. Я готов прояснить свою позицию, но не здесь, не у трупа Генриха Четвертого... Может быть, закроем все-таки гроб?

Старый рыцарь и Кёльнский архиепископ водрузили крышку и расправили на ней покрывало. Эйнхард произнес:

— И задуйте свечи. Не хватало еще пожара... Милости прошу в мои покои. Там и побеседуем.

Шли садовой аллеей. Сгорбленный священнослужитель сказал:

— Видите могилку? Без креста? Здесь мы упокоили карлика Егино — помните такого?

Евпраксия кивнула:

— Разумеется, как не помнить!

— Он скончался вслед за государем. Очень переживал, бедняга. Проводил дни и ночи около часовни, ничего не ел и не пил. Умер от истощения...

— Почему же могила без креста?

— Потому что он был активным николаитом, еретиком. И не причастился, не исповедался перед смертью, не отрекся, как Генрих, от кощунственного учения.

— Вы могли бы его простить и так.

— Бог простит. Если пожелает.

Миновали угол собора, но епископ не повел их внутрь, а направился через площадь, в дом, где проживал. Здание было выше многих, трехэтажное, крепкое, сложенное из серого камня и потому довольно мрачное, как и сам хозяин. Поднялись по лестнице, и монахи-прислужники растворили двери гостевой залы. Там стояли длинный стол и несколько деревянных кресел, больше ничего; да и внутренность остального дома поражала своим аскетизмом, скромностью, доходящей до нищеты, — даже в монастырях не было такого.

Усадив посетителей в кресла, Эйнхард устроился напротив и произнес:

— Я вина не пью и вам не советую. А питаюсь исключительно овощами и зеленью. Так что не пеняйте на скудное угощение.

— Пустяки, — заверил архиепископ Кёльнский. — Мы сюда не трапезничать приехали.

Подали вареную брюкву в соусе, отварную фасоль и шпинат, а в стаканах простую воду. Молча принялись есть и пить. Наконец хозяин сказал:

— Понимаю вашу, Герман, и короля затею: привезти вдову императора, чтобы разжалобить меня. Дескать, если уж ее светлость, развенчавшая Генриха Четвертого на соборе в Пьяченце, просит за него, я обязан смягчиться... — Он какое-то время пожевал губами беззвучно, а потом продолжил: — Нет, расчет не верен. Дело не во мне и отнюдь уж не в моих чувствах. Существует порядок. И пока Папа не снял анафемы, мы не вправе предавать земле тело, как предписано погребать достойного христианина и тем более — кесаря.

Герман возразил:

— Разве смерть монарха и его раскаяние перед смертью, причащение, отпущение грехов не снимает анафемы как бы само собою? Он скончался как праведник, вновь поцеловав крест.

Шпейерский епископ тем не менее стоял на своем:

— Не снимает, нет. Потому что анафема есть анафема, и ее снимает лишь Папа Римский.

Евпраксия спросила:

— А нельзя ли нам в таком случае увезти тело?

Эйнхард догадался:

— Дабы упокоить в другом месте? Нет, нельзя, ваша светлость, в том-то вся и штука! Генрих Четвертый завещал, чтобы погребли его именно в Шпейерском соборе. И нарушить завещание мы не можем.

Воцарилась пауза.

— Значит, надо ехать в Рим, — заключил Герман. — И просить у Папы аудиенции.

Адельгейда забеспокоилась:

— В Рим? Не знаю... Вы хотите, чтобы я поехала тоже?

— Было бы желательно.

Шпейерский епископ вмешался:

— В Рим не обязательно. Можно просто в Штутгарт.

Все с недоумением посмотрели в его сторону. Тот ответил:

— По моим сведениям, Папа Пасхалий Второй продолжает гостить у герцога Вельфа и его супруги Матильды Тосканской в Швабии. Но в начале ноября должен возвратиться в Италию. Если поспешите, то увидите с ним и замолвите слово за усопшего. Я же обещаю со своей стороны выполнить любое решение первосвященника.

Евпраксия впервые за последние дни слабо улыбнулась:

— Вы вселяете надежду в наши души, святой отец. Он слегка потупился:

— Исцеление душ — главная забота нашей церкви. — Помолчал и добавил: — И поверьте, я не столь ужасен, как вам показалось.

Ксюша усмехнулась:

- Если всё пройдет гладко, мы еще подружимся!
Эйнхард согласился:
— Почему бы нет? Я не возражаю.

**Двадцать лет до этого,
Германия, 1087 год, лето**

После похорон Берты, императрицы, умершей, по официальной версии, от сердечного приступа, наступившего вследствие ожирения, Генрих IV возвратился из Италии вместе со своим старшим сыном — Конрадом. Молодому человеку было уже восемнадцать лет, но, воспитанный под присмотром матери и похожий на нее — полнотой, медлительностью, вялостью, — он казался рохлей и размазней. Поговаривали даже, что покойная итальянка понесла его не от государя, а какого-то герцога из Швабии. Но монарх признавал Конрада родным сыном и хотел короновать, как положено по традиции, в Аахене, а затем отправить в Италию собственным наместником.

Поселившись в Гарцбурге, самодержец узнал из надежных источников, что княжна Евпраксия — Адельгейда фон Штаде, — получив деньгами всё, оставленное ей скончавшимся Генрихом Длинным по завещанию, собралась вернуться к родителям в Киев; по дороге домой погостила у тети Оды, а затем заехала попрощаться с преподобной матушкой Адельгейдой в Кведлинбург и должна вот-вот от нее отбыть. Долго не раздумывая, венценосец сел на коня и в сопровождении нескольких верных рыцарей поскакал в монастырь, возглавляемый его сестрой-аббатисой.

Появление кесаря, как всегда, вызвало сумятицу в благородной обители. Экстренно накрыли на стол, настоятельница за бокалом вина завела нудный разговор о «несчастной Берте» и о «принцах-сиротках», но ее собеседник слушал невнимательно, ел немного, а потом спросил прямо:

- Маркграфиня здесь?

Аббатиса сделала вид, что не поняла:

— Маркграфиня? Которая?

Он занервничал:

— Вы прекрасно знаете! Русская княжна!

У сестры на щеках выступили пятна:

— Да, но ей нездоровится... и просила не беспокоить, кто бы ни приехал.

Император приподнял бровь:

— Даже я? Даже если я приеду, не беспокоить?

— Вы — особенно.

— Почему?

— Потому что ваше величество нагоняет на нее первобытный страх. Бедная малышка уверена, что у вас на уме одно: обесчестить ее и бросить.

Генрих улыбнулся:

— Значит, надо развеять эти глупые страхи. Я скажу ей о моих искренних намерениях — сделать ее императрицей.

— Вы не шутите?

— Пусть меня покарает Небо, если я солгал.

Самодержец выглядел достаточно убедительно. Настоятельница подумала и сказала:

— Что ж, попробую ее убедить... Попрошу маркграфиню спуститься в сад.

Кесарь медленно сошел по ступенькам. Сад благоухал: молодые, все еще не крупные розы источали сладкий аромат. Цикламены и маргаритки радовали глаз причудливыми цветками. Яблоневые деревья были легкомысленно веселы. А столетний дуб вроде приглашал: сядь сюда, отдохни под моей развесистой кроной, пережди в тени летний зной.

На кусте дремала бело-синяя бабочка. Венценосец протянул руку и дотронулся пальцами до ее крыла. Насекомое испуганно упорхнуло, а на пальце остался бледно-голубой, чуть заметный след.

— Добрый день вашему величеству, — прозвучал нежный голос.

Он с улыбкой повернул голову: на аллее стояла Ксюша — в траурном черном одеянии, и накидка из темных кружев наполовину закрывала ее лицо. Блики от фигурных дубовых листьев падали на смуглую кожу. Тонкие воздушные пальцы мягко перебирали четки.

У монарха, напротив, одеяние не выглядело траурным: в нем преобладало красное с добавлением серого; только черная лента на левом рукаве говорила о скорби по умершей супруге.

— Здравствуйте, графиня. Рад, что вы пришли.

— Разрешите выразить глубокое соболезнование...

Немец разрешил. И сказал в ответ:

— Я сочувствую и вашему горю.

Адельгейда-младшая подняла на него глаза: в темноте накидки цвет их был уже не ореховый, а коричнево-оливковый. Русская спросила:

— Странное совпадение. Не считаете?

Кесарь удивился:

— Совпадение? Вы о чем?

— Об одновременности этих смертей. И скоропостижности.

Сузив губы, он проговорил:

— Вы подозреваете, что они произошли насильственным образом?

Отведя глаза, киевлянка ответила:

— Мысли возникают различные...

Между ними, тархтя крыльями, пролетела желтая стрекоза.

— Но какая связь?! — слишком горячо воскликнул монарх. — Берта очень долго болела, задыхалась от ожирения, и врачи не смогли ей ничем помочь... А внезапный удар вашего супруга — мне докладывали — носит совершенно иной характер... Что же общего?

Молодая женщина продолжала перебирать четки.

Император не выдержал, выпалил с досадой:

— Как вы смеее намекаеь, графиня?!

У нее по губам пробежала торжествующая улыбочка:

— Я? Помилуйте! Я вообще молчу...

— Ну, так не молчите! Говорите как на духу!

— Но о чем же?

— Что вы думаете о связи этих двух явлений.

Продолжая улыбаться загадочно, Евпраксия спросила тихо:

— Ваше императорское величество возжелало взять меня в жены?

Кесарь поразился ее отваге: ни одна дама в королевстве не посмела бы обратиться с таким вопросом к августейшей особе. Чутьочку помедлив, Генрих произнес:

— Предположим. Я от вас без ума.

— Вот вам и ответ — о возможной связи этих двух смертей.

Государь насупился:

— Вы, надеюсь, отдаете себе отчет, чем рискуете, утверждая подобное?

— Чем же?

— Головой. Только что, мгновение назад, я был обвинен вами в преступлении.

Опустив ресницы, Адельгейда-младшая остроумно заметила:

— Я не понимаю: вы хотите на мне жениться или отрубить голову?

Венценосец от неожиданности даже растерялся. А придя в себя, засмеялся в голос:

— Вы неподражаемы! Не могу сердиться!

— Вот и не сердитесь. Я не смела обвинять вас ни в чем. Но ведь мы-то знаем: кесарю достаточно невзначай обмолвиться, чтобы доброхоты из числа слуг бросились исполнять желание повелителя...

Нежно взяв ее за руку, он заставил вдову фон Штаде сесть на маленькую скамеечку, установленную под дубом, а затем опустился рядом.

— Наплевать на слуг. Мерзкие людишки. Обезьяны, скоты. Слишком уж услужливы... Мне и вам нет до

их преступлений дела. Выбросьте свои ненужные подозрения. Ведь на всё воля Божья.

Евпраксия безвольно склонила голову:

— Может, это происки дьявола?

Самодержец вздохнул:

— Понимать не можем... Мы игрушки в руках судьбы. И порой не знаешь, кто из них нами правит... — Он болезненно поморщился, посмотрел куда-то в пространство, сжал ее ладонь. И продолжил: — Я вам объясню. Честно, без утайки... Берту и меня обручили заочно — мой отец, император Генрих Третий, и ее отец, итальянский маркграф Сузский. Потому что желали укрепить империю родственными связями. Мне в то время исполнилось три с половиной года, Берте — три...

Адельгейда-младшая слушала, продолжая сидеть, как сфинкс. Венценосец рассказывал:

— Я впервые в жизни ее увидел по прошествии тринадцати лет, лишь на брачной церемонии, и меня потрясло уродство этой девушки: толстая, нескладная, с мокрыми от пота ладонями... Боже! Как иметь с нею что-то общее? А тем более — разделить супружеское ложе? От одной этой мысли у меня тошнота подступала к горлу. Всё внутри клокотало, протестовало... — Самодержец помедлил. — Да-с, не лгу! Раз уж признаваться, то до конца: после свадьбы мы почти год спали в разных комнатах. И жена оставалась девственницей... Но потом она пожаловалась своему отцу. На его вопросы я ответил сразу, что желаю развода. Он сказал, что не видит никаких оснований. «Как — не видите? — удивился я. — Но она мне не симпатична. Более того, от нее у меня несварение желудка!» Но маркграф и слушать не желал. «Эти глупости про любовь, — говорит, — только для бродячих певцов». Что ж, тогда я решил раздобыть законное основание для развода: уличить жену в супружеской неверности. И подговорил друга — Удальриха фон Эйхштеда — мнимо за ней уха-

живать. А когда она согласилась на свидание с ним, пригласив в альков, сам зашел к ней в опочивальню — с целью разоблачить... Но попался в ее ловушку! Берта ведь не знала, что это я, — думала, пришел Удальрих... И дала знать укрывшимся в спальне по ее приказу лакеям. Те набросились якобы на Эйхштеда, а фактически на меня, и измолотили до полусмерти.

Ксюша не сдержала смехок. Генрих взмахнул перчаткой:

— Весело? Конечно... Мне тогда было не до смеха: жизнь казалась конченой — был я в вашем возрасте, восемнадцати лет... В общем, написал прошение о разводе Папе Римскому. Получил взамен сердитую отповедь: он грозил отлучить меня от церкви и лишить права управлять Германией. Я тогда смирился. Результат этого смирения — трое наших общих детей. Но душа томила, разрывалась от недовольства, рядом с императрицей чувствовал себя неуютно, скверно. Да, грешил! Я метался от женщины к женщине, но ни в ком не видел настоящего чувства. Только ложь, притворство, имитация страсти, алчность... Есть ли вообще на свете та возвышенная и праздничная любовь, о которой так выпренно распевают странствующие поэты?

Император смолк. Евпраксия взглянула на него краем глаза и увидела профиль, отекавший на тысячах немецких монет: римский нос, чуть поджатая нижняя губа и волна волос, бегущая вдоль щеки. Много раз, разглядывая деньги с этим ликом, киевлянка думала: кто же он, Генрих, на самом деле? Оборотень, дьявол, лиходея и развратник, о котором ходили жуткие истории? Или идеал мужской красоты и силы, страстная натура, опороченная молвой? И теперь вот она сидела рядом с ним. И каким-то внутренним чувством понимала: кесарь — не исчадие ада. Он — измученный, слабый человек, у которого всё идет вкривь и вкось, неприкаянный, очень одинокий.

И страшщийся одиночества, и идущий поэтому на разные сумасбродства, и желающий выглядеть в глазах подданных жестким, непримиримым правителем, и пугающий тем людей. Да и Ксюша его боялась. А бояться нечего. Надо не бояться, а пожалеть. Протянуть руку помощи. Поддержать в трудную минуту.

У вдовы участилось дыхание, задрожали пальцы. Слабо шевеля языком, женщина сказала:

— Может быть, со мной... обретете счастье?

Венценосец вздрогнул, повернул к ней лицо. Бледное, взволнованное, радостное. Он порывисто наклонился, взял ее за плечи, развернул к себе. И обжег дыханием:

— Значит, вы согласны?

Взор монарха был таким нестерпимо жгучим, что Опракса зажмурилась, слабо простонав:

— Да, пожалуй... При одном уговоре...

— Поясните. Ну же! — Кесаря трясло от предельного возбуждения.

— Мы обязаны соблюсти приличия. И носить траур целый год. Через год обручиться и еще год вести целомудренный образ жизни как жених и невеста. Получить благословение моего отца — князя Всеволода... И потом только обвенчаться.

У него в глазах всплыло раздражение:

— Господи, зачем эти все причуды? Если прикажу, то никто не пикнет о нарушенных правилах.

Русская потрясла головой:

— Только так, как просила я. А иначе ничего не получится.

Император продолжал смотреть ей в лицо — смуглое, прелестное, с острым носиком, сросшимися бровями, длинными густыми ресницами, загнутыми кверху, и с тревогой в темных миндалевидных глазах. От ее существа шел чудесный запах — жимолости, ладана, мяты, — перемешиваясь с запахом садовых цветов.

— Будь по-вашему, — произнес монарх. — Я готов

терпеть, сколько полагается. — И приблизил уста к ее устам.

Поцелуй получился долгий, трепетно-головокружительный.

— Ах! — отпрянула она, отвернула голову и смущенно спрятала в черных кружевах разгоревшиеся щеки. — Вы, как змий, искушаете меня: грех во время траура...

Он пожал ей запястье:

— Не стыдитесь порыва чувств. И ступайте с Богом. Я заеду вновь в Кведлинбург в день Святой Адельгейды. Или же пришлю с кем-нибудь подарки.

— Буду очень рада...

Женщина, отвесив церемонный поклон, быстро удалилась из сада. Генрих сидел один под дубом, окруженный зеленью и причудливыми цветами. Тонко улыбнувшись, сам себе сказал:

— Вот оно! Я нашел, нашел! Берта не годилась, вечно подвергая сомнениям все мои поступки. А живая, добрая славяночка влюбится в меня по уши. И пойдет со мной даже в Братство. Жертвоприношение на «Пиршестве Идиотов» смоем мои грехи. При союзе с русскими прежняя церковь не устоит. Это будет новая христианская империя — без Креста. Рупрехт меня похвалит.

А Опракса, продолжая скользить по каменным полам в галереях монастыря, с замиранием сердца думала: «Господи, неужто я к нему прикипела?» И боялась признаться: прикипела, присохла и прилепилась — навсегда, до конца ее жизни.

Там же, 1088 год, лето

«Вдовствующей маркграфине Адельгейде фон Штаде и великой княжне Киевской Евпракsee Всеволодовой из рода Рюрика, — многие лета.

Дщерь моя! Получил я с нарочными грамотку немецкого императора, где он просит твоей руки,

и твое письмо с изъяснением всех событий, происшедших за эти годы. Разреши, во-первых, посочувствовать твоему неожиданному горю — удалению в мир иной твоего супруга Генриха Длинного, пусть ему земля будет пухом! Во-вторых, признаюсь, я не сразу принял решение дать свое добро на твой новый брак. И хотя Его Величество Генрих IV излагает здраво преимущества будущего союза, как то: тесная связь Священной Римской империи и Святой Руси, побуждение греческой и латинской церкви к объединению, объявление совместного похода в Палестины для освобождения Гроба Господня, — оставались в душе сомнения. Хватит ли у русичей сил? Не упустим ли, устремившись к Западу, наши вотчины на Востоке, подвергаемые опасности от поволжских булгар и остатков хазар? А Его Высокопреподобие митрополит Киевский и Всея Руси Иоанн II отговаривал тож: нечего, дескать, киевской княжне ублажать германского варвара и плодить от него потомков; мол, крепить надо отношения с Царь-градом, а не с Римом. Но, помыслив непредвзято и вспомнив о заветах батюшки моего, мудрого князя Ярослава, все же я решил не чинить препятствий твоему желанию выйти за правителя немцев. И не про христианскую церковь, расколотую надвое, не про ратные подвиги были думы мои (это дело сложное и для нас пока больно неподъемное), но единственно про твое благо. Ибо я люблю тебя, как и прежде, и хочу, чтобы ты имела все добро, даримое Господом: сильного и знатного мужа, умных и красивых наследников, полный роскоши дом, а в семье — совет да любовь. Поступай, как знаешь, доча, и прими отеческое к тому благословение. Поцелуй от меня сердечно будущего зятя — Генриха IV (я ему напишу особо).

А к сему спешу сообщить, что у нас все живы, здоровы, слава Богу, молимся Всевышнему, соблюдаем посты, отмечаем праздники, и Господь к нам милостив:

никаких напастей, голода и мора не обрушивает на наши смирные города и веси. Матушка твоя, а моя верная супруга, также благословляет тебя и желает счастья. Братья и сестры — Янка, Володимер Мономах, Ростислав и Екатерина Всеволодовы кланяются в пояс. А по их примеру — жители великого Киевского княжества, да хранит их Господь!

А за сим — прощай и не забывай нас в своих молитвах. Мы же молимся о тебе денно и нощно.

Твой родитель и по милости Божьей князь великий Киевский Всеволод Ярославов Рюрикович руку приложил.

Писано с его слов в лето 6596 месяца июля в 9 день от Сотворения Мира».

Эту весточку из родного края привезли Ксюше в августе 1088 года. Молодая женщина целый год провела в Кведлинбурге, в монастыре, ожидая появления императора и торжественной церемонии обручения с ним. Генрих вел войну с не желавшим подчиняться ему маркграфом Экбертом фон Глейхеном, осадил его замок в Тюрингии и не раз участвовал в конных стычках, а свою возлюбленную навещал урывками. Приезжал измученный, запыленный, нервный от желания победить, злой на всех, кроме Евпраксии. Целовал ей руки, привозил подарки, спрашивал о ее заботах, но ответы слушал в пол-уха, машинально кивал, думая о собственных неудачах. Погостив час-другой, уезжал обратно, даже не отобедав как следует.

Адельгейда-младшая с каждым разом привязывалась к нему все сильнее и сильнее. Робость и сомнения, безотчетный страх и дурные предчувствия, наполнявшие ее при первых свиданиях с государем, постепенно сошли на нет. Да, конечно, она не могла не видеть, что характер его отвратен, он бывает груб, а порой свиреп, но вдова фон Штаде принимала кесаря именно таким, сочетающим в себе и хорошее, и плохое. А хорошего, по ее понятию, было больше. Красота и ум, дерзкие суж-

дения, артистизм натуры, интересная бледность и огонь в глазах — всё внушало ей неподдельное восхищение, трепет сердца. «А семейное счастье сделает его мягче и добрее, — думала Опракса. — Я смогу окружить супруга теплотой и заботой. Он изменится, будет, как мой батюшка, — справедливый, уравновешенный». Сладкие мечты наполняли ее. Виделись кудрявые смышленные дети — мал мала меньше, трое или четверо, зала для гостей в замке Гарцбург, тихо играющая лютия... Разве это несбыточно? И она жаждет слишком многого? Почему у других все мечты сбываются, неужели судьба не подарит киевской княжне хоть немного радости? Если не мечтать, то и становиться невестой не стоит...

Вскоре, вслед за весточкой с родины, прискакал Удальрих фон Эйхштед — взмыленный, как собственный конь, с бурыми пятнами крови на плаще и набухшими жилами на шее.

— Собирайтесь, маркграфиня! — рявкнул он. — Надо убираться отсюда. Мы разбиты. А его величество ранены. Еле удалось увезти его в Гарцбург. Он велел отправить вас в Магдебург, под защиту архиепископа Гартвига. Потому что враги, во главе с фон Глейхеном, собираются брать Кведлинбург.

Побелев, Евпраксия проговорила:

— Я поеду к его величеству. Я должна находиться рядом!

— Поздно, не успеем: путь на Гарцбург уже отрезан. Умоляю, поторопитесь, ваша светлость!

— Но скажите по крайней мере: рана не опасна?

— Нет, не слишком. Наложили жгут, и кровотечение прекратилось.

Показав на плащ рыцаря, Адельгейда-младшая в ужасе спросила:

— Это кровь императора?

— Да, его.

У нее бессильно подогнулись колени, и она, опустившись на пол, стала целовать зловещие пятна.

— Ваша светлость, ваша светлость! — поднимал ее на ноги вельможа. — Мы теряем время! Не гневите Господа! Надо убегать!

Но уйти не успели: войско Экберта окружило город, и ворота Кведлинбурга замкнулись, чтобы не впустить неприятеля внутрь. Началась осада.

Рана императора не давала ему возможности встать с постели и возглавить освобождение Ксюши. Он лежал и кипел от негодования. Но потом понемногу успокоился и составил две грамоты: первую — в Магдебург, архиепископу Гартвигу (своему ближайшему другу, также отлученному Папой от церкви за неподчинение изданным понтификом законам) с приказанием наступать на фон Глейхена с северо-востока; а вторую — в Бамберг, для епископа Рупрехта, с просьбой принять *особые* меры к совершенно зарвавшемуся маркграфу. Отослав гонцов, государь откинулся на подушки и, задумавшись, не внимал островам карлика Егино со своей назойливой обезьянкой.

Во второй половине августа стали поступать донесения. Гартвиг прискакал к Кведлинбургу с тысячным отрядом, но его удар оказался слаб, и противник отогнал магдебуржцев от города. В это время человек Рупрехта просочился в стан осаждающих и, когда Экберт, ничего не подозревая, мирно плавал в речке Боде, охлаждая тело в немыслимую августовскую жару, подобрался к нему под водой и всадил нож под сердце. Бездыханный аристократ всплыл в волнах, поалевших от крови. Войско без предводителя дрогнуло. Этим живо воспользовался Гартвиг: он ударил снова и прогнал тюрингцев, перебив половину войска, а другую половину рассеяв.

Кведлинбург распахнул ворота под восторженные крики простых горожан. Рать архиепископа чинно прогарцевала по улице Широкой, всюду встречаемая песнями и цветами. На Марктплац Гартвиг спешил, и ему поклонились вышедшие из ворот обители монашки, а сама аббатиса приложила к его руке.

— Где же маркграфиня фон Штаде? — пробасил священнослужитель. Он одет был, как подобает военному, в шлем и латы, на боку висел длинный меч, а к седлу прикреплялся щит. Гартвиг (как и Герман) мало походил на духовного пастыря, — рослый, мускулистый, он прекрасно владел оружием и скакал, как заправский кавалерист; более того, отвергая закон целибата, изданный Папой, жил по-прежнему со своей «попадьей», подарившей ему нескольких детишек, и при этом, несмотря на подобную «ересь», оставался во главе Магдебургской епархии...

— Маркграфиня фон Штаде — это я, — сделала шаг вперед Евпраксия. В черном одеянии киевская княжна выглядела скромно, даже аскетично, но в глазах, выражавших радость и какой-то детский, прямо-таки щенячий восторг, не было смирения совершенно.

— Рад увидеть вас в добром здравии, ваша светлость. — И святой отец приложил к груди руку. — Попросил бы вас готовиться к переезду: завтра поутру отправляемся в Магдебург. Вскоре туда придут и его величество. Я желаю сам провести церемонию обручения.

— С удовольствием подчиняюсь, ваше высокопреосвященство.

Путешествие длилось ровно три часа и прошло спокойно, без эксцессов: солнце нагревало повозку, справа и слева цокали копытами боевые кони Гартвигова войска, а сомлевшая Груня Горбатка то и дело клевала носом, сидя рядом со своей любимой питомицей. На другие сутки в Магдебурге появился и государь, не совсем еще поправившийся и поэтому приехавший не верхом, а в коляске. Дом архиепископа сразу же наполнился звоном посуды, смехом, беготней, а неистовый карлик Егино без конца шалил и пугал Горбатку визгами Назетты.

В церкви Либфрауэнкирхе собралась городская знать. Гартвиг, облаченный уже в сутану и другие, по-

ложенные для богослужения одеяния, прочитал проповедь о благе Священной Римской империи, интересы которой сосредоточились теперь на Востоке; символ союза Запада и Востока — предстоящий брак императора и великой Киевской княжны; а затем разрешил обменяться кольцами и соединить уста в поцелуе.

Самодержец приподнял кружевную накидку невесты. Ощутил электрический разряд, пробежавший от волос Адельгейды-младшей к его руке. Нежно улыбнулся. И она улыбнулась тоже — ясно, без жеманства. И проговорила негромко:

— Я люблю вас, ваше величество. Вы мой Бог. — И сомкнула веки, потому что он прикоснулся теплыми, взволнованными губами к ее детским полуоткрытым губам.

Там же, 1089 год, лето

Целый год провела Евпраксия в доме Гартвига. Относились к ней подчеркнуто вежливо, развлекали и ублажали, не отказывали ни в чем. Юная вдова с удовольствием помогала жене архиепископа в выполнении нехитрой домашней работы, нянчилась с ребятами, пела им красивые русские колыбельные. К ней самой приставили новую служанку — Паулину Шпис, бойкую девицу из местных, острую на язык и довольно вредную. Груня Горбатка невзлюбила ее с самого начала и всегда старалась выставить перед госпожой в невыгодном свете. А насмешливая германка ядовито отшучивалась, называя няньку «старой хрычовкой» и «кривой каракатицей». По воскресным дням, с разрешения Ксюши, Паулина уходила на танцы в ратушу, предварительно разодевшись и гребенкой взбив медные кудряшки; возвращалась за полночь — сильно навеселе, томная, усталая и с бесстыдными искорками в изумрудных глазах. «Тьфу, похабница, — говорила Груня. — Сразу видно:

путалась с кем ни попадя на блудливых игрищах. Разве ж можно терпеть такую? Прогони ея, в шею вытолкай, Господом Христом тебя заклинаю!» Но Опракса снисходительно махала рукой: «Ах, оставь, пусть покуролесит, молодая ведь. Служит она прилежно, а свободное время может проводить, как ей вздумается. И потом, благодаря Паулине мы всегда знаем, что творится в городе и о чем судачат».

А судачили вот о чем: император короновал в Аахене сына Конрада и отправил его в Северную Италию собственным наместником. Но неопытный в политических делах юноша быстро оказался под влиянием неприятелей Генриха IV — Папы Урбана II и его сподвижницы маркграфини Тосканской Матильды. Коалиция против «антипапы» Климента III и германского монарха выглядела мощно. Венценосец помышлял о новой войне в Италии, но пока что медлил.

— Что же будет? — спрашивала с тревогой кесарева невеста у архиепископа. — Состоится ли наша свадьба?

Гартвиг уходил от прямого ответа, говорил, что надеется на лучший исход и что, скорее всего, венценосец осуществит matrimониальные планы. Но по ноткам сомнения, исподволь звучавшим в его голосе, молодая женщина понимала, что дела ее не столь хороши. Раз два она отправляла грамотки жениху — с просьбой уделить ей внимание и решительно успокоить. Но гонцы возвращались в Магдебург без ответных писем: нареченный не удостаивал невесту пергаментами, лишь веля передавать на словах, что по-прежнему ее обожает, помнит обо всем и мечтает об августе 1089 года — времени их венчания. Адельгейда и хотела верить, и не могла, и страдала.

Наконец в июле прискакал посыльный от императора: Генрих IV собирается в Кёльн и приказывает архиепископу следовать туда же вместе с княжной под надежной охраной. Что тут началось! Суета, волнение,

приведение в порядок нарядов и упаковка дорожных сундуков. Выехали сильным вооруженным отрядом в первых числах августа. И, благополучно миновав Брауншвейг, Ганновер и Дортмунд, на шестой день пути оказались в Дюссельдорфе. А оттуда до Кёльна — три часа езды.

Император встретил нареченную на соборной площади, в окружении многочисленной свиты и под звуки праздничной музыки. Был одет он отменно — в темно-красный бархат, а бриллианты на шапочке, в ожерелье и на эфесе меча резали глаза солнечными брызгами. Прибывших приветствовал Кёльнский архиепископ Герман, близкий родственник Гартвига и его сподвижник (тоже отлученный от церкви Урбаном II и по-прежнему, как ни в чем не бывало, продолжавший исполнять обязанности архиепископа). Все направились к Герману в дом, где пропировали до самой зари, здравя самодержца и его невесту, распевая рыцарские песни и выкрикивая боевые призывы: «На Константинополь! На Иерусалим! За Гроб Господень!»

Подготовка к свадьбе заняла восемь дней: по народным поверьям, именно в это время злые духи особенно агрессивны и способны наслать порчу на молодую, если она раньше времени выйдет за порог. Разгружала багаж Евпраксии только самая надежная челядь: посторонний недоброжелатель мог заколдовать ее вещи. Накануне бракосочетания Адельгейда торжественно приняла ванну, чтобы смыть с себя прежние грехи, а затем «проводила вдовью жизнь» небольшим девичником. Утром ее одели в красное атласное платье — неприталенное, как тогда полагалось, подпоясанное тонким серебряным ремешком. На заколотые распущенные волосы водрузили легкий венец, весь усыпанный жемчугом. И обули в красные кожаные туфельки, также шитые золотом и усыпанные жемчужинами, не забыв при этом положить под правую пятку медный пфенниг («на счастье»).

Две процессии — жениха и невесты — двигались к храму порознь. Было раннее погожее утро 14 августа. На соборах Кёльна заливались колокола. Горожане затемно вышли на улицы, чтоб занять лучшие места, поглазеть на наряды знати и увидеть своими глазами, так ли хороша русская княжна, как о том болтают. При ее появлении возникала некоторая пауза, а потом толпа начинала выкрикивать: «Слава будущей королеве!» — и смеяться, и кидать в воздух шапки.

Впереди процессий двигались музыканты — с флейтами, виолами, бубнами. Грохот стоял приличный, — по традиции, надо было отпугивать злые силы от новобрачных. Удальрих фон Эйхштед, исполнявший роль шафера, вел невесту.

Возле входа в храм две колонны соединились. Колоссальная роза — круглое огромное окно над порталом, в разноцветных стеклах — радостно сияла на солнце. Двери медленно отворились. Заиграл орган. Первым внутрь храма вошел император — тоже в красном атласном одеянии и таком же, как Опракса, венце. Вслед за ним проплыла она, а затем остальные гости. Перед главным алтарем, возле золотой раки с мощами трех волхвов, приходивших поклониться новорожденному Христу, архиепископ Герман соединил руки новобрачных. А архиепископ Гартвиг, прочитав положенную молитву, объявил Адельгейду и Генриха мужем и женой. И короновал киевлянку как императрицу.

Музыка органа, заставляя вибрировать высокие своды, проникала молодой государыне в самое сердце. Ксюша стояла взволнованная, чуть живая, ощущая на голове золотую имперскую корону, в правой руке зажав скипетр, в левой — державу. Плечи ее сгибались под тяжестью королевской горностаевой мантии. Возле ног покоились меч императора и его священное копьё. «Господи, — думала она, — неужели это не сон? Я — императрица? И супруга Генриха? Господи, как странно! Я такая счастливая, Господи!»

Из ворот собора вышли уже рука об руку. Возвращаться из храма полагалось иной дорогой, нежели вначале, чтобы обмануть и запутать злые силы. На ковре, расстеленном во дворе дома Германа, складывались подарки от приглашенных: золотые кубки и чаши, ожерелья, пояса и огромные перстни. Барабанный бой возвестил о начале пира — с острыми и жирными яствами, нескончаемым потоком вина, музыкой и танцами до упаду. Ровно в полночь создавалась новая процессия: Адельгейду повели в спальню. Колыхалось пламя свечей, музыканты играли что-то очень нежное. Удальрих усадил супругу императора на ложе и, нагнувшись, снял с нее левую туфельку. Не вставая с колен, бросил через голову: по примете, кто из холостяков, составлявших эскорт, ухватил обувку, тот наверняка тоже женится в этот год.

Наконец императрицу оставили с нянькой и служанкой. Те ее раздели, sprыснули пахучей кельнской водой, уложили под простыню. И, сердечно пожелав упоительной брачной ночи (Груня, разумеется, снова плакала), притворили за собой дверь.

Стало очень тихо. Только фитили восковых свечей еле слышно потрескивали, медленно сгорая. Иногда из залы, с первого этажа, доносились взрывы веселья. Августовская ночь за окном выглядела черной.

Сердце Евпраксии билось гулко, громко. В голове шумело от выпитого вина.

— Боже! — прошептала она. — Боже, сделай так, чтобы он со мной был таким же ласковым, как покойный Генрих!

Дверь открылась. На пороге стоял император в окружении разноперой свиты; приближенные пьяно улыбались и заглядывали в спальню. Не дослушав сыпавшиеся реплики: «Будьте счастливы, ваше величество!», «Многие лета!» и «Спокойной ночи!» — венценосец замкнул створки. Чуть ли не на цыпочках приблизился к ложу, встал у изголовья на колени (не

забыв, однако, подложить под них мягкую подушку), взял супругу за руку и поцеловал в бугорки ладони. Посмотрел тепло:

— Милая моя... вот мы и одни... как я долго ждал этого мгновения!..

— Ваше величество, — попросила Ксюша стыдливо, — если вы не против, погасите, пожалуйста, свечи...

— Как желаете, ваше величество, как желаете, — согласился он.

Непроглядная ночь стала им укрытием.

Восемнадцать лет спустя, Германия, 1107 год, осень

Ехать напрямую из Шпейера в Штутгарт было небезопасно — через горы Шварцвальд, сплошь поросшие лесом, — и поэтому вновь решили плыть — вверх по Рейну до Мангейма, а затем вниз по Неккару. Оба чувствовали некий внутренний подъем, ощущение близкой развязки — надо лишь уговорить понтифика снять анафему, и епископ Эйнхард разрешит обещанное погребение. Миссия будет выполнена, камень снят с души. Главное, чтобы Папа не уехал в Италию, согласился на разговор.

Между тем погода сильно испортилась: небо затянулось беспросветными тучами, сразу похолодало, начался дождь со снегом. Но Опракса и Герман, кутаясь в плащи, мало обращали внимание на ненастье: обсуждали планы действий, прорабатывали возможные варианты, строили догадки, как себя поведут Вельф, Матильда и Папа. А потом немец вдруг спросил:

— После похорон возвратитесь в Киев?

Ксюша удивилась:

— Как иначе? Разумеется, возвращусь.

— Снова в монастырь?

— Да, конечно.

Он довольно долго молчал, глядя край плаща; у архиепископа, сильно похудевшего за последние дни, нос казался много больше прежнего. Сдвинув брови, очень тихо проговорил:

— У меня есть замок на реке Зиг — небольшой, но милый. Я готов сложить с себя духовное звание... Если бы вы сделали то же самое... мы могли бы там поселиться вместе...

Покраснев, женщина ответила:

— Это невозможно, святой отец.

Герман посмотрел на нее грустными глазами:

— Почему?

— Я не изменю данным мной обетам, — объявила русская твердо.

Кёльнский иерарх сузил губы:

— Все обеты — чушь.

— Вы считаете? — поразились она.

— Да, считаю! — Видно было его крайнее волнение. — Чушь, условности. Сочетания звуков, больше ничего. Их придумали старые ослы, ничего не понимавшие в жизни. Не познавшие ни любви, ни страсти! — Он помедлил. — Мы опутали себя рядом заклинаний и мифов. Нет загробной жизни. И бессмертной души тоже нет. И не будет Второго Пришествия, Страшного суда. И не будет воскрешения праведников. Ничего не будет. Существует только эта реальность. Понимаете? Эта! Это судно, река, небо, горы. Всё, что можно потрогать и ощутить. Существует только наша судьба. Мы ее строим сами. И растрачиваем напрасно дни, месяцы и годы на какую-то ерунду, ограничивая себя в самом главном — в упоении бытием. Мало наслаждаемся трапезой, напитками, воздухом, солнцем, собственным телом и телами друг друга. Глупо философствуем, боремся и читаем никому не нужные проповеди, истребляем себе подобных, копим деньги. Всё напрасно! Мы умрем и провалимся в пустоту. И о нас забудут, вычеркнут из памяти. Потому что ценится

жизнь, а не старые, грязные могилы. И на старых, заброшенных кладбищах будут строить праздничные ярмарки и дома терпимости. Жизнь пойдет без нас!.. Так зачем подчиняться нелепым догмам? Отравлять ими свой удел, куций, жалкий и без того? «Цelibат — безбрачие»! Что за ахинея?! Почему?! Кто сказал, что в безбрачии святость? Разве русские приходские священники, у которых есть попадья и дети, более грешны, чем священники католические? Я и говорю: бред, условности, высосанные из пальца. Надо просто жить, как велит натура, сердце, дух, ограничивая себя лишь в одном: не мешать жизни остальных. И наоборот, приходя им на помощь в случае беды. Больше ничего. Логика иная преступна.

Герман замолчал, опустив глаза. Евпраксия произнесла с улыбкой:

— Вы действительно страшный еретик, ваше высокопреосвященство. Вас не зря отлучили от церкви.

Он ответил мрачно:

— Да, от *этой* церкви отлучиться не грех.

— Вы не верите в Бога?

— Почему же, верю. Только Бог и церковь, к сожалению, не одно и то же. Бог велик и не познаваем. Нам является в разных формах, разных ликах. Утверждать, что один только этот лик и есть Бог, а иной — не Бог, заблуждение и реальная ересь. Ни одна из церквей, ни одна из конфессий мира не более свята, чем другая. Все они равны, и все одинаково ограничены, одинаково удалены от Истины, ибо суть ничтожны. Как ничтожен каждый из нас перед Абсолютом.

Евпраксия поежилась под накидкой:

— Я не ожидала, что вы скажете такое.

Немец покачал головой:

— Потому что думали точно так же?

— Да, порой сомнения посещают меня... Например, о Генрихе и николаитах: получается, что они — на одной доске с нашей церковью? Разве это правильно?

— Безусловно. Всё зависит от точки зрения.

— Как? Не понимаю.

— Для одних народов человеческое жертвоприношение свято, для нас — варварство и дикость. Мы мешаем мясо и молоко, а для иудея — это святотатство. Кто же прав из нас? Да никто — и все одновременно.

Киевлянка спросила с болью:

— Значит, я напрасно не плевала на Крест?

— Не напрасно, нет. Потому что, с вашей точки зрения, Крест — святыня. С точки зрения Братства — каббала. Кто из вас ближе к Истине, мы не знаем. И боюсь, не узнаем никогда.

Разговор прервался. Оба сидели, погруженные в размышления. Мимо плыли берега с осенними виноградниками: серые, пожухшие от дождя и снега. Ветер гнал студёные волны Неккара. Приближался Штутгарт.

Герман произнес:

— Понимаю, что мои откровения задевают вас. Вы должны их обдумать. И переварить. Так же, как мое предложение о соединении судеб. Я не тороплю. Я умею ждать.

Евпраксия кивнула:

— Да, благодарю. Мне действительно сейчас нелегко ответить... Мы вернемся к нашей беседе позже. А пока обязаны приложить максимум усилий для решения дела о погребении.

— Полностью согласен.

Штутгарт вырос из-за поворота реки, как огромная серая глыба камня: мощный, укрепленный, за высокой зубчатой стеной, с островерхими крышами соборов и замков. На воротах различался герб города — черный скакун на золотистом фоне: ведь неподалеку отсюда находился знаменитый конный завод, образованный в 950 году герцогом фон Швабеном. Собственно, от этого завода — *Stuotgarten*²⁰ — и происходило название поселения...

Пристань была оживлена, на волнах качалось несколько десятков судов — парусных, гребных, перевозчицких, рыбачьих, купеческих. Остро пахло рыбой. По высоким сходам бегали работники, загружая бочки с вином — лучшим в Германии, вюртенбургским и баденским. Слышались зычные команды. Мальчишки играли с собакой, отнимая у нее рыбий хвост...

Герман и Опракса миновали городские ворота, заплатив пошлину за вход, и направились к замку Вельфа. Улочки Штутгарта оказались чище и шире, чем в Шпейере, а соборная площадь перед Приходской церковью просто велика. Замок располагался на пригорке, и к нему вел особый подъемный мост. На воротах путники представились. Услыхав, что приехала сама бывшая императрица Адельгейда, погубившая некогда Генриха IV, караульные вытаращили глаза и отказывались поверить, но на всякий случай снарядили посыльного доложить во дворец. Через четверть часа тот вернулся с разрешением пропустить гостей. Вновь прибывшие проследовали внутрь.

Да, дворец Вельфа был хорош! Сложенный из белого камня, он отчасти напоминал античные храмы. А охранники с алебардами, в латах и с мечом на боку выглядели грозно.

Встретить посетителей вышел камергер — узконосый немец с оттопыренными ушами. Низко поклонившись («Ваше высокопреосвященство!.. Ваша светлость!.. Разрешите приветствовать!..» — и тому подобное), проводил по парадной лестнице в залу для приемов. Там горел камин и сверкало развешанное по стенам оружие. Дверь открылась, и явился супруг Матильды — все такой же стройный, но уже не юноша, а тридцатипятилетний мужчина с пышной бородой и большими залысинами. Посмотрел на монашку и, не выдержав, ахнул:

— О, Майн Готт, вы ли это, ваше императорское величество? То есть, я хотел сказать, ваша светлость...

Та склонила голову:

— Да уж, не величество... Я сестра Варвара, с вашего позволения. Вы знакомы ли с его высокопреосвященством архиепископом Кёльнским?

— Не имел чести. Но весьма наслышан о его приерженности бывшему императору...

— Нынешнему тоже.

— К сожалению, Генрих Пятый нас разочаровал. Он пошел в родителя. Яблочко от яблоньки, как известно...

Герман ответил сухо:

— Нет, мне кажется, молодой человек менее порывист.

Вельф вздохнул:

— Не могу судить, но покойный Конрад мне и моей супруге нравился больше.

Герцог пригласил гостей за стол и велел слуге принести вина. А потом спросил:

— Как вы поживаете, ваша светлость? Выглядите прекрасно.

— Не преувеличивайте, пожалуйста. Я измученная, сломленная женщина...

— Ах, оставьте, право! — Он поцеловал Евпраксии руку. — Юность испарилась, но на смену ей пришло обаяние зрелости.

— Или перезрелости, — пошутила она.

— Что вас привело в Швабские края? Вы, насколько мне известно, вместе с крестоносцами удалились в Венгрию, а затем на Русь?

— Совершенно верно. Я приехала сюда по просьбе его величества, чтобы поспособствовать погребению Генриха Четвертого.

У хозяина дворца пролегла на лбу недобрая складка. Он откинулся на спинку деревянного кресла и проворчал:

— Думаю, вы напрасно тратите время...

— Отчего? — удивилась русская. — Разве предание тела земле — не христианский наш долг?

Вельф ответил:

— Это не просто тело, а тело еретика. И не просто еретика, а еретика-кесаря. И захоронить его в Шпейерском соборе — более чем кощунственно.

Ксюша возразила:

— Если Папа снимет анафему, то кощунства не будет.

Шваб заверил:

— Папа никогда не снимет анафемы.

— Вы уверены в этом? — не выдержал Герман: он сидел, словно на иголках, и дрожал от негодования. — Может быть, достаточно распрей и междоусобиц? Генрих умер! Понимаете? Умер, опочил, Бог его забрал! Перед смертью император покался, как положено христианину. Так не хватит ли глумиться над мертвецом? Мы живые и должны дальше жить, думать о хорошем и светлом, строить будущее, а не воевать с трупами врагов.

Выслушав его до конца, Вельф сказал, усмехаясь:

— Я боюсь, что и с вас Папа никогда не снимет анафемы. — Посмотрел с удовольствием, как у Кёльнского архиепископа надуваются жилы на висках, и закончил: — Впрочем, я не стану препятствовать вашей встрече. Если сможете его убедить — Бог вам в помощь! Просто высказал свою точку зрения. — Герцог встал. — А пока окажите мне честь и остановитесь под моим кровом. Я с гостями не спорю. У меня мирный дом.

Посетители молча поклонились.

Вскоре киевлянку приняла маркграфиня Тосканская. Итальянке перевалило за шестьдесят, и она сильно одряхлаела, а подкрашенные басмой волосы старили ее еще больше; ноги-тумбы почти не двигались, руки чуть заметно дрожали, из груди с дыханием вырывались хрипы. Но, увидев Евпраксию, маркграфиня просияла, и морщины разгладились, а улыбка показала целые и довольно крепкие зубы.

— Солнышко мое! — пробасила Матильда. — Как я

рада, что вы приехали! Ничего, что я обратилась к вам по-простому, по-дружески?

Евпраксия ответила:

— Нет, наоборот, мне намного приятнее, ваша светлость.

— Ах, не надо «светлостей»! Давние знакомые, можем обойтись и без них. Вы давно не императрица, я по старости забыла о моих титулах... Мы вообще могли бы перейти и на «ты».

Ксюша улынулась:

— Я не против. На Руси не знают обращений на «вы», даже раб говорит хозяину «ты».

— Ну, тем более. Сядь поближе. И рассказывай, рассказывай, как ты провела эти годы.

Выслушав ее печальную повесть, пожилая аристократка вздохнула:

— Бедная моя! Как мне за тебя больно! Но поверь, что с Генрихом ты бы не была счастлива, даже если бы вернулась из Венгрии в Германию.

Ксюша кивнула:

— Да, в то время — наверное... Но потом, год назад, после отречения, если бы не умер и прочел мое посланное из Киева письмо... Мы могли бы жить как частные лица, отстранясь от политики...

— Ах, не думай, не фантазируй, ничего бы не вышло! — убежденно произнесла маркизья. — Он не вынес бы частной жизни. Обязательно опять бросился бы в гущу событий. Нет, твоя любовь не имела перспектив с самого начала.

— С самого начала?!

— Я уверена. Я ведь, как с тобой, приятельствовала с Бертой, бывшей императрицей. И она делилась своими мыслями о супруге. Говорила: он и ангел, и дьявол одновременно. А с такими людьми долго уживаться нельзя.

— Я и не смогла...

— Ты и не смогла, разумеется. Вельф — другое дело.

Русская заметила:

— Можно позавидовать.

— Нет, завидовать нечего, ведь у нас такая разница в возрасте! Брака никакого, мы давно друзья.

Евпраксия смутилась:

— Ты уж чересчур откровенна...

— А к чему скрывать? Я — старуха, а он — молодой мужчина. Я ему сказала: можешь изменять, только чтобы я об этом не знала. Герцог согласился. Если я го-щу у него, как сейчас, или он у меня в Каноссе, никаких интрижек. А когда мы врозь — больше десяти месяцев в году, — вероятно, отдается низменным стра-стям. Что же? Хорошо. Я вполне спокойна.

Разговор зашел о Генрихе. Маркграфиня сказала:

— Мальчик спит и видит сделаться императором, подчинить себе всю Германию и Италию. Папа же отве-тил, что не станет его короновать, если кесарь добро-вольно не откажется от давнишнего права инвеститу-ры²¹ — назначать епископов по собственному желанию, без согласования с Римом. Генрих заявил, что, как и отец, не откажется. Даже пригрозил, что пойдет на Италию войной. После этого все контакты были с ним оборваны. — Помолчав, итальянка сделала вывод: — Раз не хочет идти на уступки, то и Папа не снимет ана-фемы с бывшего монарха. Пусть непогребенным ле-жит. — Снова помолчала и снова добавила: — И поэто-му Генрих вспомнил о тебе. Чтобы ты сделалась посред-ницей между ним и Папой.

Киевлянка спросила:

— А когда Пасхалий смог бы меня принять?

Маркграфиня поморщилась:

— Ну, не знаю, когда угодно, он еще пробудет в Штутгарте с неделю... Но прости, неужели ты серье-зно решила, что сумеешь его переубедить?

— Я попробую.

— Маловероятно. Это не вопрос доброй воли или настроения. Речь идет о торге между королем и понти-

филом. «Хочешь похоронить отца — откажись от идеи с итальянским походом. Хочешь стать императором — откажись от инвеституры». Только и всего. Баш на баш. А твои, моя золотая, слезы и мольбы ничего не значат.

— А мораль? А долг? А христианская совесть, наконец? — возмутилась Ксюша.

— Господи, о чем ты? — хмыкнула Матильда. — О какой морали можно говорить, если всё продажно? О какой христианской совести? У кого? У Папы? Уверю тебя, зайчонок: Папа такой же человек, как и мы с тобой. Избранный путем таких же интриг, как и многие другие. Думаешь, легко мне пришлось после смерти Урбана? В ход пошли все средства — подкупы, угрозы, шантаж... И Пасхалий знает. И поэтому в долгу. Платит по счетам...

— Ну, так прикажи, надави на него! — вырвалось у русской.

— Что? О чем ты, детка?

— Пусть позволит похоронить императора. — Евпраксия заплакала. — Сжался надо мной. Я тебе помогла когда-то свергнуть с трона Генриха, поддалась твоим уговорам. Так поддайся и ты моим. Больше ничего мне не надо в жизни. Возвращусь в Киев, в монастырь, и молиться стану за твое здоровье.

— Прекрати, не хнычь. Не трави мне душу. Я и так слишком сентиментальной сделалась с годами. Разрешила архиепископу Герману поселиться под одной со мной крышей и не распорядилась его зарезать. Или отравить... Ха-ха-ха! Шучу. Ну а если серьезно, то могу обещать одно: ты с Пасхалием встретишься. Будешь говорить без свидетелей. Из симпатии к тебе, я не стану оказывать на него давление. Как решит — так оно и выйдет. Это максимум, что способна сделать.

Киевлянка поклонилась:

— Бог тебе воздаст за твою сердечность.

Маркграфиня ответила:

— Да уж Он воздаст! Бросит в один котел с Генрихом Четвертым, не иначе...

Несколько дней прошло в тягостном ожидании аудиенции. К Герману и Ксюше слуги относились внимательно, накрывали в небольшой зале для гостей, подавали не менее семи перемен, несколько сортов вин, а придворный виолонист исполнял на виоле сладкозвучные пьески для успокоения духа. Но к хозяйскому столу их не звали. Это было не лучшим знаком: мол, не прогоняем, проявляем участие, только и всего, ибо взглядов не разделяем, помогать не хотим и за равных не держим.

Герман говорил:

— Ничего, во имя памяти о его величестве надо вытерпеть до конца. Зубы сжать, но вытерпеть. Если не получится здесь, я поеду за Пасхалием в Рим. Обращусь к церковному собору. Но добьюсь отмены анафемы.

Ксюша отзывалась:

— Нет, не будем о плохом варианте. Я надеюсь на лучшее. Потому что ехать за Пасхалием не готова.

— Неужели бросите наше дело?

— Если я увижу, что стою в тупике. Нет, не продолжайте. Есть еще надежда на хороший исход. Надо уповать.

Папа принял бывшую императрицу на четвертый день. Был он рыхлым мужчиной с двойным подбородком, сонными глазами и слегка шепелявил при разговоре. Облаченный в белую сутану и такого же цвета пилеолус на голове, сидя в кресле, равнодушно смотрел на вошедшую русскую и подставил руку для поцелуя; от руки пахло розовой водой; а ладонь его оказалась мягкая и теплая, точно ватная. Осенив Опраксу крестом, главный католик произнес:

— Я ценю ваш порыв, дочь моя, потому как не каждая обиженная в прошлом вдова станет хлопотать за обидчика-мужа... Это говорит о прекраснодушии, об отзывчивости натуры и об истинном понимании хри-

стианского долга. Вы еще к тому же монахиня...

— Помогите, отче, — прошептала она.

— ...Папа Урбан Второй отпустил вам невольные грехи, — продолжал понтифик, вроде не расслышав ее мольбы. — И по части ереси мы претензий никаких не имеем. Но вот Генрих Четвертый...

— Он раскаялся перед смертью. Есть письмо. Он простил врагов...

У Пасхаля опустились веки, и казалось, что его святейшество задремал. Евпраксия с удивлением и тревогой вглядывалась в лицо первосвященника. Тот проговорил:

— Мы не верим в подлинность этого письма.

Женщина воскликнула:

— Господи! Помилуйте! Герман, архиепископ Кёльнский, записал собственноручно с его слов.

— Мы не знаем такого архиепископа. Герман веротступник и хриstopродавец. Занимает сей высокий пост самочинно.

— Ладно, Бог с ним, с Германом. Пусть письмо фальшивое, спорить я не стану, хоть и верю, что оно настоящее. Просто призываю проявить снисходительность. Генриха с его прегрешениями будет судить Создатель. Если виноват, кесарь и заплатит со всей суровостью. Я сейчас о его брэнном теле. Разве самый последний грешник не достоин быть похороненным после смерти?

Папа поднял веки, посмотрел на стоящую перед ним на коленях киевлянку, словно видел ее впервые. И сказал с грустью:

— Не лукавьте, пожалуйста, дочь моя. Речь идет о захоронении в Шпейерском соборе. А еретику там не место. Но, с другой стороны, императору не место на обычном погосте. Вот и получается... Безысходная ситуация... И никто не знает из нее выхода... — Он опять погрузился в дрему.

Евпраксия заговорила с жаром:

— Есть достойный выход! Да, еретику не место в соборе. Но снимите с покойного анафему, и тогда он уже не будет еретиком! Ваше святейшество! Только вы один вправе разорвать этот заколдованный круг. Умоляю!

Папа сидел неподвижно, и казалось, действительно спал. Наконец снова приподнял веки и ответил твердо:

— Нет, сие немыслимо. Снять анафему мы не можем.

— Почему, я не понимаю?

— В католическом мире это будет истолковано дурно. На слуху у всех — ваши разоблачения на Пьяченском соборе. Я там был. До сих пор помню шок, потрясение, пережитые мною. Справедливый гнев. И затем — удовлетворение от возмездия, от решения Папы Урбана Второго. Ибо еретик должен быть наказан! А теперь? Что же получается? Сняв анафему, оправдаем заблуждения самодержца. «Пусть николаит покоится в христианском храме!» Он, не признававший Креста Святого, под Крестом? Невозможно, нет.

Сжав переплетенные пальцы, киевлянка спросила:

— Даже если Генрих Пятый добровольно откажется от права инвеституры?

Слабо улыбнувшись, он проговорил:

— А-а, так вы наслышаны о предмете спора... Очень хорошо. Если Генрих Пятый добровольно откажется от права инвеституры, мы провозгласим его императором. Но вопрос о покойном кесаре будем решать отдельно.

Ксюша встрепенулась:

— Можно ли надеяться в этом случае на благоприятный исход?

У Пасхалия брови встали домиком:

— Ах, на всё воля Божья, дочь моя... Знаю лишь одно: погребение бранных останков сих может произойти нескоро. Вряд ли в нынешнем или даже в следующем году. Страсти должны улечься. Люди — угомониться. Острота конфликта — сгладиться и забыться.

Время лечит. Надо потерпеть. — Он взглянул на нее, словно неживой, — тускло, безразлично. — А теперь ступайте. Будьте благословенны. Да хранит вас Господь. — И опять протянул ей руку — для прощального поцелуя.

Низко поклонившись, женщина покинула залу. Ей навстречу бросился Герман:

— Получилось? Нет?

Евпраксия, пройдя мимо, устремилась по галерее прочь и не говорила ни слова, несмотря на вопросы архиепископа, следовавшего за ней. Распахнула двери балкона, вышла на свежий воздух, запрокинув голову, встала и дышала долго, смежив веки, насыщая кровь кислородом. Чуть порозовела, приходя в себя. Лишь потом заметила рядом немца. Разлепила губы и печально произнесла:

— Сей исход был предопределен. С самого начала! — С отвращением бросила: — Вельф, Пасхалий, Матильда — все они заодно. Ничего не делают просто так. Лишь в обмен на уступки его величества!..

Герман развел руками:

— Потому что движут ими не принципы, не идейные убеждения, а обычный, хладнокровный расчет.

Оба стояли молча, хмурые, убитые. Было холодно, зябко, влажный ветер долетал с реки, шевелил их волосы. Простиравшаяся перед их глазами долина выглядела блеклой, неприкаянной, по-осеннему обезлюдевшей.

— Что же остается? — вновь заговорил Герман. — Ехать в Рим за Папой — не имеет смысла. Надо плыть во Франкфурт. Убеждать короля сделать шаг навстречу противникам.

Евпраксия, оборвав размышления, вздрогнула и сказала быстро:

— Нет-нет, это без меня.

Собеседник забеспокоился:

— Как — без вас? Я же не могу... Нет, помилуйте!

— Без меня! — резко заявила она, но потом поникла, жалобно продолжила: — Я устала, измоталась, пойте. Совершенно уже без сил... Не сердитесь, патер.

Тот дотронулся до ее плеча:

— Потерпите еще немного. Сядем на корабль, поплывем по Рейну, там вы отдохнете, развеетесь. Надо уметь проигрывать. Выждать, отступить, затаиться, чтобы наступать снова...

— Больше не хочу. Я простилась с Генрихом — это главный итог моего визита. Бог нам даровал нашу встречу. А бороться, интриговать — не моя стезя.

Герман прогудел:

— Вы не смеете оставить его непогребенным!

Посмотрев на епископа, Адельгейда спросила:

— Что вы предлагаете? Поселиться в Шпейере, точно Удальрих? Жить при мертвом теле? Ждать годами волеизъявления Папы? Нет, увольте. Это не по мне. Я желаю возвратиться домой.

У него опустились кончики губ:

— Значит, мы расстанемся?

Ксюша отвела глаза:

— Вероятно, да.

— Вы меня убиваете, ваша светлость.

— Погодите об этом. После договорим.

По закону гостеприимства, герцог Вельф вышел попрощаться. Он поцеловал руку киевлянке, ласково заверил:

— Не волнуйтесь, милая: рано или поздно ваш покойный супруг будет похоронен. Просто сейчас не время.

— Никогда не думала, что такие вещи бывают кстати и некстати.

— Где политика, всё возможно.

По брусчатке спустились к пристани. Стали спрашивать, кто в ближайшее время отправляется в сторону Мангейма. Вдруг один из хозяев пришвартованных судов, по одежде и облику еврей, задал вопрос на ломаном русском:

— Я имею счастья видеть Евпраксий?

У княжны екнуло под ложечкой:

— Да, ты прав, милейший. А откуда знаешь?

— Я есть зять рабби Шварц — Лейба Черный. Так? А зовут меня, значить, Йошка.

— А не ты ли, Йошка, отвозил мое письмо Генриху Четвертому прошлым летом?

— Нет, не я, только Лейбы сын, но мы ехать вместе.

— Вот ведь как бывает! Тесен мир... А когда и куда ты следуешь, Йошка?

— Нынче в полдень плыть на север — повезти вино в польский Гданьск, через Рейн, Северное море...

— А меня с собою мог бы прихватить? Расплачусь как следует.

Иудей расплылся:

— О, какой платить! Я без платы брать. Потому что честь.

— А его высокопреосвященству тоже можно?

— Почему не можно? Повезем. Места хватит всем.

Ксюша, повернувшись к священнику, перешла на немецкий:

— Едем, святой отец? Доплывем до Франкфурта, а потом видно будет — вместе или порознь.

— Я хотел бы вместе.

— Вместе веселее, конечно.

По пружинящим деревянным сходням поднялись на борт. Евпраксия казалась веселой, с интересом смотрела на мир, иногда смеялась. Вроде камень упал с ее души. Архиепископ удовлетворенно сказал:

— Счастье видеть вас в добром расположении духа.

— Ах, спасибо, спасибо, я сама довольна. Неопределенность пугает, а определенность приносит радость.

— Вы определились?

— Да, конечно: мы плывем, и плывем с друзьями, и какая-то перспектива есть.

— Может быть, застанем его величество в Заксен-хаузене...

Евпраксия поморщилась:

— Ах, я не об этом. Я о том, что смогу вернуться на Русь — поначалу с Йошкой, до Гданьска, а оттуда — на лошадах.

Герман взглянул на реку, на бегущие волны, на косматые облака, серые и мокрые, и пробормотал недовольно:

— «Русь, Русь»! Ничего на Руси вас не ждет хорошего. Кроме одиночества и смерти.

Женщина воскликнула с вызовом:

— А в Германии что, по-вашему, хорошего? Кроме подлости, интриг и незахороненного тела?

— Я.

Киевлянка поправила черную накидку, спрятала под нее озябшие руки и печально по-русски обронила:

— Ах, бедняга Герман!.. Ничего у нас с тобой не получится...

Восемнадцать лет до этого, Германия, 1089 год, зима

Новобрачные Адельгейда и Генрих, обвенчавшись в Кёльне, съездили в Бургундию к Готфриду де Бульону. Шумный, веселый великан, герцог принимал их на широкую ногу, с многодневными рыцарскими турнирами, нескончаемыми пирами и охотой на секачей. А в вине, знаменитом бургундском, можно было купаться. То и дело заходила речь о грядущем походе за Гроб Господень. Захмелев, Готфрид говорил:

— Мы, христианское воинство, не должны спать спокойно, зная, что в руках иноверцев наши святыни. Надо очистить Иерусалим и создать там царство Иисуса Христа. Возвратиться к истокам нашего учения, к Духу Святому как всеобщему Абсолюту! — Щеки его горели, пухлые губы чмокали, а серебряный кубок, сжатый в толстых пальцах, звонко расплескивал терпкое вино.

— Но сначала идти походом в Италию, — поправлял его император. — И разделаться с Папой Урбаном. Словно в прошлый раз — с Григорием Седьмым. Помнишь ли свои великие подвиги, Готфрид? Как ты выгнал тогда из Рима этого ублюдка? В песнях тебя недаром зовут «Лебединым Рыцарем». Надо завершить начатое дело и вспороть брюхо Кабану, ставленнику дьявола, проповедующему со святого престола ересь! Урбан и Григорий — одинаковые мерзавцы. Тот кричал о безбрачии священников и при этом жил почти что открыто с маркграфиней Тосканской Матильдой. Урбан выдал за нее желторотого Вельфа... Ну не негодяи ли?

— На Италию! На Рим! — воодушевленно кричал де Бульон. — А затем в Палестину, за Гроб Господень! И сосуд Сан-Грааль! Под знамена нашей Прекрасной Дамы — Кроткой Матери Божьей! Восстановим Храм — Дом Святого Духа!

Было решено вторгнуться в Ломбардию в марте — апреле следующего года. Герцог обещал привести с собой войско Лотарингии и Великого Арелата — тысяча десять — пятнадцать. И за самодержца шло примерно столько же. Так что силы Вельфа и его союзников с Юга Италии вряд ли окажут им достойный отпор.

Погостив в Бургундии, молодые переехали в Майнц, где присутствовали на мессе в знаменитом имперском соборе, а потом провели несколько недель в королевском замке Заксенхаузен. Счастье их было безоблачно. После бурных ночей оба засыпали в обнимку в одной постели, не стесняясь своей наготы, а императрица часами могла смотреть, как ее возлюбленный мирно дремлет у нее под боком, на его высокий красивый лоб с прядями аспидных волос, спутавшихся во сне, на горбинку ястребиного носа, на едва заметно раздувающуюся ноздрю — в такт дыханию, проводить подушечками пальцев по его жесткой бороде, кончикам усов, кадыку, по извивам ушной раковины, чувствовать, как пульсирует на шее сонная артерия... А потом

самой притворяться спящей, ощущать на коже легкие поцелуи мужа — в переносицу, в сомкнутые веки, в губы, в подбородок — и слегка постанывать от приятного томления в теле, наливающимся страстью, сладкого покалывания и дрожи, предвкушения счастья, задыхаться от нарастающих волн удовольствия и едва не терять сознания на вершине неги. И лежать в прострации, тихо улыбаясь и облизывая спекшиеся губы. Открывать глаза, видеть восхищенного Генриха, обвивать руками плечи его и спину, шею, снова опрокидывать на себя, целовать, смеяться, а потом выскальзывать из-под одеяла, подбегать по разбросанным на полу подушкам и звериным шкурам к утреннему окну, растворять его высокую островерхую раму, радостно вдыхать свежий чистый воздух, вкусный и прохладный, зная, что супруг смотрит на нее, лежа на постели, подперев голову рукой — локоть на подушке, и любит фигуру жены — стройной, хрупкой, живописно очерченной на фоне окна, смуглыми лопатками, маленькими ямочками посреди поясницы и рассыпанными по плечам волосами, темно-русыми с чуть заметной рыжиной... И, озябнув, возвращаться под одеяло, греться друг о друга, дожидаясь трубного звука утреннего рога на башне, вместе завтракать, выезжать верхом на прогулку, лепетать какие-то милые слова, уверения в искренности чувств, в преданности, верности, хохотать и хлопать в ладоши, слушать странствующих поэтов, вместе мыться в ванне, отдавать распоряжения об ужине, пить вино, лакомиться фруктами и сидеть у горящего камина, пожимая друг другу руку... Вот оно, блаженство. Лучшие мгновения ее жизни.

Но прошел ноябрь, стало очень холодно, и они поселились в Гарцбурге. Замок был обширен, а дворец пригож. Много комнат, светлая зала для приемов и домашний орган. Между тем император, приходя в себя от медовых месяцев, постепенно начал заниматься государственными делами, слушать доклады подчинен-

ных и вникать в финансовые вопросы. Уделял жене меньше времени. И приставил к ней каммерфрау — Лотту фон Берсвордт, бывшую свою фаворитку. Поначалу немка понравилась русской — утонченным умом, острым языком и умением угождать. Сообщала императрице сплетни об интимной жизни вельмож, вплоть до августейших особ.

— Удальрих — ничтожество, — говорила она, не спеша прохаживаясь с юной государыней по опавшим листьям внутреннего сада замка, — и несостоятелен как мужчина.

— Неужели? — удивлялась Опракса. — Вы откуда знаете?

— Я? На личном опыте. Рассказать?

— Да, пожалуй.

— Он однажды силой приволок меня в спальню, разорвал на мне все одежды, повалил на ложе, но не смог ничего поделать и, скрипя зубами от ярости, отпустил ни с чем. Негодяй, мужлан. Силы все истратил на поединки и войны... Но зато Егино — хоть и карлик, но с таким... достоинством... о-о!.. не приведи Господь!

Киевлянка краснела:

— Неужели и это — по собственному опыту?

— Ах, позвольте умолчать, ваше величество!

— Вы меня заинтриговали, Лотта.

— Сжальтесь, не приказывайте раскрывать маленькие тайны одинокой дамы.

— Как желаете. Просто непонятно: что за интерес может быть к уроду?

— Интерес? Да обычный — ко всему непонятному, нетрадиционному. И потом, честно вам признаюсь: после нескольких кувшинов бодрящих напитков мир воспринимает совершенно иначе...

Говорили о семье императора. Лотта откровенничала:

— Аббатиса Адельгейда у них святоша. Правда, ходят слухи, что, когда была в девушках, обожала гульнуть и повеселиться, но сказать точно не могу, не знаю.

А другая сестрица Генриха, младшая, Юдита, та была похлеще портовой шлюхи. Уверяю вас. Страшная блудница. Будучи уже обрученной с принцем из Венгрии, изменяла ему с пажам. Сбагрили к мадьярам с глаз долой. Третью же сестричку выдали за Фридриха Бюренского. Эта самая ушлая. Муженька прибрала к рукам и мечтает видеть своих наследников на германском престоле. Только вряд ли получится: ведь у Генриха двое сыновей и наверняка от вас кто-нибудь родится — будет кому сесть на имперский трон...

Евпраксия с интересом открывала для себя неизвестные стороны своего окружения, окуналась в мир дворцовых интриг. А в один из декабрьских дней, греясь у камина, услышала реплику, как бы невзначай брошенную Берсвордт, и невольно вздрогнула. Каммерфрау, вороша кочергой тлеющие угли, процедила сквозь зубы: «Все невзгоды оттого происходят, что обожествуем каббалистический знак... Ничего, Рупрехт нас наставит на путь истинный». И при этом накидка на голове у придворной дамы непонятным образом дыбилась, словно бы под ней были рожки.

— Что? О чем вы? — испугалась императрица. — О каком знаке говорите? И при чем тут Рупрехт?

— Ни при чем, ни при чем, — попыталась вывернуться та. — Это страшная тайна.

Но уж тут-то Ксюша приказала ей отвечать, даже в нетерпении топнула ногой, сделалась упрямой... В общем, кое-какая ясность наконец появилась. Рупрехт — не простой отлученный от церкви епископ, а создатель некоего Братства, поклоняющегося Святому Николаю, и его приверженцы — николаиты — отрицают католичество как ересь. Для вступления в Братство надо пройти мучительный и жестокий обряд, испытать страдания, быть униженным, посрамленным, и отречься от главных святынь римского канона, прежде всего — Креста. А затем под молитвы и заклинания иерофанта²² приобщиться к Истине, воспарить просветленной ду-

шой к Всевышнему и воскреснуть для дальнейшей праведной жизни — на Земле и на Небе.

— Вы николаитка? — с содроганием прошептала русская.

— Да, давно. Я вступила в Братство одной из первых, раньше императора.

— Значит, император тоже николаит?

— Безусловно. Кстати, одна из причин их разрыва с Бертой в том и заключалась, что она не желала перейти в нашу веру.

— Господи, помилуй! — с ужасом воскликнула Адельгейда-младшая. — Значит, и меня он заставит? Это невозможно. Я не отрекись от Креста.

Лотта посмотрела на нее укоризненно:

— Вы еще не поняли, ваше величество. Спорен сам вопрос, был ли Сын Божий на кресте распят. На крестах стали распинать много позже, и причем не на Т-образных, а на Х-образных, на одном из которых принял смерть Андрей Первозванный. Тем не менее предположим, что Иисуса распяли. Как же можно поклоняться символу Его гибели? Осенять свое естество? На груди носить? И крестить детей? Николай Чудотворец учит: это один из самых тяжких грехов нашей церкви...

Евпраксию била нервная дрожь. Слабо защищаясь, она произнесла:

— Нет, не может быть. Всем известно: мы, перекрестившись, отгоняем от себя нечистую силу. И лукавый бежит Креста!

— Да, бежит. Но христианство не имеет к этому отношения. Крест несносен для дьявола не как символ христианства, а лишь сам по себе, ибо Крест магичен. Как и круг. Если очертить себя кругом, то нечистая сила за него не проникнет. А при чем здесь христианство? В христианстве круг не сакрален.

Киевлянка продолжала упорствовать:

— Я воспитана на культе Святого Распятия. Отказаться от Него — все равно что отказаться от Родины, ма-

тери и отца, от каких-то фундаментальных истин. Если Крест не свят, что тогда останется от нашего мира?

— Но магометане не почитают Крест и считают Иисуса не Сыном Божьим, но одним из Пророков — и для них мир не рушится, однако.

— Но магометане — неверные.

— А для них неверные — мы.

— Нет, пожалуйста, не пугайте меня! Всё, что вы сказали, ужасно. Я в отчаянии от того, что его величество в Братстве!

Берсвордт утешительно ей поведала:

— Я вначале тоже переживала, мучилась, даже плакала. А епископ Рупрехт мягко, но настойчиво просветил меня и вполне избавил от возникших сомнений. Я прошла церемонию стойко, мужественно, не теряя сознания. А потом на меня снизошел Дух Святой, я воспряла душой и телом и теперь живу по Святым Заветам и Совести. Так что не смущайтесь.

Но несчастная государыня не могла никак успокоиться. Побегала в покои мужа, стала теревить его и расспрашивать. Генрих проявил неожиданную холодность, если не сказать — раздражение, говорил сквозь зубы, хмурился и часто повышал голос. Рявкнул грубо:

— Не закатывайте истерик, ваше величество. Раньше я не мог вам открыться, ибо не считал это своевременным. И сейчас, по-моему, вы еще не совсем готовы к восприятию наших принципов. Вот приедет Рупрехт и ответит на любые ваши вопросы. Кстати, я велел вызывать из Италии Конрада. Потому что обяжу и его вступить в Братство вместе с вами.

— Я в растерянности, милый, — с болью отзывалась Опракса. — И боюсь, что вы требуете от меня невозможного.

Он спросил с издевкой:

— Захотели повторить участь Берты?

Ксюша побледнела:

— Вы меня убьете, если откажусь стать николаиткой?

— Кто сказал, что я убил Берту? Это ложь. Мы, по моему, данной темы уже касались. Там, в саду монастыря, в Кведлинбурге. Или подзабыли? Где вы согласились выйти за меня. Если согласились, значит, поняли, что я не убийца.

— Да с чего вы взяли? Просто согласилась, и всё.

— Сочетаться браком с убийцей?

— Может быть.

— Где же ваши христианские моральные принципы?

— Тут и есть: пожалеть убийцу и простить его, возлюбив, точно самого себя.

Самодержец не выдержал:

— Хватит городить ерунду! Чушь собачья. Берта отказалась стать николаиткой, и тогда мы расстались. Только и всего.

— Значит, получается, ваши взгляды для вас выше любви?

— Нет, не выше, но рядом. Я желаю, чтобы взгляды и любовь совпадали.

— Это в идеале. Если же они приходят в конфликт, что вы выбираете?

Венценосец подумал и произнес:

— Безусловно, взгляды. Потому что любовь приходит и уходит, а взгляды неизменны.

— Почему же тогда вы требуете от меня перемены взглядов?

Он опять сорвался на крик:

— Потому что вы вышли за меня! Вы — моя жена! И должны во всем подчиняться! Или же у русских не так?

— Так, конечно, так. Русские еще говорят: муж и жена — одна сатана. Но никак не думала, что в моем случае эта поговорка обретет столь реальный смысл...

Генрих задохнулся от гнева:

— Вы... вообще понимаете, что сказали?! Мало того, что назвали убийцей, так еще и намекнули... на сатанизм?! — Император схватил ее за узкий ворот платья и тряхнул с такой силой, что она едва устояла на ногах. — Маленькая тварь! Прикуси язык — или пожалеешь!

Евпраксия опустила глаза и с усилием прохрипела:

— Извините, ваше величество... Вы неверно истолковали мои слова...

Государь толкнул ее в грудь — так, что Ксюша села в кресло, — и проговорил с неприязнью:

— Прочь идите отсюда. Убирайтесь, слышите? И подумайте как следует обо всем, что произошло. Сделайте разумные выводы. И расскажите. Если вы раскаетесь, я для первого раза вас прощу. Станете упорствовать и сопротивляться — уничтожу. — Помолчал и добавил: — Прежде всего, морально. А потом — как знать... — И презрительно повернулся к ней спиной.

Адельгейда вышла.

Целую неделю она терзалась. Всплыли прежние подозрения и страхи. Возникали в памяти разные мелочи, на которые раньше не обращала внимания: да, действительно, Генрих не носил нательного креста (отвечал, что снимает его перед отправлением супружеских обязанностей, так как заниматься грехопадением в кресте богохульственно); никогда не молился при ней у Распятия; никогда не сотворял крестного знамения, заходя в церковь или выходя из нее. Может, он и вправду посланник князя тьмы, как о том болтают в народе? И она, разделяя с ним брачное ложе, обрекает себя на вечные муки? По ночам ей теперь мерещился адский огонь, мерзкие ящероподобные существа с перепончатыми крыльями, окровавленными клыками, острыми когтями и взъерошенной шерстью. Вскидывала с постели в ужасе. Падала на колени, машинально крестилась, а потом, спохватившись, замирала от страха. И не знала, как быть. И рыдала от горя:

— Господи! Вразуми и наставь! Что мне делать? Как себя вести? Кто мой муж — ангел или дьявол? Пресвятая Дева Мария! Помоги, помилуй! Продолжать ли его любить или надо возненавидеть? Я сойду с ума!

Постоянное нервное напряжение отразилось на ее физическом состоянии: часто и сильно болела голова, совершенно не было аппетита, а когда она заставляла себя что-то съесть, возникала нестерпимая дурнота. Под глазами появились круги. На щеках не играл румянец.

Император, видя, что жена сама не своя, начинал сердиться:

— Не смотрите на меня с таким недоверием! Вы клялись в преданности мне. Вот и принимайте как должное!

— Я пытаюсь, ваше величество, — говорила она смиренно. — Но какой-то червячок точит душу. Не могу с собой сладить.

— Обратитесь к лекарю. Пусть назначит вам успокаивающие отвары.

Пригласили целителя аж из Кведлинбурга, наблюдавшего за княжной в бытность ее учебы в монастыре. Доктор осмотрел пациентку, покачал седой головой и проговорил:

— Мне сдается, ваше величество, что причина ваших недомоганий заключается в следующем... — Он в раздумье пожевал нижнюю губу. — Вы на третьем месяце.

Государыня стояла полуодетая, вытянув лицо и недовязав из тесемок нижней рубашки бантика.

— Я... затяжелела? — ахнула она.

— В этом нет сомнений. К лету разрешитесь от бремени. Надо больше бывать на свежем воздухе и не пить вина. Остальное — нормализуется.

Ксюша, задыхаясь от радости, сообщила своему окружению:

— Я ношу под сердцем плод его величества. Слава Богу!

Груня Горбатка, как всегда, прослезилась:

— Радость-то какая! Я понянчу на старости лет маленького принца!

Паулина отнеслась более спокойно:

— Удивляться нечему, коли спите вместе. Было бы странно, если бы этого не случилось. — И, вздохнув, добавила: — Может быть, и мне Бог дарует когда-нибудь счастье нарожать ребятишек...

А фон Берсвордт не без лукавства заметила:

— Ну, теперь его величество с легким сердцем вас благословит на «Пиршество Идиотов»!

— Почему? — не поняла русская.

— Зная, что наследник у вас во чреве — от него.

— От кого же еще ему быть!

— Вот об этом и разговор.

— Нет, а «Пиршество Идиотов» означает что?

— Так обычно мы зовем в обиходе ритуал вступления в Братство.

— Отчего?

— От его безумств.

— Да каких же, право?

— Скоро всё узнаете.

Самодержец и вправду воспринял новость о беременности жены с удовлетворением. Он прижал Адельгейду к сердцу и сказал с улыбкой:

— Очень хорошо. Всё идет как нельзя удачно.

Евпраксия спросила:

— Вы про «Пиршество Идиотов», ваше величество?

Государь немного напрягся:

— Вам уже известно об этом?

— Лотта намекала.

— Вот несносная баба, ничего не может держать в секрете!

— Отчего вы хотели мне подобной правды не говорить?

— Дабы не травмировать раньше срока.

— Чем травмировать?

- Сутью «Пиршества».
- Чем конкретно?
- Вы теперь сами знаете.
- Только пока догадываюсь.
- Лотта разве не объяснила?
- Нет, в подробностях — нет.
- Ну и слава Богу. — Он отвел глаза.
- Но сейчас ответьте.
- Рупрехт вам расскажет. У меня не хватает времени. После, после, милая! — И поцеловал ее в лоб.
- Вы меня пугаете, ваше величество, — кротко посмотрела на супруга Опракса.
- Нечего бояться. Раз уж вы беременны, то бояться нечего!

Вскоре в Гарцбург прискакал добродушный и вяловатый Конрад. Поклонившись мачехе, он коснулся пухлыми влажными губами ее руки и почтительно произнес тихим голосом:

— Очень рад нашему знакомству. Нам отец писал о вашей неземной красоте, но моя фантазия рисовала всё же нечто более ординарное. Вы очаровательны, ваше величество. Говорю это по-простому, по-родственному, по-сыновьи. И надеюсь на взаимные чувства.

Адельгейда кивнула:

— Я хотела бы подружиться с вами. Не вести себя, как напыщенная гусыня. Мы ровесники...

— Да, ровесники! — засмеялся он.

Как-то оба встретились в окрестностях замка на одной из конных прогулок. Чинно поздоровавшись, медленно поехали рядом. Адельгейда спросила:

— Государь с вами говорил о николаитах?

— Да, имел удовольствие... Уговаривал вступить в лоно Братства. А когда я ответил, что не собираюсь, страшно рассвирепел. Обещал проклясть.

— Вы огорчены?

— Нет, нисколько. Пошумит, пошумит, как всегда, да и успокоится. Я считаю, что путь империи — не

в конфликте с Папой, а в союзе с ним. Для чего специально обострять отношения? Загонять себя в угол наричитым отречением от Креста? Если весь цивилизованный мир ему поклоняется? Не мы первые, и не мы последние... Надо объединять церкви — западную, восточную, — а не множить ереси.

Евпраксия натянула поводья, чтобы осторожней спуститься к реке. Поделилась невеселыми мыслями:

— Генрих страшно вспыльчив, иногда взрывается, как вулкан. Я всегда робею в эти мгновения. А порой бывает внимателен и любезен... Как мне поступать? Император примется давить, убеждать, чтобы я прошла посвящение...

— Стойте до последнего. Потяните время. Уходите от прямого ответа: мол, ни «да», ни «нет». Я вас поддержу в любой ситуации. Можете на меня рассчитывать.

— Вы серьезно, Конрад? Не обманываете, не хотите задобрить? — посмотрела с надеждой на него государыня.

Итальянский наместник, грузноватый меланхоличный юноша, справивший недавно двадцатилетие, в светло-серой шапочке и коричневом плаще с вытканными желтыми розами, подтвердил негромко:

— Жизнью моей клянусь, памятью покойницы матери, что не оскорблю вас ни словом, ни делом.

Улыбнувшись, императрица проговорила:

— Вот моя рука. Мы отныне вместе.

— Счастлив это слышать, — отозвался пасынок.

Ближе к Рождеству прикатил епископ Бамбергский. Рупрехт заперся с венценосцем, долго совещался, а спустя какое-то время посетил Адельгейду. Вид служителя культа был ей неприятен: дряблые, висящие мятыми подушками щеки, губы в клейкой белесоватой слюне и бесцветные алчные глаза; он смотрел на нее, вроде раздевая, словно мысленно вступал с ней в интимную близость, и она краснела, опускала голову, путалась в словах.

— Вы позволите, дочь моя? — произнес церковник и присел напротив. — После разговора с его величеством я зашел побеседовать с вами о спасении вашей души. Вы не возражаете? Речь пойдет о николаитах. Знаете ли вы, кто они такие?

— Очень смутно, ваше преосвященство. Только в общих чертах.

— Что ж, тогда надо пояснить. Николай Чудотворец был архиепископом города Миры в Малой Азии. И прославился тем, что не признавал водного крещения и вообще не считал Крест святым. Он лечил недужных наложением рук и призыванием Духа Святого в молении на огонь. Не вода, но огонь — вот что освящает и очищает! Ведь горение и есть жизнь. В нас горит огонь Высшей Силы, и пока горит Свеча, существует мир. Мрак — гибель. Мир — борьба темноты и света. Вот что главное. А вода только заливает огонь... Так учил Святой Николай, прозванный за свои великие чудеса Чудотворцем. Мы — его ученики и сторонники.

Евпраксия спросила:

— Да, но отчего Рим и Константинополь не считают Николая еретиком? Он причислен к лику святых...

Рупрехт без запинки нашелся:

— Потому что выгодно. Ведь они скрывают от пастыри истинные взгляды учителя. Совершают подлог, беззастенчиво лгут.

Рупрехт объяснял несколько часов. Говорил о семи инкарнациях душ — прежде чем достичь Истины. О борьбе зонов света — воинов Неба — с ратью темноты, сатаны. О божественной первобытной мысли высшего существа — Матери Жизни, от которой был рожден первый человек, устремившийся в бой с демонами тьмы. О насущной задаче каждого — совершить обряд очищения огнем, сжечь грехи, счистить раскаленным железом материальную корку преступлений с души.

— Все католики с православными — превеликие грешники, — утверждал священник, — ибо поклоняются ложным ценностям и забыли дорогу в истинный Храм. Мы зовем отступников на «Пиршество Идиотов», где они самоуничижаются, опускаются ниже грязи, предаются всем смертельным грехам и, подобно апостолу Петру, трижды отрекаются от Креста. А затем Братство принимает раскаявшихся к себе, очищает огнем от скверны и ведет за собой в Царство Божье. Что вы думаете об этом, дочь моя?

Адельгейда сидела мрачная, углубившаяся в раздумья. Глядя в пол, нехотя сказала:

— Уж не знаю даже... С детства я воспитана в почитании тех святых, от которых вы меня призываете отказаться. Перейти из православия в католичество и наоборот, в сущности, нетрудно. Разница в отдельных обрядах и формах... Но у вас — отрицание краугольных камней! У меня нет ответа на ваш вопрос.

— Вы должны решиться, ваше величество. — Рупрехт наклонился и провел рукой по ее предплечью. — Если не желаете рассориться с императором. А разрыв с ним губителен: ведь у вас под сердцем его дитя. Появившись на свет и сделавшись взрослым, с неизбежностью спросит: «Почему мой отец нас не признает? Почему вы расстались?» Рассудите чинно и без эмоций, дочь моя. Посмотрите на обстоятельства философски. Ради собственного спокойствия. И спокойствия будущих детей. — Он поднялся и заключил: — Скоро мы вернемся к нашему диалогу.

Он ушел, а императрица расплакалась в голос. Прибежавшие Паулина и Груня еле ее уняли, заставляя дышать нюхательной солью.

В следующие несколько дней на нее навалилась Лотта — видимо, по наущению Генриха и Рупрехта. Говорила, что Папа Климент III тоже разделяет их взгляды и в ближайшее время он объявит учение Николая Чудотворца основной опорой истинной религии. «Мы стоим на пороге священной войны, — утверждала Бер-

свордт. — Иноверцы будут разгромлены и посрамлены. Горе тем, кто не смог вовремя прозреть!»

Сомневаясь и путаясь, Адельгейда снова стала спрашивать совета у Конрада: как ей поступить? Королевский отпрыск выглядел печальнее прежнего:

— На меня тоже сильно давят, — сокрушался он. — Мой отец угрожает, что провозгласит императорским наследником не меня, а младшего брата.

— В чем же выход?

— Я не знаю. Надо положиться на волю Господа.

— Ах, мне страшно, Конрад!..

За неделю до Рождества государь явился в покои жены. Был какой-то взвинченный, вроде выпил вина или принял неизвестное снадобье, расширяющее зрачки. Для начала спросил:

— Как вы чувствуете себя, ваше величество?

— Благодарствую, более-менее.

— Лекарь говорит, что беременность протекает сносно.

— Да, не жалуюсь.

Самодержец прошелся по комнате:

— Приближается Рождество Христово. В эти дни Святой Николай, или, по латыни, Санта Николаус, Санта-Клаус, раздает подарки. И взамен ждет подарки от христиан... Вы намерены сделать Ему подарок и вступить в Братство николаитов?

— Я в смятении, ваше величество. Видимо, мое состояние — будущей матери — отражается на моих умственных способностях... Голова велит: надо подчиниться! А на сердце — камень. Это «Пиршество Идиотов»... Мне никто так и не объяснил, в чем оно заключается. Все отделяваются общими фразами: «смертные грехи», «ниже грязи»... Расскажите толком.

Неожиданно монарх рассердился, начал потрясать кулаками:

— Вы несносны! Надоедливы и глупы! Утверждали, что любите меня, что готовы на всё ради сохранения

августейшей семьи. А теперь капризничаете и желаете знать больше, чем положено! Не перечьте мне. Сделайте, пожалуйста, как прошу. Или разойдемся навек.

Подавляя слезы, вздрагивая, Евпраксия проговорила:

— Для чего вам это? Разве так существенно, стану ли я членом Братства?

Государь ответил со злостью:

— Да, существенно! Важен принцип. Вы обязаны подчиняться мне в каждой мелочи. Целиком и полностью. Я не стану разделять ложе с женщиной, если та не разделяет моих идеалов.

Киевлянка все-таки заплакала:

— Сжальтесь... не стращайте...

Топнув сапогом, венценосец крикнул:

— К черту ваши слезы! Надоело! Невыносимо! Говорите прямо: да или нет?

Изо всех сил борясь с подступавшей к горлу дурнотой, чувствуя, как кружится голова, утирая щеки, Адельгейда промолвила:

— Хорошо... извольте...

Генрих засопел, медленно поправил смятый воротничок и сказал спокойнее:

— Так-то оно лучше. Благодарю. Рупрехт объяснит, как себя вести перед церемонией. — И, бесстрастно откланявшись, вышел прочь.

Ксюша в изнеможении рухнула на подушки.

Начались приготовления к «Пиршеству Идиотов». Целую неделю Адельгейду держали на хлебе и воде, а когда от голода, бесконечных молитв и нехватки сил у нее уже всё кружилось перед глазами, дали выпить стакан крепкого вина с непонятными горькими добавками. В голове сделался туман. Воля отключилась. И она смотрела на себя и на окружение с полным безразличием.

Вот фон Берсвордт ее раздела, а затем облачила в черный балахон. Черной тряпкой завязала глаза.

И куда-то повела, держа за руку. Иногда предостерегала: «Осторожней, ступени... не споткнитесь на каменном полу... Невысокие двери — пригнитесь...»

С каждым шагом становилось прохладнее. Под босыми ступнями чувствовался лед. Но Опракса шла невозмутимо, безучастная к новым поворотам судьбы.

— Станьте на колени, ваше величество, — приказала Лотта. — Мы у Черной Комнаты, где сейчас сосредоточено мировое зло. Надо лечь на живот и вползти туда, как змея, сквозь дыру в стене. Там вас примут, не беспокойтесь...

Нет, боязни не было. Чьи-то руки подхватили императрицу по другую сторону стены и сорвали с глаз черную повязку.

В полутемной зале, больше похожей на пещеру или склеп, оказалось теплее. Под ногами лежал ковер. В нескольких углах горели масляные светильники, посередине — мраморный очаг. Интерьер украшался прикованными к полу скелетами и отдельными безглазыми черепами. Пахло тленом.

Из проема в стене вышел странный субъект в белом одеянии; белый колпак, целиком надвинутый на лицо, с прорезями для глаз и рта, выглядел зловеще. Человек простер длани над несчастной княжной.

— Дочь моя, — произнес вошедший голосом Рупрехта. — Я, иерофант Братства николаитов, спрашиваю тебя: добровольно ли ты решилась на муки грехопадения? С чистой ли душой готова самоунизиться, а затем отречься от прежней ереси?

— Да, — ответила Евпраксия без всякого выражения. — Я на всё согласна.

Первым делом иерофант прочитал первые восемнадцать стихов Евангелия от Иоанна. Обвязав голову Опраксы белой лентой, смоченной в крови и по всей длине испещренной каббалистическими знаками, он надел ей на шею мешочек с фрагментами мощей Николая Чудотворца. Наконец сорвал с королевы черный

балахон, бросил его в огонь камина, а на голом теле императрицы начертал кровью несколько крестов. Вынув затем полоску красного сукна, опоясал ею вступающую в Братство.

— На колени! — крикнул он. — Повторяй за мной: «Во имя распятого Иисуса Христа клянусь расторгнуть узы, которые еще соединяют меня с отцом, матерью, братьями и сестрами, с мужем и друзьями, которым я когда-то присягала в верности, повиновении и благодарности... Отрекаюсь от моей Родины, чтобы пребывать в иных сферах. И клянусь отдаться моему учителю и моим братьям-николаитам как мертвое тело, у которого отняли волю и жизнь. И клянусь, что после грехопадения буду жить чисто, целомудренно и по Заповедям Господа нашего Иисуса Христа, по Заветам Николая Чудотворца!»

Посвящаемая в точности повторила клятву.

— А теперь ложись, — приказал наставник. — Навзничь, навзничь!

Между тем сквозь дыру в стене стали приползать и другие вновь обращаемые в Братство — восемь молодых людей в черных балахонах. Человек в белом произвел с ними те же действия, что и с Опраксой, и они легли на ковер с ней рядом — голова к голове, этакой звездой.

— Пиршество Идиотов начинается! — крикнул иерофант страшным голосом и воздел руки.

Грянул гром, засверкали молнии, засвистели дудки и забил барабан; в воздухе разнесся запах серы; и по Черной Комнате заскакали появившиеся неизвестно откуда жуткие чудовища — в безобразных рогатых масках, долгополых шубах мехом наружу, с длинными хвостами и копытами на ступнях. Яростно кривляясь и улюлюкая, зверская компания начала плясать колдовские танцы около лежащих, делать непристойные жесты и пинать их ногами. Шел по кругу кубок с вином. А потом другой. И третий. Постепенно участники приходили в совершенно скотское состояние, падали

и ползали, их тошнило, и они мочились друг на друга, кто-то возбуждал свои гениталии, а кому-то между ног засовывали горящие свечи. Вскоре началась вообще вакханалия, свальный грех, Содом и Гоморра, непередаваемое бесчинство; всё рычало, стонало, совокуплялось и оргазмировало; женщины лизали возбужденные половые члены, струи мужского семени брызгали на ковер и тела, но при этом никто не касался вступающих в Братство, те лежали в центре оргии, словно островок непорочности. Неожиданно возле них появился карлик — тоже в рогатой маске и шубе, вылитый Егино; он, расставив ноги, волосатые и кривые, начал мастурбировать с фантастической скоростью, и фонтан желтоватой спермы вскоре окропил кожу обращаемых. Но они лежали, как мертвые.

В это время существа в шубах начали щипать, щекотать и таскать молодых людей за интимные места, вовлекать во всеобщий разгул, поливать вином. А иерофант возвышался над ними и шептал молитвы. Но потом воззвал:

— Дочь моя, Адельгейда! Ты готова ли отдаться на всеобщее поругание, искупив тем самым наши грехи, чтоб затем воскреснуть?

— Да, готова, — совершенно бесстрастно ответила та.

— Так свершись же позор над твоим бранным телом!

И волна безудержного разврата захлестнула всех: существа в шубах и юноши обладали ею — и по одному, и одновременно; завывали дудки, били барабаны, от курильниц шел дурманящий наркотический запах; а княжна отдавалась каждому безропотно, только думала: «Значит, это нужно... Если этого хочет мой любимый...»

А любимый монарх пребывал практически рядом — в небольшой смежной комнате, глядя на ужасный обряд через потайное отверстие. Он и сам был как будто

пьяный, наблюдал заворуженно, жадно и безумно, а его сын Конрад, находившийся рядом, горько плакал.

— Господи, — шептал принц, — что же это такое, Господи?.. Для чего?.. Как вы можете, ваше величество?.. Ведь она — супруга ваша, данная вам Богом! Будущая мать вашего ребенка!

— Замолчи, ублюдок, — обрывал его государь. — Пусть она искупит грехи — и свои, и наши. Я принес Братству в жертву самое дорогое. Ибо только Дух Божественный свят, остальное — гниль.

— Прикажите им прекратить, — не сдавался отпрыск. — Мне нехорошо... У меня желудок выворачивает наружу...

— Ты щенок, Конрад. Жалкий червь. Император должен закалять свою волю. И уметь выдерживать всё. Верно говорили: ты не мой сын... Хочешь ли ее, Адельгейду? Так поди и возьми. Разрешаю. Нет, приказываю тебе!

— Господи, о чем вы? — отзывался тот. — Осквернить отцовское ложе? Совершить кровосмесительный грех? Никогда!

— Тряпка. Недоносок. Грех кровосмешения — выдумка попов. Ибо люди — братья. Ибо все мы произошли от Адама и Евы, дети которых совокуплялись друг с другом...

— Не могу! Не хочу! Оставьте!

— Ты не понимаешь... Ты глуп. И разочаровываешь меня...

Постепенно групповое насилие над императрицей стало затихать. Существа в шубах расползлись в разные углы. А иерофант церемонно поднес к ней крест и велел трижды плюнуть на него, чтоб отречься.

Вдруг какой-то проблеск рассудка всплыл в ее зрачках. Действие галлюциногенов ослабло, и она со страхом осознала себя — голую, поруганную, мокрую и липкую, на ковре, в жутком склепе, принуждаемую совершить святотатство. Скрючившись, попятилась,

обхватила ноги руками и, стеноя от омерзения, выдохнула:

— Нет!

— Как? — воскликнул человек в белом. — Ты отказываешься закончить обряд?

— Да, отказываюсь! — крикнула княжна с яростью. — Дьявол! Сатана! Я в тебя плюю, а не в Крест Святой!

— Так нельзя, — возразил наставник. — От цепи грехопадений надобно очиститься — а иначе ты останешься в скверне до конца дней своих.

— Прочь, нечистый! Ненавижу тебя! Ненавижу всех, в том числе и Генриха! Будьте прокляты!.. — Силы оставили ее, и она лишилась сознания.

Увидав случившееся, услышав слова Адельгейды, самодержец сомкнул веки, прошептал ругательства, отвернулся от смотрового отверстия и, не обращая внимания на дрожащего Конрада, удалился по ступеням наверх. А наследник рыдал, призывая Деву Марию к себе в помощницы...

...Евпраксия очнулась в спальне. Над постелью висел мощный балдахин. Сквозь ячеистое окно проникал серый свет рождественского утра. Тело было ватное, непослушное, но сухое и чистое. Значит, ее купали... Сразу вспомнились отвратительные детали кощунственного обряда, киевлянка сморщилась, и горячие слезы заструились по ее щекам и вискам. Села, вытерла мокрое лицо краем простыни. Сжала кулаки и вскочила с ложа. У дверей столкнулась с Груней Горбаткой.

— Господи, жива! — улыбнулась нянька, но потом сразу испугалась: — Да куды ж ты, милая? И в таком виде?

— Отойди! Геть с дороги! — оттолкнула ее хозяйка. — Я ему скажу! Всё теперь скажу!

И, отпихивая охрану, слуг, придворных, побежала по лестницам в комнаты императора. Залетев в кабинет, встала посередине.

Генрих удивленно поднялся с кресла. Рупрехт, находившийся тут же, повернул брыластую, гадкую физиономию к возмутительнице спокойствия.

— Как вас понимать, Адельгейда? — произнес венценосец, побелевший как мел. — Посмотрите на себя, не позорьтесь...

— Я — позорюсь?! — прокричала Евпраксия — звонко, негодуя, прямо-таки захлебываясь словами. — Я должна на себя смотреть?! Вы — ничтожество, ваше величество. Мерзкая скотина и негодяй. Я любила вас больше жизни. А теперь презираю. Чтоб вы сдохли!

И упала, и забилась в конвульсиях. А когда подоспевшая челядь ее унесла, император проговорил грустно:

— Вот вам — «робкая русская овечка»... Я рассчитывал не на это. У меня больше нет супруги.

— Успокойтесь, сын мой, — приободрил его епископ. — Мы еще своего добьемся. Впереди война с Папой, итальянский поход и установление новой веры. Точку ставить рано. А жена вас наверняка простит. Вот увидите. Будет с вами душой и телом — на земле и на небесах.

Восемнадцать лет спустя, Германия, 1107 год, осень

На вторые сутки пути их корабль оказался в окрестностях Майнца и Висбадена: здесь была развилка рек — Рейн налево, Майн направо. Йошка плыл по Рейну на север, Герман собирался по Майну во Франкфурт. И Опраксе надо было решать, с кем же следовать дальше.

Разговор состоялся на палубе, под открытым небом и довольно сильным дождем. Ветер теребил их накидки, капли брызгали в лицо, и беседа вышла какой-то нервной, неприятной, обрывочной. Немец звал с собой, убеждал, что нельзя расставаться, что в конце концов

дело не в императоре, а, наоборот, в них самих — лучше скоротать оставшиеся дни вместе, пусть отрекшись от схимы, от духовных обетов, но зато в любви и покое. Евпраксия отнекивалась — грустно, нехотя, погруженная в себя, в собственные мысли. Нет, остаться в Германии вовсе не хотела, потому что Германа не любила и не чувствовала потребности разделить с ним остаток жизни; но и возвращаться на Русь опасалась — в келью, в одиночество, в прозябание и забвение. Что же выбрать? По какому пути отправиться?

Йошка торопил: судно не могло стоять долго, надо было сниматься с якоря. И епископ, нахохлившись, мокрый, раздраженный, не выдержал:

— Ваша светлость, говорите же последнее слово. Или сходим вместе, или уйду я один.

«Господи, последнее слово! — ужаснулась она. — Точно перед казнью. Вынесение приговора — и ему, и себе, и всем... Я не знаю, Господи! Совершенно не представляю!» и потом, словно не сама по себе, а под чью-то диктовку, произнесла:

— Еду дальше. Будь что будет.

Промелькнула мысль: «Что же я наделала?!» Даже удивилась: «Почему сказала именно так? Не заметила, как переступила черту». Спихватилась: «Может, передумать? Присоединиться к нему?» Но смолчала.

Кёльнский священнослужитель тоже молчал. Сразу как-то сник, словно бычий пузырь, из которого выпустили воздух. И морщины на лбу и щеках сделались рельефнее. Выдохнул негромко:

— Ну, как знаете, сударыня. У меня больше нет слов.

Снова воцарилось молчание. Дождик моросил, оседая в ткани накидок.

На губах у Опраксы промелькнуло некое подобие невеселой улыбки. И она сказала:

— Тихий ангел пролетел...

Он не понял:

— Что?

Евпраксия пояснила:

— Так у нас в Киеве говорят. Если собеседники потеряли нить разговора и замолчали — «тихий ангел пролетел»...

Герман посмотрел на нее с тоской:

— Тихий ангел, да... Вы, как тихий ангел, пролетели по моей жизни... и по нашей Германии!..

— О-о! — воскликнула Опракса. — Я совсем не ангел. Столько грехов на мне, что не отмолить никогда. И совсем уж не тихий: стала роковой женщиной для кесаря...

— Кесарь сам виновен.

— Ах, не будем говорить о покойном плохо.

Снова помолчав, немец заключил:

— Обещаю вашей светлости: приложу все силы, чтобы снять анафему с императора и похоронить его с честью. А когда добьюсь этого, то приеду на Русь и возьму вас к себе.

Ксюша засмеялась:

— Даже если буду уже старухой?

— Даже если старухой. Но надеюсь, что увидимся раньше. — Наклонившись, он поцеловал ее в щеку.

И она поцеловала его.

Герман сразу заторопился, прихватил свои вещи, помахал рукой Йошке и стремительно побежал по сходам на берег. Даже не оглянулся ни разу, словно опасался не выдержать, броситься назад и опять молить ее о любви.

Судно отвалило от пристани.

Евпраксия смотрела вслед архиепископу до последнего мига, до тех пор, пока далекий причал не исчез из ее поля зрения. Осенила себя крестом и подумала: «Вот и всё. Я опять одна. Впрочем, не беда. Мне никто не нужен — кроме Кати, Васки и маменьки. Лучше быть одной, чем жить с человеком без взаимного чувства».

Рейн катил осенние воды. Впереди лежали Вестфалия и Брабант, а затем — Северное море.

До трагической гибели Адельгейды оставалось ровно полтора года.

Там же, 1107 год, начало зимы

Йошка торопился доплыть до Гданьска к первым числам декабря, чтобы не попасть в ледостав южной Балтики. И поэтому решил простоять в порту Бремерхафена, в устье Везера, только несколько часов, чтобы запастись питьевой водой вплоть до самой Гдыни. Но попал в крайне неудачный момент: в городе как раз разгорелся очередной еврейский погром, обезумевшие толпы перемолотили иудейский квартал, ювелирные лавки, кабачки, магазинчики, синагогу, перебили всех, даже стариков и грудных младенцев, ринулись к причалу и один за другим захватили несколько купеческих кораблей, не успевших убежать в открытое море. В том числе и Йошкин.

С криками: «Бей жидов, распявших Христа!» — бросились на палубу, половину команды выбросили за борт, в ледяную ноябрьскую воду, остальным размозжили голову или же вспороли живот. Сразу устремились к бочонкам с вином, стали заливать его в глотку, радоваться, орать: «Не дадим иудам спойть народ! Денежки тянуть в свой карман! Не на тех напали, иноверцы проклятые! На немецкой земле могут жить только немцы!»

— Гля, да здесь баба за бочонками! — крикнул кто-то.

Евпраксию вытащили на свет Божий и уже хотели сорвать одежду, чтобы надругаться, как один из погромщиков крикнул:

— Стойте, погодите! — подошел и всмотрелся в ее лицо. — Уж не Адельгейда ли ты, маркграфиня фон Штаде, взятая затем в жены королем?

Та, дрожа от страха и холода, подтвердила:

— Да, я самая.

Окружавшие ее мужики сразу загудели:

— Ничего себе! На жидовском корабле — королева?

— Я плыла в Польшу, чтобы возвратиться затем на Русь.

Кто-то пьяно ляпнул:

— Русские и поляки с жидами заодно! Бей ее!

— Тихо! — оборвал его тот погромщик, что узнал Опраксу. — Я, Йоханнес Фладен, — вы меня знаете, — был в имении у маркграфа рубщиком мяса. И беру господа под мою защиту. Кто ее обидит, встретится со мной! И с моим топором!

Все почтительно замолчали. А мясник стал расталкивать толпу:

— Пропустите, пропустите! Дайте же пройти! — И любезно обратился к бывшей государыне: — Милости прошу, ваша светлость. Мой дом — ваш дом.

Киевлянка ответила:

— Да, спасибо, конечно, только я должна дальше плыть...

Мужики снова загудели:

— С кем? На чем? Лично мы в Гданьск не собираемся! Фладен произнес:

— Плыть, конечно, уже нельзя... Ничего, что-нибудь придумаем. Главное, пойдемте отсюда. От греха подальше...

Он помог ей спуститься по сходням. И сопровождал в город. По дороге болтал:

— Честно говоря, я к евреям отношусь дружелюбно. Люди как люди, хоть и поклоняются не нашему Богу. Пусть себе живут и торгуют. Иногда нам привозят такие товары, о которых мы и слыхом не слыхивали. Но когда погром... Все бегут, и тебе неудобно отставать от соседей. Скажут: «Ты — пособник жидов, сам такой, к ним примазался!» А к чему мне подобные неприятности? — Он вздохнул. — Домик у меня небольшой, но уютный. Я женился на дочери местного бака-

лейщика, а когда тот умер и оставил ей в наследство лавку с домом, переехал из Штаде в Бремерхафен. А детей Бог нам не дал. Так вдвоем и живем, да еще с кошкой Мурхен, но она уже старая и почти ничего не слышит.

Фрау Фладен оказалась сухощавой невыразительной немкой в белом чепчике и белом передничке. Увидав Евпраксию, ахнула:

— Ваша светлость, вы?! — А потом, по мере рассказа мужа о чудесном спасении Адельгейды, всплескивала руками и причитала: — О, Майн Готт! Пресвятая Дева! Ничего себе!

Быстренько накрыла на стол, угостила нехитрой пищей: молоком, творогом, яйцами и хлебом, земляничным вареньем, но сказала, что это так — просто заморить червячка, а обед будет чуть попозже. Сам хозяин после трапезы сообщил:

— Вот что я подумал. Не отправиться ли мне завтра поутру в Штаде? У соседа займу кобылу с коляской — здесь езды несколько часов, — до полудня доберусь. И скажу в замке маркграфини, кто находится у меня под кровом. Вы наверняка с ее светлостью Агнессой знаете друг дружку?

Ксюша рассмеялась:

— О, еще бы! Ведь она тоже киевлянка и приехала в Германию как моя наперсница. Звали ее по-русски Мальга, а по-гречески — Фёкла.

— Превосходно! Значит, не откажется вам помочь.

Евпраксия ответила:

— Я надеюсь. Впрочем, утверждать наверняка не могу. У людей, бывает, изменяются взгляды и вкусы.

Но мясник заверил:

— Нет, дурная слава об Агнесе не шла. Вот супруг у ней был большой болван. Слава Богу, сгинул где-то в походе. И сынок, видно, в папочку пошел — любит пошалить и покуролесить. А мамаша-то ничего, вроде бы не вредная.

— Вредной не была никогда.

Следующий день прошел в ожидании. Снарядили Йоханнеса в путь и затем коротали время, приготавливая еду. Нет, конечно же, готовила фрау Фладен, не давая Опраксе подойти к продуктам («Это не ваших нежных ручек дело, сударыня!»), и княжна только помогала советами, да еще играла с кошкой Мурхен. Та ее признала безоговорочно, сразу подошла, словно бы к хорошей знакомой, прыгнула на колени и доверчиво свернулась клубком.

— Сколько лет ей? — спросила русская с интересом.

— Много, очень много! Почитай, уж двадцать, — поразмыслив, сказала немка.

— Неужели? Нет, невероятно. Ни собаки, ни кошки столько не живут.

— Я вас уверяю. Мы нашли ее вскоре после похорон прежнего хозяина Штаде — графа Генриха Длинного, вашего супруга.

Евпраксия задумалась:

— После похорон? Генрих умер в восемьдесят седьмом... Получается, правда двадцать лет!

— Ну, вот видите! Очень умная тварь,мышленная. Добрая и чисто плотная. Но к чужим относится с подозрением. Иногда кто-нибудь зайдет незнакомый — так потом полдня киску из-под кровати не выманишь. Всё сидит и зыркает своими зелеными глазищами из темноты. А вот вас ни капли не испугалась.

— У нее глаза, как у Генриха покойного.

— Это вам виднее. — Помолчав, хозяйка добавила: — Говорят, что души людей после смерти переселяются в птиц и животных. Может, ваш покойный супруг поселился в Мурхен?

Бывшая императрица провела ладонью по мягкой шерсти и с улыбкой произнесла:

— Трудно утверждать, но догадка ваша забавна. — Позвала негромко: — Генри, Генри, уж не вы ли это?

Кошка посмотрела на нее с любопытством.

— Да она ничего не слышит, — пробурчала Фладен, стоя к ним спиной.

— А по-моему, слышит. Вы взгляните сами. Генри, Генри!

Но когда немка обернулась, Мурхен уронила голову на колени гостыи и лежала совершенно невозмутимо.

— Значит, показалось.

— Ясно, показалось. Потеряла слух года три назад. И мышей не ловит. Только спит и лопает. Что ж теперь поделаешь! Старость уважать надо, даже если старость кошаच्या.

Ждали возвращения мясника и не ели, но потом, под вечер, сели за обеденный стол без него. На душе было неуютно.

— Может, что случилось? — спрашивала хозяйка. — По дороге? В Штаде? Нынче время тревожное: мало ли, на кого напорешься!

Ксюша тоже нервничала, но старалась не подавать вида:

— Ой, не надо нагнетать страхов! Пресвятая Дева Мария не оставит нас. Без Ее защиты я давно бы уже погибла.

— Дал бы Бог, дал бы Бог, вашими молитвами...

С тем и спать легли. А наутро не успели подняться, как услышали под окнами цоканье копыт, трубные звуки рога и торжественный бой барабанов. Выглянули на улицу — Господи Иисусе! — гвардия маркграфа Штаденского на конях под флагом, где, как прежде, был изображен непокорный единорог в обрамлении дубовых листьев.

Йоханнес, раскрасневшийся, шумный, топал по ступенькам внутренней лестницы и кричал на ходу:

— Ваша светлость, ваша светлость! Тут за вами приехали! Соболаговолите собраться!

Отдышавшись, объяснил гостыи и жене: маркграфиня Агнесса, как узнала о появлении прежней своей подруги, так велела везти ее к себе; но пока снаряжали

гвардию, ехать стало поздно и решили перенести отправление на сегодняшнее утро. Тут поднялся и командир гвардейцев; поклонившись и церемонно представившись, он сказал:

— Мне поручено вас доставить в замок фон Штаде. Все готово к вашему торжественному приему.

— Крайне польщена. Подождите меня внизу. Я спущусь через четверть часа.

Ксюша попрощалась с гостеприимной четой. Вынув золотую монетку, подарила хозяйке. Та вначале принимать не хотела, говорила, что само пребывание в их убогой хижине столь высокопоставленной особы было им наградой.

Киевлянка, улыбнувшись, кивнула:

— Хорошо, пусть тогда подарок будет для Мурхен. И пойдет на ее достойную старость и приличные похороны.

Йоханнес заметил:

— На такие деньги можно прокормить и похоронить целый выводок кошек!

— Нет, не надо выводок. Лишь ее одну, остальное — вам.

Появилась на улице под приветственные крики гвардейцев. Все соседи таращили глаза, стоя возле окон или в створах ворот: в их квартале ничего подобного никогда не происходило. Радостные Фладены кланялись ей вслед и напутственно махали платками. Командир помог Евпраксии сесть в повозку, а затем сам вскочил в седло. И под звуки военной музыки поскакал во главе процессии к городским воротам.

Ехали небыстро, но чинно. И погода благоприятствовала: не было дождя, выглянуло солнце, утренний, чуть морозный воздух нежно щекотал ноздри, а раскисшая прежде болотистая дорога, схваченная ледком, превратилась в твердый грунтовый путь. Ксюша, глядя по сторонам и дыша полной грудью, думала с восторгом: «Всё, что ни случается, к лучшему. Если бы поеха-

ла в Гданьск, не смогла бы встретиться с Фёклой. Значит, это судьба!»

Около полудня кончились болота, потянулись рощицы, а за ними вскоре возник и Штаде, с теми же башнями и подъемным мостом, что княжна запомнила с ранней юности. Это же без малого четверть века прошло! Старики поумирали, дети выросли... Интересно, жива ли еще тетя Ода? Сын ее, Ярослав Святославич, возвратившись на Русь, правил давно в Чернигове и с Опраксой никогда не встречался...

Адельгейда с эскортом вновь проехала по улице Поросячьей Коленки, у колодца едва не перевернувшись в колоссальную грязную глубокую лужу, и, проследовав мимо церкви Святого Вильхадия, по базарной площади, покатила к замку. Там, внутри, у дверей дворца, сразу разглядела вышедшую ей навстречу Мальгу — сильно располневшую, несколько кургузую из-за этого, но с такими же веселыми, озорными глазами, как прежде. Позабыв про все этикетные церемонии, с радостными криками бросились на шею друг другу. Плакали, смеялись, обнимались, как дети. Говорили по-русски.

— Ух, какая ты сделалась жирная, подруга! — хохотала, глядя на нее, Евпраксия. — Сала много кушаешь.

— Да какое сало! — отмахивалась товарка. — Я уже забыла, с чем его едят. Ты попробуй народи четверых детей и не растолстей!

— С этим я согласна.

— Ну а ты зато совершенно не изменилась. Всё такая же стройная, словно тополек.

Евпраксия махала ладошкой:

— Ой, да будто бы! Вон смотри, сколько седины!

— Почему в монашеском одеянии?

— Год назад постриглась — после смерти Генриха Четвертого. И теперь называюсь сестрой Варварой.

— Разумеется, у Янки в монастыре?

— Нет, оттуда сбежала в Печеры.

— Господи, да как же?

— После расскажу.

— Ну, пошли под кров. Чай, проголодалась с дороги-то?

Длилась трапеза несколько часов. Выслушав историю Евпраксии, Фёкла объявила:

— Я тебя на Русь не пущу. Нечего там делать. Будешь жить со мной — и кататься как сыр в масле. Ты мне помогла обрести семью и богатство, я тебе отплачу лаской и заботой.

Ксюша улынулась:

— Радостно услышать. Но, прости, не останусь.

— Как так — не останешься? Почему?

— Не хочу да и не могу делаться твоей приживалкой.

— Ой, о чем ты! О какой приживалке речь ведешь? Мы с тобой подруги и почти что сестры, породнились, выйдя замуж за братьев фон Штаде. Да, конечно, я не ровня тебе по крови — ты великая княжна и была королевой, я простая боярышня и всего лишь графиня... Но, по-моему, титулы и звания никогда нас не разобщали?

Евпраксия ответила:

— Дело тут не в титулах и не в крови. Просто я хочу вернуться домой. В Киев, к матери, сестре и приемной дочке, к сестрам и братьям во Христе. Умереть на чужбине не желаю. — Посмотрела на нее извинительно: — Ты не думай, я сказала так не в упрек тебе. У тебя иная судьба — ты нашла в Германии новую Родину. Обрела детей, ставших немцами, говоришь по-немецки чище, чем по-русски... У меня не вышло. Я осталась русской. Православной русской. А еще моя половецкая половина крови не дает мне покоя в тесных замках, серых городах — жаждет на простор, на свободу, на родную Русь.

Покачав головой, Агнесса произнесла:

— Это всё фантазии. Ты придумываешь сказки, веришь в них, а потом, когда они погибают в столк-

новении с жизнью, переживаешь. Я давно избавилась от иллюзий. Пару раз схлопотав от мужа по зубам и своими силами воспитывая детей, быстро избавилась. Сделалась практичной и трезвой. Настоящей немкой. И тебя призываю опуститься из заоблачных сфер к нам на грешную землю, здраво оценить свое положение в мире и остаться коротать старость у меня.

— Нет, не уговаривай.

— Очень жаль... Ну, хотя бы погости до весны. Экипаж и сопровождающих я, конечно, выделю, можешь не тревожиться, будешь в Киеве через десять дней. Но сегодня-то, как-никак, третье декабря, скоро грянут морозы, на востоке — лютые, загудят метели, и в дороге можно застынуть. Для чего тебе подвергаться опасности? Погоди пока, а в апреле уедешь, Бог даст.

Ксюша с благодарностью улыбнулась:

— Благодарна тебе, Феклуша, за твое радушие и приветливость. Может, и останусь до Масленицы будущего года. Я должна подумать.

— Было бы чудесно! Вместе столько месяцев! Встретим Рождество и Крещение, чинно поговорим, а потом разоведемся. Хорошо-то как! Доведется ли встретиться еще? Если ты уедешь, то вряд ли.

— Не травми мне душу. Сказано: подумаю. Дай собраться с мыслями, отойти от волнений последних лет...

— Я не тороплю.

Полгода спустя, Русь, 1108 год, лето

Пребывание в Штаде затянулось для Евпраксии до мая следующего года. Согласившись остаться на зиму, никогда об этом не пожалела. Под присмотром подруги, окруженная лаской и заботой, повседневным вниманием, регулярно питаюсь и помогая Фекле по

дому, быстро отдохнула и расцвела, точно роза, принесенная в теплый дом с холодного ветра. Познакомилась с отпрысками Мальги. Старший, Ханс-Хеннинг, в самом деле походил на отца, Людигеро-Удо, и в свои двадцать лет, будучи женатым и имея крошечного сына, занимался хозяйством мало, предоставив управление Нордмаркой матери; больше муштровал ополченцев и гвардию, охранял земли от набегов сторонников короля и в затишьях между схватками пьянствовал и блудил. А к Опраксе отнесся с полным безразличием, потому что как человек и как женщина та не представляла для него интереса. Средний, Манфред, повторял отчасти черты Генриха Длинного — был худой, высокий и рыжеватый; посвященный в рыцари, не стремился участвовать в битвах и турнирах, сочинял стихи и подумывал о карьере богослова. Младший, Гвидо, только-только превращался из отрока в юношу и стеснялся своих прыщей; увлекался домашними голубями и прекрасно играл на дудочке. А единственная дочка Кристиана очень привязалась к «тете Барбаре», как Опракса разрешила себя называть. Девочке исполнилось десять лет, и она родилась через восемь месяцев после отбытия своего папаши в Крестовый поход, так что никогда его не видала. Будучи семейной любимицей, Кристиана умудрилась вырасти не капризной и не ленивой, с удовольствием постигала науки с нанятыми для нее домашними педагогами и неплохо пела. Без конца теребила гостью, заставляя рассказывать о диковинных странах — Венгрии, Италии и Руси. Жаловалась часто: «Маменька о Киеве вспоминать не любит и не обучила меня русскому языку. Говорит, что в жизни мне не пригодится. Ну и что? Я ведь наполовину русская. И совсем отрываться от корней не хочу». Испросив разрешения у Мальги, «тетя Барбара» начала прививать номинальной племяннице навыки родной речи. Та училась живо, и уже к весне распевала:

Солнышко-вёдрышко,
Выгляни, красное,
Из-за гор-горы!
Выгляни, солнышко,
До вешней поры!
Видело ль ты, вёдрышко,
Красну весну?
Встретило ли, красное,
Ты свою сестру?

А когда в апреле Евпраксия засобиравалась домой, больше всех огорчилась именно Кристиана. Фекла не особенно удерживала подругу: интерес к новому лицу, радость первой встречи очень быстро прошли, общие дела не возникли, и, возможно, гостя ей поднадоела. Так, спросила формально: «Может быть, задержишься на чуток?» — и, услышав отказ вместе с благодарностью, наседать не стала. Повторила только, что возок и сопровождение выделит по первому ее слову. Но зато племянница страстно умоляла остаться, плакала, сердилась, даже набивалась в попутчицы. Ксюша уговаривала ее не переживать: «Подрасти немного, а потом я тебя просватаю за какого-нибудь русского боярина или княжича. И приедешь на Русь — значит, повидаемся». — «Обещаешь, тетечка?» — «Обещаю, милая. Как покойная тетя Ода меня просватала, так и я тебя».

Уезжала Евпраксия вскоре после Пасхи. Маркграфиня дала ей в сопровождение пятерых гвардейцев, кучера и служанку; только пошутила: «Вот верблюдов нет, ты уж не серчай: те, что с нами приехали, передохли давно, новых не заводила». — «Ничего, обойдусь как-нибудь без них».

Обнялись на крыльце дворца, прослезившись, облобызались. Понимали, что прощаются навсегда. Евпраксия сказала: «Ну, прости, подруга, коль обременила невольню». Фекла попеняла: «Ах, о чем ты? Эти были славные дни. Некое возвращение в юность». — «Да,

в которую, по большому счету, возвратиться нельзя». Обнялась и поцеловалась с Кристианой, пожелала ей счастья и удач, поднялась в повозку, помахала рукой на прощание и задернула полог, чтоб не видели ее слез.

К середине мая были в Киеве. По дороге никаких неприятностей не случилось, только задержались в Гнезно на три лишних дня, где Опраксу неожиданно тепло приняла дочка Святополка — Сбыслава, польская королева, выданная замуж за короля Болеслава Кривоустого; подарила кучу драгоценностей и дала в сопровождение еще десять конников. Словом, бывшая императрица въехала в стольный русский град прямо-таки по-царски.

Сразу окунулась в местные заботы: спешное восстановление келий и церквей Печерского монастыря, пострадавших от весеннего паводка. Наводнение было очень сильным, разлились не только Днепр и Десна, но и Припять, затопили весь киевский Подол, несколько прибрежных деревень, в том числе и Берестово, и святую обитель игумена Феоктиста. Под водой погибли несколько человек, в том числе и сестра Манефа, не успевшая выбраться на крышу вместе с остальными — по своей слепоте. Ксюша огорчилась безмерно и не раз потом навещала свежую могилку по-други.

И еще одну монахиню Бог забрал в Киеве без Опраксы — бывшую келейницу Серафиму. Катерина, рассказывая об этом, говорила твердо:

— Харитина-Харя подсыпала Серафиме в трапезу потихоньку мышьяк, небольшими дозами, та худела и таяла, как свеча, потеряла волосы, пожелтела, высохла и спустя полгода преставилась.

— Да почему ты знаешь, коли яд подсыпали тайно? — спрашивала Евпраксия.

— Потому как вначале уговаривали меня, чтобы я травила. Я для вида дала согласие и взяла склянку с мышьяком, но, конечно же, никогда ни капли не под-

мешала. Думала, что этим Серафиму спасу. Только, вероятно, подсыпал кто-нибудь еще, так как Харя мне не доверяет.

Евпраксия сосредоточенно думала. Наконец задала вопрос:

— Склянка при тебе?

— Да, храню.

— согласишься выступить прилюдно, если я затею княжий суд, обвиняя Харитину в убийстве?

Катя испугалась:

— Свят, свят, свят! Да зачем же это? Нет, не надо.

Серафимушку назад не вернуть, а тягаться с сестрами во Христе грешно.

— Я хочу покарать злодейку.

— Ничего в суде не докажешь.

— Как, а эта склянка?

— Скажет, не ея.

— А твои слова, а твое свидетельство?

— Скажет, что я лгу. И вообще, коли разобраться, надобно не Харю судить — то есть не ея одну. Понимаешь, о ком я? Но уж ту привлечь вовсе не дадут. Зацепиться не за что.

— Может, съездить к Володе в Переяславль? Посоветоваться с ним?

Младшая сестра пожала плечами:

— Зря потратишь время. Мономаху не до наших затей. Он недавно женился на юной половчанке, развлекает и лелеет сударушку из последних сил, говорили многие. Нет, оставь, родная. Охолонись.

Старшая бубнила:

— Что ж, оставить Серафимушку неотмщенной?

— А куда деваться? Надобно терпеть смирно.

— Мы смиримся, а они безнаказанно новую жертву выберут. Например, тебя. Или же меня.

— Не наговори! Я и так глотаю каждый кусок с опаской.

— Ну, вот видишь.

— Всё одно: лучше так, чем ославить матушку на весь Божий мир.

— Хорошо, а давай не по светской линии, а, наоборот, по духовной. Напишу челобитную митрополиту.

Катя замахала руками:

— Час от часу не легче! Ты в своих иеропиях позабыла про то, где живешь. Тут Святая Русь! На Руси правды не добьешься — сам же и погибнешь. А митрополит хоть и грек, но не станет выносить сора из избы. Дело-то замнут, только мы останемся в дураках. То есть в дурах.

— Ох, не знаю, не знаю, милая. Коль всего бояться, тоже пропадешь.

И как в воду глядела: Янка с Харитиной обернули смерть Серафимы по-своему — обвинили в ней саму Катерину! При других монашках обыскали келью черницы и нашли склянку с мышьяком. Несмотря на протесты Хромоножки, заперли ее в темной и составили грамоту на имя митрополита. А митрополит вызвал всех к себе на разбор, был довольно крут и весьма разгневан. Не учли охальницы, что Никифор тайно не любил Янку. Началось это давно, больше десяти лет назад: после смерти митрополита Иоанна II Янка, испросив согласия у отца, князя Всеволода, ездила в Константинополь за новым первосвятителем; и Никифор тоже претендовал стать главой русской церкви, но приезжая убедила Патриарха, что благословить надо старца Иоанна, схимника и скопца; привезла на Русь, но скопец оказался столь болезненным, что его прозвали в народе «живым покойником»; он и вправду умер через год, и тогда Патриарх рукоположил все-таки Никифора. А еще митрополит с подозрением относился к козням преподобной против Евпраксии и благословил переход последней к Феоктисту в Печерскую обитель. Словом, ни игуменье, ни келейнице легкая победа явно не грозила.

Разбирательство продолжалось несколько часов. Выслушав обе стороны, грек спросил у поклепщиц:

— А скажите мне, сестры во Христе, как по-вашему, для чего Катерине надо было травить Серафиму? По какому умыслу совершила это?

Янка отвечала ничтоже сумняшеся:

— А по вредности. Корень их, половецкий, чересчур вредоносный. И мамаша, великая княгиня Анна, и ея обе дочери. Даром что монашки.

Но Никифор не согласился:

— Несерьезно, матушка. Вредность вредностью, а убийство убийством. Гляньте на сестру: да у ней у самой еле-еле душа в теле. Кроткая да смиренная. Нет, не верю вам.

— Как, а склянка с ядом? — вырвалось у Хари.

Катерина не выдержала и сказала:

— Ты же мне сама склянку и дала. Дабы сыпала мышьяк Серафиме в пищу!

— Врет она! — взвизгнула келейница. — Не было такого!

Обе стороны затеяли перепалку, зашумели, загомонили, начали бросать обвинения по второму кругу. Но первосвященник резко оборвал эту свару:

— Прекратить! Прекратить немедленно! — даже посохом золоченым стукнул в пол. А когда женщины утихли, задал Хромоножке вопрос: — Значит, баешь, Харитина дала отраву?

Младшая княжна осенила себя крестом:

— Истинно: клянусь! Принесла мне в келью и говорит: если откажусь, то меня погубят вместе с Серафимой.

— А за что, за что?

— Знамо дело: из-за Евпраксии. Ненависть к Опраксе их душит.

Янка сорвалась, крикнула с надрывом:

— Бред! Не верьте! Катеринка больна, тронулась умом!

— Погоди же, матушка, — вновь прервал ее грек. И опять обратился к монашке: — А скажи, сестра, ты взялась бы стать игуменьей Андреевской обители?

Испугавшись, Хромоножка захлопала глазами:

— Я?! Да как же ж? А куда Янку?

Та стояла бледная, неподвижная, воплощенная ненависть ко всему и всем. А митрополит проворчал негромко:

— Мы о ней позаботимся, не волнуйся. Ты сама пошла бы в игуменьи?

— Это неожиданно... Я в смятении, право слово!.. — Посопела и брякнула: — Может, и пошла бы...

— Вот и превосходно. Принимай дела. И пускай Евпраксия — то есть сестра Варвара — сделается келейницей при тебе. Вместе вы потянете, мне сдается.

Катерина в благодарность поцеловала руку первосвятителю.

Янка произнесла нервно:

— Ну а мне с Харитиной куда прикажешь?

Он ответил:

— А тебе с Харитиной советую перебраться в Печерскую обитель. С Феоктистом я договорюсь. Там вреда от вас будет меньше. — И взмахнул перстами: — Можете идти обе. Ну а ты, Катя, задержись. — И, оставшись наедине, посоветовал вполголоса: — Осторожней будь. До того, как они из монастыря не уедут. Опасайся козней. И Опраксу предупреди.

— Ты меня пугаешь, владыка.

— Просто предупреждаю. Будьте начеку.

Из митрополичьих покоев, что располагались за Успенским собором Печерского монастыря, Хромоножка поковыляла к Варваре — в женские кельи. Разыскала сестру и передала разговор с Никифором. Та, услышав ее рассказ, прямо оцепенела:

— Господи, помилуй! Да зачем же он? Янка ведь теперь нас наверняка со свету сживет!

— Нет, теперь побоится. Ведь тогда на нея подозрение падет сразу.

— Янкина одержимость выше страха. А как дочери великого князя ей ничто не грозит. — Поразмыс-

лив, добавила: — Я, пожалуй, сегодня же заберу от них Васку. Собиралась ведь давно, а теперь уж самое на то время.

— Что ж, поехали вместе.

Дочка Паулины встретила приемную мать, как всегда, ликующе, с поцелуями и объятиями, но потом заупрямилась, не хотела покидать школу и подружек. Евпраксия неожиданно строго заявила:

— Никаких возражений, слышишь? Собирайся без разговоров. Никуда твои подружки не денутся. Переждешь во дворце у бабушки, за семью замками в Вышгороде, а когда змеи подколодные уползут отсюда, привезу назад.

— Скоро ль это будет? — недовольно надула губы девочка.

— Полагаю, скоро.

Летний Вышгород был нетороплив и беспечен. Паводок нанес ему незначительный ущерб, ни один человек не сгинул, а подтопленные стены починили быстро. От Десны и Днепра веяло прохладой. На зеленом лугу вдалеке паслись рыжие коровы, представляя собой идиллическое зрелище, — вроде и не было всего в получасе езды отсюда суетной столицы с низменными страстями. И княгиня Анна, восседая в кресле у распахнутого настежь окна, от природы невозмутимая да еще разморенная июльской жарой, олицетворяла свой город — тихий, томный. Протянула руки навстречу Ксюше и Васке:

— Тэвочки мои! Наконец-то навестил старый бедный бабюшка. Я одна скучал. Очень тосковал. Но сейчас доволен. Вместе хорошей.

Выслушав доклад дочери о последних событиях в Киеве, сдвинула фальшивые брови (настоящие были выбриты, а чуть выше них черной красной нарисованы новые) и произнесла озабоченно:

— Это очень плёх. Катя наш имеет много неприятность. Надо защитить.

— Коль митрополит пожелал, чтобы я сделалась келейницей, стану помогать ей, как только можно.

— Ты одна не смочь. Янка — злой, Янка — вредный. Не язык, а жало.

— У митрополита поищем опоры. Князя известим. Он ко мне относится по-доброму.

— Да, на Бог надейся, но и сам не плёшай.

Переночевала у матери, а наутро только сели завтракать, как тиун-управляющий доложил о прибытии конника из Киева, человека от Святополка. Тот взошел в палату, рухнул на колени и, ударив лбом доски пола, проговорил:

— Матушка-княгинюшка, не вели казнить, а вели слово молвить.

Та перекрестилась:

— Что такой? Новость плёх?

— Очень плохая, даже словеса застревают в горле.

— Умер кто? Мономах? Сам великий князь?

— Катерина.

Ложка выпала из рук Евпраксии, из груди вырвался отчаянный вопль. Анна покраснела в мгновение и, как будто находясь на грани апоплексического удара, слабо пошевелила губами:

— Как? Зачем? Правду говорить?

— Истинную правду. У себя в обители подскользнулась и упала в колодец.

— Свят, свят, свят! — прошептала Ксюша. — Значит, сбросили.

Старая княгиня заслонила лицо пухлыми ладошками и, рыдая, произнесла:

— Тэвочки моя... Бедный, бедный Катя!.. Я как знал, я как чувствовал, что теперь будет очень плёх!..

Но Опракса плакать не могла. Бледная, холодная, точно изваяние сидела. И, прикрыв глаза, повторяла с упорством:

— Кончилось терпение... Я ея убью!..

**Несколько месяцев спустя,
Киев, 1108, лето — осень**

Никого посвящать в свой ужасный план Евпраксия не стала. Даже Мономаха, прискакавшего на похороны сестры из Переяславля. Отпевали Хромоножку в церкви Андреевского монастыря при не очень большом стечении народа — в основном монахинь и знатных горожан. Святополк постоял недолго, покрестился, свечку поставил за упокой и уехал, не дождавшись погребения тела; выглядел озабоченным и рассеянным. Но зато Владимир оставался на церемонии до конца и поддерживал мачеху под локоть (за другую руку ее вела Ксюша), говорил успокоительные слова, пожимал кисть в перчатке. На погосте, у разверстой могилы, произнес заупокойную речь на правах старшего:

— Бог не наградил Катерину свет Всеволодовну красотой и здоровьем. С детства припадала на правую ножку и не выросла как положено. А зато имела ангельскую душу. Никогда не сетовала на свою увечность, не кляла судьбу, а безропотно сносила тяготы земной юдоли. Не озлобилась, а, наоборот, относилась к людям с теплотою, душевно. Нрав имела кроткий и легкий. И ступила на стезю монашескую. Но молилась не истово, не давала страшных зарок, а опять же смысл нашла земного существования в помощи убогим и сирым, в воспитании девочек монастырской школы, в теплой, нежной дружбе с сестрой Евпраксией — ныне сестрой Варварой. И такой Катерина всем нам запомнится. И при всей нашей скорби ныне мы не будем плакать. Ибо знаем, что она пребывает в райских кущах, так как праведницей жила, так как мученическую смерть приняла, и Господь, я уверен, взял ее к Себе, в сонм Своих угодников. Пусть же тело сие покоится с миром, а душа пребывает в Царствии Небесном в безмятежности и блаженстве. Спи спокойно, Катенька. Мы твой светлый образ не забудем вовек!

Янка чуть поодаль стояла — с каменным лицом, в черном балахоне и черном клобуке, совершенная му-мия. После похорон Мономах заглянул ей в глаза и проговорил еле слышно:

— Радуюсь, злыдня? Ничего, Бог — Он видит всё! И воздаст по заслугам каждому. Даже тем, кто для виду ходит с крестом, а в душе — без оного!

Преподобная фыркнула:

— Ох, глупой ты, Володя, и доверчивый. Доверяешь слухам.

— Я себе доверяю, сердцу-вещуну. А тебя с твоими кознями ненавижу.

— Ненависть — негодное чувство.

— Кто бы говорил! Заруби на своем носу, сестрица: если хоть один волос упадет с головы матери-княгини, или же Опраксы, или Васки, дело будешь иметь со мною.

Та скривила губы:

— Что, убьешь?

— Может, и убью.

— Не посмеешь. Больно богобоязнен.

— Не своими ж руками! Ведь не ты же сама помогла Катюше соскользнуть в колодец. Исполнителей найти можно — только намекни... Вмиг сообразят — где-нибудь придушат в темном уголке. Или ножичком пырнут невзначай... Всякое случается. А потом ищи ветра в поле. Ты-то, Янка, знаешь...

Побледнев, женщина сказала:

— Как ты смеешь, братец, упрекать меня в разной дичи, забывая, что мы с тобой одной крови — императорской, греческой, — и встаешь на защиту половецкой погани?

Мономаха от этих слов передернуло. Процедил сквозь зубы:

— Замолчи, мерзавка. Ты забыла, что у меня жена — половчанка? Прикуси язык. Я предупредил — больше не спущу.

На поминках в Вышгороде, на которые Янка, разумеется, не поехала, он присел на лавку рядом с Опраксой, обнял ее по-братски и вздохнул печально:

— Не уберегли, значит, нашу Катеньку. Горе нам, горе, Ксюша! Ведь она была лучшая из нас.

Евпраксия, опасаясь, что выдаст планы отмищения, предпочла сменить опасную тему и спросила брата, как живется его наследнику Юрию Долгорукому в Суздальских краях с молодой женой. Тот повеселел и ответил:

— Слава Богу, неплохо. Подарили мне внука нынешней весной. Назван в честь Андрея Первозванного. А другое имя получил половецкое — Китан. Пишут, славный мальчик.

На губах сестры тоже появилась улыбка:

— Стало быть, и мой внучатый племянник.

— Разрастается племя Ярославово!

— Племя Володимера Красно Солнышко.

— Племя Рюрика! — При прощании же опять возвратился к прежнему: — Говорил я с первосвятителем. Он тебя в игуменьи двигать не желает, чтоб не воскрешать подзабытые слухи про твое латинянское прошлое. Стало быть, пока на Андреевской обители оставляет Янку. Я ее вельми припугнул, но не ведаю, возымеет ли действие. Опасайся каверз. Хочешь, переедешь ко мне вместе с Ваской?

— Нет, благодарю. Я желаю быть ближе к маменьке.

— Может, Васку одну забрать?

— Ох, ни в коем случае! Солнышко мое и отраду! Нет, не дам.

— Ну, смотри, как знаешь. Главное, запомни: я тебе и ей предоставлю всегда и защиту, и кров.

— Да хранит тебя Небо, братец!

Во дворе монастыря Опракса посадила привезенный из Германии желудь. Вскоре он пророс и пустил листочки. Поливала его заботливо, приспособила небольшую лавочку, на которой сидела и, склонившись, разглядывала каждую зеленую жилку. С умилением дума-

ла: «Будто Лёвушка или Катя оживают теперь. Возрождаются и протягивают руки-ветки к солнцу, к нам, оставленным ими. Нет, не прав Герман: смерти нет. Потому что за могилой — не пустота, не отсутствие бытия, а иное бытие, в новых, неожиданных ипостасях. Генрих Длинный, вероятно, поселился в Мурхен Лёва или Катя — в маленьком дубке... Я, возможно, обернусь облачком или жаворонком в небе. Буду петь беспечно, радуя живых. Это ли не счастье?» Улыбалась тихо и при этом невольно плакала. Утирала слезы и улыбалась.

Вновь пришла в келью к Нестору, попросила прощения за прошлые дерзости и сказала, что готова переписывать его «Повесть временных лет» молча и безропотно, просто чтоб занять руки и голову и казаться нужной. Он подумал, подумал, выпятив губу, и простил. Распорядился переписать свиток о ее прадеде, окрестившем Русь. Евпраксия принялась за работу с удовольствием. Ей особенно понравился кусок о самом крещении: «Наутро же изиде Володимер на Днепр, и сошлось там людей без числа. Взошли в воду и стояху там они до шеи, другие до персий, младые же по перси от берега, другие держаще младенци, старшие бродяху, попы же стоящие молитвы творяху. И бяше си видети радость на небеси и на земли, толико душ спасаемых; а дьявол стена глаглюще: «Увы мне, яко отсюда прогоним есмь!» С замиранием сердца Ксюша думала о себе как о маленьком ростке на огромном дереве, имя которому — Рюриковичи. Ствол его — Владимир Святой и сын его Ярослав, а затем пошли ветви, в том числе и Всеволод, а затем Мономах, Юрий Долгорукий и его сын Андрей, а потом и другие дети, вероятно. Пусть она — боковое ответвление, неудачное, пересохшее, но причастность к общему стволу, роду, клану, грела душу; нет, ее муки не напрасны, в чем-то помогли они в одолении зла добром, чтобы меньше было дьявольщины на земле, чтобы больше стало чистоты и покоя.

Вместе с тем план отмщения полностью созрел в ее

голове. В Киеве на базарной площади — Бабином Торжке — у башмачника купила тонкое короткое шило (им обычно протыкают подошву, чтобы пропустить в отверстие дратву) и теперь всегда носила его с собой. Деревянная ручка становилась теплой и влажной от ладони Ксюши. Бывшая императрица поджидала случая, чтобы подойти и вонзить острое Янке в сердце. А потом будь что будет.

Знала, что ее осудят за это. И митрополит, и князь, и княгиня-мать. Знала, что, скорее всего, предстоит ей ссылка в дальний монастырь. И наверняка больше никогда она не увидит Васку. Но оставить бедную Катю неотмщенной не могла тоже. Вопреки всему, даже здравому смыслу.

Часто приходила в Софийский собор, во Владимирский неф, где располагалась Великокняжеская усыпальница с саркофагами деда и бабушки — Ярослава Мудрого и Ирины-Ингигерды, батюшки — Всеволода Ярославича, брата — Ростислава Всеволодовича. Опускалась на колени, гладила рукой проконесский мрамор с вырезанными крестами и солярными знаками²³. Говорила вполголоса:

— Тятенька родимый, ты прости меня. Это я, твоя дочка непутевая, глупая, греховная... Погубила свою судьбу и моих любимых. По моей вине ослепили Манефу, умерли Горбатка и Паулина, мой сыночек Лёвушка, отравили келейника Феодосия, сбросили в колодец Катю Хромоножку... Обвинила мужа на соборе в Пяченце и тем самым обрекла его на анафему... Горе мне! А теперь замыслила сестроубивство... Понимаю, что не должна, понимаю, что богомерзко, но наставь, научи — как мне поступить? Разве можно смириться с тем, что она, Янка-греховодница, ходит по земле безнаказанно? Ведь митрополит ничего не сделал, князь сказал, что «не пойман — не вор»... А душа болит! Не могу простить. Сил моих не хватает на христианское всепрощение. Покараю ее, а затем сама приму сколь угодно тяж-

кую кару Господню. — Утирала слезы и вопрошала: — Или отступить? Кровью не сквернить руки? — Ничего не решив, покидала собор в смятении.

Наступила осень, а удобный для отмщения случай не представлялся. С Янкой виделась только раз — на крещении новорожденной дочери Святополка, но игуменья стояла в храме в плотном кольце своих инокинь-приспешниц, так что подобраться к ней было невозможно. Постепенно горечь от утраты Екатерины делалась не такой пронзительной, а сомнения в правильности выбранного плана с каждым днем нарастали, но Опракса упорно продолжала не расставаться с шилом. Так, на всякий случай. Если не убить, то себя защитить, коли нападут.

И однажды, накануне Покрова Пресвятой Богородицы, принесли ей грамотку из Андреевской обители. Раскатав пергамент, Евпраксия прочла:

«Низкий поклон сестре Варваре, многие тебе лета! Пишет келейница Харитина, по желанию матушки игуменьи. Находясь при смерти и соборовавшись, приглашают они к себе, чтоб с тобою проститься, отпустить друг другу обиды и отправиться в мир иной с легким сердцем. Ждет тебя ныне пополудни».

Не поверив ни единому слову, Ксюша побежала к игумену Феоктисту. Тот прочел записку и сказал спокойно:

— Что ж, иди, простишь, дело благородное.

— Разве ж я о том! Не слышал, владыка, в самом деле она больна?

Он задумался:

— Нет, не слыхивал. Более того, видел Янку третьего дня у митрополита.

— Что, здоровую?

— Совершенно в силе.

— А, вот видишь! Ложная цидулька-то.

— Полагаешь, что обманывает тебя?

— Я не сомневаюсь.

- Ну, тогда не ходи, поостерегись.
- Да, а вдруг правда при смерти? Всякое бывает.
- Ну, тогда не знаю, что и присоветовать.
- Я решила пойти. Но предупреждаю, что возьму оружие. Для возможной собственной защиты.

Настоятель оторопел:

- Это что еще за оружие? Ты чего городишь?

Евпраксия вытащила из-под накидки шило:

- Это вот.

Феоктист, смягчившись, расплылся:

- Это можно. Это ничего, им убить не просто, а пугнуть — пожалуй.

— Коли что случится, знай уж наперед: занесла на другого руку в виде обороны.

Преподобный перекрестился:

- Сохрани Господь. Может, обойдется.

Накануне ухода долго простояла под образами, осеня себя крестами без счета. Всмотривалась в лик Пресвятой Богородицы, освещаемый оранжевым пламенем лампадки. Пламя слегка подрагивало порою, и казалось, будто Дева Мария ей кивает. И Христос-младенец, воздевая руку с поднятыми средним и указательным пальцами, вроде совершает благословение. Ксюша произнесла: «Господи, спаси!» — и склонилась в земном поклоне. А потом быстро поднялась, оглядела келью — полный ли порядок? — мысленно прощаясь, словно уезжала надолго, и поспешно вышла, завернувшись в шерстяную накидку.

В Киев шла пешком. Вдоль Днепра на север, мимо Берестова и Владимирской горки, а затем налево, по Андреевскому спуску наверх, к Янчину монастырю. Небо было серое, тучи плавали низко, и казалось, природа хмурится, наблюдает с неодобрением за творящимися событиями, но не застит путь, не швыряет ветер и дождь в лицо, разрешает действовать на свое усмотрение.

Харя при ее появлении вышла из покоев, начала моргать часто-часто и трындеть вполголоса:

— Ох, какое счастье, что ты пришла! Мы уже не чаяли. Посчитали — не снизойдешь, не уважишь, не посетишь.

— Как сестрице-то — плохо, нет?

— Хуже не бывает. Обморок случился третьего дни, полетела с лестницы кубарем вниз, стукнулась головушкой. В чувство привели, слава Богу, но с тех пор лежит, временами впадает в небытие и не ест, не пьет.

— Лекарь посмотрел?

— Что он понимает! Из поляков — нехристь. Кровь пустил, и всё. Только денег взял за пустые хлопоты.

— Говоришь, что соборовалась?

— Да, решила. Ежели чего — Богу душу отдать благословленной. И с тобой, значит, попрощамшись.

— Ладно, я не против. — Впрочем, до конца Харитине не поверила.

В полутемной келье Янка лежала на обычной деревянной кровати без балдахина, под простым бурым одеялом из верблюжьей шерсти. Видеть ее без клобука было непривычно. У игуменьи оказались жидкие пепельные волосы: сразу не поймешь — то ли от природы такие, то ли поседевшие. Заострившийся нос выглядел крупнее обычного. Щеки провалились. Посмотрев на вошедшую грустными глазами, настоятельница сказала тихим голосом:

— Дождалась-таки... Проходи, Варвара, сядь у изголовья. Харитина, выйди и оставь нас наедине.

Поклонившись, келейница выскользнула за дверь.

Евпраксия опустила на табуретку и впервые почувствовала жалость к сестре. Та была такая беспомощная, одинокая, неприкаянная, неуверенная в себе. У Опраксы даже ослабли пальцы, что сжимали деревянную рукоятку шила под накидкой. И спросила не без нотки участия:

— Как ты, матушка?

Та ответила с горьким вздохом:

— Умираю — видишь? И желаю с тобой простить-

ся. У меня из родных — только ты да брат, Мономах Володя. Но за ним посылать — далеко и хлопотно; недосуг ему. А с тобой же проще.

Сводная сестра возразила:

— Может, не умрешь, погоди. Оклемаешься — встанешь.

— Нет, я чувствую. Силы угасают. Жить не хочется. Посему желаю попросить прощения за доставленные тебе в прошлом неприятности... Помню, увидав тебя в люльке в первый раз, сразу же подумала с болью в сердце: «Ах, как хороша! Ангел, а не крошка! И теперь отец будет уделять ей больше любви и ласки, чем другим своим детям, в том числе и мне». Так оно и вышло... К Хромоножке не ревновала, нет, — что с нее, убогой, возьмешь? А тебя терпеть не могла. За твою неземную красоту, за приветливость, ангельский характер. За твое раннее замужество... А когда ты вернулась из Германии, поякшавшись с хриstopродавцами, ненависть с презрением вспыхнули опять... И никак не могла с собой сладить...

— Это дьявол тебя настраивал.

— Уж не знаю кто. Но в моей душе ты носила прозвище одно — сука-волочайка.

— Знаю, знаю.

— Сможешь ли простить?

— Постараюсь. — Ксюша помолчала. — За твое отношение ко мне я прощу, конечно. Бог велел прощать. И не я, но Он взвесит на весах все твои дела и поступки. Гибель Серафимы и Кати. Отравление келейника Феодосия. Ослепление несчастной Манефы. Странную болезнь Васки... Пусть решает Он. Бог тебе судья.

Янчино лицо исказилось от боли:

— Ты несправедлива, сестра. Чересчур злопамятна.

— Да, пока на память не жалуюсь. И забыть все твои злодеяния — означает предать близких мне людей.

— Стало быть, не веришь в мое покаяние?

— Верю, почему. Ты страшишься геенны огненной и поэтому замаливаешь грехи.

— И не стыдно препираться у смертного одра?

— Я не препираюсь. Просто воздаю тебе должное.

Приподнявшись на локте, старшая воскликнула:

— По какому праву? Или про тебя сказано: «Мне отмщение, и аз воздам»? Что-то сомневаюсь!

Евпраксия вскочила:

— Уж не притворяешься ли ты умирающей? — и опять под накидкой стиснула ручку шила.

Янка села:

— Я — пожалуй. Истинно другое: в этой келье кто-то нынче наверняка умрет.

— Уж не я ли? — и Опракса попятилась к двери. И отпрянула, потому что сбоку возникла Харитина. У нее в руке была рыболовная сетка. — Не посмеете, — глухо проговорила гостья, отступая в угол. — Преподобный Феоктист видел вашу грамотку и предупрежден: коли не вернусь в Печеры до вечера, стало быть, попала в вашу западню.

Но угроза пропала втуне: Харя бросила на нее сетку. Впрочем, неудачно: Ксюша уклонилась и в ячейках запутала только правую руку — с выхваченным шилом.

— Бей ее, души! — крикнула игуменья, в бешенстве стуча кулаками по одеялу.

Харитина накинута на приговоренную к смерти и вцепилась ей в горло. У Опраксы перехватило дыхание и поплыли перед глазами круги. Захрипела, задержалась, сбрасывая с десницы намотанную сеть. Наконец кисть освободилась, и с размаху бывшая жена германского императора что есть силы вонзила шило в левое бедро нападавшей. Та от неожиданности взвыла, расцепила пальцы и рухнула на колени.

Евпраксия рванулась к выходу, но сестра не дала ей скрыться: прыгнула с кровати и ударила в лицо сдернутым с одра одеялом. Младшая упала, выпустила шило, и оно укатилось к плинтусу. Янка в это время под-

няла табуретку и сиденьем обрушила на голову несчастной. Та едва успела дернуться в сторону, подсекла старшую, сбила с ног. Попыталась отползти к двери, но, увы, не смогла, схваченная за лодыжку келейницей, справившейся с болью. Началась всеобщая свалка, — две против одной, — Ксюша каталась с Янкой по полу, Харитина подняла шило и пыталась ударить им соперницу в голову, но никак не могла попасть.

Более цепкая игуменья придавила монашку локтем, начала душить. Харя отвела руку с шилом, целя посреди лба. В этот миг Опраксе удалось крутнуться на полу и подмять под себя сестру. А келейница ударила по инерции, не успела отреагировать, и разящее жало оказалось у Янки в правом глазу. Кровь и слизь брызнули во все стороны. От ужасного вопля дрогнули покои. Но секундного замешательства оказалось достаточно, чтобы Евпраксия вскочила и выбежала наружу.

В порванной, измятой одежде, поцарапанная, расстрепанная, чуть ли не скатилась по лестнице, вырвалась на воздух, набрала его полной грудью, еле-еле перевела дыхание и опять бросилась бежать — из Андреевской обители вон.

Только на Владимирской горке понемногу пришла в себя. Села на холодную, высохшую траву, голову обхватила руками и заплакала в голос. Чувствовала, что от этого ей становится легче. Утирала слезы руками. Всклипывала, стонала: «Господи Иисусе! Благодарна Тебе за всё. Ты меня защитил. Значит, правда на моей стороне. Катя отмщена, и на мне, к счастью, нету крови. Слава Богу! Но при том — как же тяжело! Почему так невыносимо плохо, Господи?!» Постепенно рыдания ее стали тише. Ксюша заплела волосы, скрыла под накидкой, обернулась ею потуже и, перекрестясь, поспешила в Печерский монастырь.

Не прошло и часа, как она предстала перед игуменом. Тот, увидев лицо несчастной — в синяках, ссадинах и шишках, прямо обомлел. А узнав о случившемся,

не поверил своим ушам. Повторял: «Чтобы матушка настоятельница так себя вела? Да на ней креста нет!» — «Истинно, что нет», — подтверждала избитая. Наконец Феоктист сказал:

— Я страшусь иного: как бы не обвинили тебя в злодействе — что не Харитина, а ты выколола Янке глаз!

У Опраксы вытянулось лицо:

— Точно, обвинят... Но ведь ты, владыка, вступишься за меня? Я тебе письмо показала, шило тож и предупредила, что беру его, дабы оборонить свою жизнь.

— Помогу, конечно. Но готовься к тяжкому разбирательству. Шило-то твое. И еще не известно, как митрополит дело повернет.

Восемь месяцев спустя, Киев, 1109 год, лето

Нет, на удивление, Янка подавать жалобу не стала. Появлялась на людях с черной повязкой на вытекшем глазу, объясняя происшедшее неприятной случайностью. Но с тех пор видели ее редко, Ксюша вообще только раз — на торжественном освящении церкви Пресвятой Богородицы на Клове. Стоя за спинами монахов, наблюдала за сестрой исподволь: та как будто бы пожелтела вся, руки и лицо сделались из воска, губы сжаты вроде бы от боли. Ксюша произнесла мысленно: «Господи Святый Боже, помоги ж ей справиться с собственными муками. Как она страдает! Вырви ее из рук вражеских!» — и покинула церковь раньше времени, дабы не столкнуться с игуменьей лицом к лицу.

Зиму и весну провела спокойно — в переписывании «Повести временных лет», в изучении древних книг и в молитвах, посещала Вышгород, где подолгу с удовольствием занималась с Ваской, ужинала с матерью.

Васка развлекала их пением. По весне смотрели с городской стены, как трещат и ломаются льдины на реке, устремляются из Десны в Днепр; веял свежий ветер, наполняя сердце робкими надеждами. Иногда Евпраксия думала: «Ну а как Герман выполнит свое слово и, похоронив Генриха, явится на Русь, пригласит к себе? Что ему ответить? Может быть, дерзнуть и поехать? Васку взять с собою, а потом отдать ее в обучение в Кведлинбург? Провести старость в тихом замке, вдалеке от тревог и волнений? Было бы, конечно, заманчиво... — Но потом, вздохнув, заключала: — Вряд ли он приедет. Так что и мечтать нечего».

В первых числах лета со случайной оказией отослала в Переяславль брату Мономаху письмо. После традиционных приветствий, пожеланий здоровья и поклонов — от княгини-матери, от себя и Васки — высказала просьбу: коли будет он в Киеве, вместе с нею заглянуть в Андреевский монастырь, чтобы посетить Катину могилку; Евпраксии одной идти боязно, а другого провожатого нет. Мономах письмом сестре не ответил, но велел передать словами, что сопроводит непременно.

Он приехал 10 июля, шумный, говорливый, и привнес в ее келью запах конского пота, сырмятной кожи, сорванной полыни. В бороде и на висках у него пробивалась первая седина, придавая лицу больше благообразия и солидности. Впрочем, улыбался и смеялся, как прежде. Видимо, был счастлив в новом браке, потому что отзывался о своей молодой супруге с нежностью. Тормошил Опраксу:

— Ну, живей, поехали, мне на всё про всё Святополком дадено несколько часов, вечером совет по делам военным.

Собралась мгновенно, только срезала букетик в монастырском саду и предупредила келейника, что уходит с братом. Посадили Ксюшу на коня одного из мечников, впереди седла, и стремглав поскакали к Киеву. Только пыль из-под копыт стояла столбом.

На погосте Янчиной обители было тихо и грустно. Подошли к Катиной плите, опустились на колени и помолились. Возложили цветы. Постояли в молчании. Помянули усопшую — накануне годовщины ее гибели.

Неожиданно на тропинке показалась монашка, начала кланяться и отрывочно бормотать, так как задыхалась от бега:

— Батюшка родимый... Володимер свет Всеволодыч... разреши слово молвить...

— Говори скорей — что еще стряслось?

— Матушка-владычица просят тебя к себе. Как узнали, что ты в гостях, сразу же послали привесть.

— И сестру Варвару?

— Нет, насчет нея распоряжений не было.

Мономах повернул к Евпраксии голову:

— Я пойду проведу, а тебе советую перейти под охрану гридей²⁴ моих, подождать за воротами.

Ксюша согласилась:

— Хорошо, Володечка. Лишь чуть-чуть побуду на могилке одна, а потом тотчас перейду.

— Но смотри — не медли. — Он пошел за монашкой торопливо. По ступенькам легко взбежал.

Янчин вид неприятно поразил князя: очень постарела, прямо высохла, быстро превратившись в старуху (а ведь ей еще не было шестидесяти!), и рука, державшая посох, чуть заметно дрожала, а лицо с повязкой на глазу выглядело хищно. Не сказав ни слова, только покивала на приветствия брата. Он нетерпеливо спросил:

— Для чего звала?

Та пожала плечами:

— Просто повидаться. Или мы чужие?

— К сожалению, не чужие.

— Что, родство со мной для тебя прискорбно?

Он перекатил желваки на скулах:

— Более чем прискорбно. Я тебе сказал: Катину кончину не прощу никогда. И попытку покалечить Опраксу...

Женщина воскликнула:

— Я — ея?! — и в негодовании ткнула пальцем в черную повязку. — Кто кого покалечил?!

Мономах ответил покойно:

— Говорят: не рой другому яму — сам в нея попа-
дешь.

Янка отвернулась:

— Не ко мне относится, а наоборот — к суке-воло-
чайке.

— Ты про что?

— За свои дела мерзкие попадет-таки в яму.

— Не позволю.

— Ты не Бог, бо не вездесущ.

— Я не Бог, но и ты не дьявол! Впрочем, может, дьявол?.. Коли так — опасайся кары Господней. — И, не попрощавшись, вышел из покоев игумены.

А она, взглянув единственным глазом вслед Влади-
миру, прошептала:

— Может быть, и дьявол... кто знает?.. Коли Бог всемогущ, почему не желает с дьяволом разделаться? Отчего допускает зло? Получается, не всемогущ? Или зло необходимо Добру? И без зла — Добро не Добро? — Опершись на посох, села на скамью. — Коли всё предопределено, значит, Бог, создавая Еву, знал уже о перво-
родном грехе? Для чего это было нужно Ему? — Помолчала и заключила: — Но не приведи Господь — сядет вдруг на Киевский стол брат Володечка... Спуску мне не даст, отомстит за всех, изведет, заест... Лучше руки на себя наложить...

(И ведь наложила, уточним в скобках: в 1113 году, сразу после смерти князя Святополка и торжественно-го въезда Мономаха в Киев, выпила отраву...)

Между тем Владимир, выйдя из палат настоятель-
ницы и чувствуя недоброе, поспешил за ворота, чтобы убедиться: с Евпраксией ничего не случилось в его от-
сутствие. Выбежав, окинул взором дружинников и, не-
вольно вздрогнув, произнес незнакомым голосом:

— Где она?

Гриди его не поняли:

— Ты о ком толкуешь, батюшка, мой свет?

— Где моя сестра?

— Так с тобою же отправилась в монастырь!

— Что, не выходила?

— Да когда же? Нет, не появлялась.

Он опять бросился в ворота, побежал к погосту. Мысленно молил: «Господи, Господи, прошу! Лишь бы ничего не случилось. Сохрани ея! Ангелочка нашего, солнышко, былиночку!» И увидел издалека распостертое тело на земле. И, не чуя ног, приблизился, опустился на колени, заплакал.

Евпраксия лежала вполоборота, запрокинув голову, с выражением удивления на прекрасном лице. А из переносицы, посреди бровей, у нее торчала деревянная ручка шила.

Мономах коснулся Ксюшиной ладони — все еще тепловатой, влажной. И поцеловал. И закапал ее запястье слезами. С болью произнес:

— Душенька, прости, что не спас!..

А трава у могильных плит слабо колебалась от июльского ветерка, вроде бы сочувствуя князю. Ярко-красные розы, точно капли крови, на надгробии Кати алели. Капля крови алела и на Ксюшиной переносице. Мертвые затягивали живых. Мертвых становилось все больше. И никто не мог помешать этому печальному шествию.

А спустя три дня летописец Нестор, тяжело вздыхая и бубня в вислые усы, внес в свои анналы следующие строки:

«Преставися Евпраксия, дщи Всеволожа, месяца иулия в 10 день, и положена бысть в Печерском монастыре у дверей, яще к югу. И сделаша над нею божницу, идеже лежит тело ея».

Провожали Опраксу в последний путь очень многие: Святополк заехал с митрополитом и близкими боя-

рами, тысяцкий Путята Вышатич, Мономах привез из Вышгорода мать-княгиню и Васку. Феоктист привел множество монахов. Только из Андреевской обители никого не было — те, кто любил покойную, не пошли, побоявшись навлечь на себя гнев игуменьи.

Мать-княгиня плакала и шептала:

— Тэвочки моя... На кого меня бросил, почему оставил? Всё я потерял: муж-супруг, сын и дочери... Больше жить нельзя. Надо уходить вслед за ним...

Плакала и Васка. Про себя твердила: «Ненавижу их! Всех и каждого в этом городе! Вырасту — уеду в Германию. Не желаю жить среди тех, кто убил мою дорогую маменьку!»

А Владимир думал: «Отчего так несправедливо устроен мир? Не успеешь одолеть одних супостатов, как на смену возникает вдвое больше новых. И в борьбе гибнут только лучшие. Бедная сестренка! Сколько довелось тебе пережить! На три жизни хватит! Но теперь, я надеюсь, ей легко и привольно. Встретилась в раю с мужем и ребенком, пребывает в радости. Царство ей Небесное! Ангелом была на земле — и на небе оказалась вместе с ангелами!»

Колокол звонил на Успенском соборе. Этот звон несся над Днепром, возвещая, что еще один человек из семейства Рюрика приобщился к вечности, а деяния его — суть уже история.

Два года спустя,
Киев, 1111 год, лето

Феоктисту доложили:

— Прибыл из Неметчины ихний латинский архиепископ, прозывается Герман, спрашивал сестрицу Варвару. А узнав, что давно преставилась, плакал, сокрушаясь зело. И хотел посетить ближние пещеры, где ея могилка. Дать ли дозволение?

Настоятель ответил:

— Сам сопровождаю.

Вышел из покоев и увидел гостя: совершенно седого, с мелкими морщинами по всему лицу, покрасневшими веками. Обратился к нему на латыни, обменявшись приветственными словами, задал вопрос:

— Коли не секрет, с чем пожаловали на Русь?

Герман не скрывал:

— С вестью доброй для покойной Варвары: после всех перипетий удалось нам захоронить Генриха Четвертого в Шпейерском соборе.

— Поздравляю. Мне сестра рассказывала о том. Как сие случилось?

— Генрих Пятый выступил походом в Италию, и, во избежание поражения, Папа Пасхалий согласился на ряд уступок. Он короновал короля императором Священной Римской империи и при этом снял анафему с прежнего правителя. Молодой же Генрих согласился в ближайшем будущем отказаться от права инвеституры — то есть назначать епископов своей волей, без согласования с Римом. В общем, помирились.

— Жаль, сестра Варвара не узнала про то. Впрочем, вероятно, на небе радуется вельми.

Герман из вежливости кивнул.

Феоктист повел его в ближние пещеры монастыря. Вышли из палат настоятеля, миновали кельи и трапезную, завернули к спуску между двух монастырских стен и по галерее спустились к деревянной однокупольной церкви. Из нее попали в другую, Антониеву церковь, расположенную уже под землей, рядом с захоронением основателя монастыря — Святого Антония, имя которого только-только было включено в священный синодик²⁵. Здесь же, неподалеку от дверей, Герман увидел горящую лампадку под иконой Пресвятой Богородицы с Младенцем, а внизу — замурованную нишу с надписью кириллицей. Немец прочитать не сумел и спросил на латыни:

— Здесь?

— Да, — ответил сопровождающий и перекрестился.

Гость перекрестился на свой манер — всей ладонью, встал на колени и поцеловал известковую стену. Прошептал по-немецки:

— Извини, Адель, что не смог пораньше. Но теперь всё уже улажено. Спи спокойно. — И погладил с нежностью грубые шероховатые камни. Поклонился и заключил: — Ничего, ничего. Я уж как-нибудь. Я уже привык. — Встал с колен и снова перекрестился.

А потом Феоктист привел его к молодому дубу, росшему за Успенской церковью. И сказал:

— Это посадила она. Хорошо прижился.

— Можно мне побыть одному недолго? — чуть застенчиво посмотрел на игумена архиепископ.

— Несомненно, святой отец. Сколько захотите. Если я понадобится — буду у себя.

Герман сел на маленькую скамеечку, подбородок подпер руками и заботливо стал разглядывать деревце. Мягко улыбался, что-то произносил невнятное и слегка кивал.

День стоял нежаркий, белые кудрявые облака иногда прикрывали солнце, словно щекотали его, остро пахло сеном, по дорожкам монастыря иногда проходили иноки по своим серьезным делам, а листочки дуба, сочные, зеленые, беззаботные, молодые, радовались свету, теплу, покою, жизни.

Герман выдохнул:

— Жизнь продолжается... — Помолчал и добавил: — Пусть другая. Но жизнь, жизнь!

Вновь повисла тишина, и, о чем-то вспомнив, он заметил:

— Тихий ангел пролетел... Ангел по имени Адельгейда... Ах, куда же ты улетела, ангел мой?!

Киев готовился к Троице.

Русь готовилась к славному княжению Владимира Мономаха.

До рождения его правнука, Александра Невского, оставался век с небольшим.

КОММЕНТАРИИ

Михаил Казовский родился в Москве в 1953 году. Закончил факультет журналистики Московского университета. Свою творческую биографию начинал как сатирик — работал редактором в журнале «Крокодил», издал семь авторских сборников пародий, фельетонов, рассказов и стихов; его комедии «Новый Пигмалион» и «Каскадер» ставились в семи театрах СНГ; по произведениям Казовского сняты художественные фильмы «Внимание: ведьмы!» (Одесская киностудия) и «Личная жизнь королевы» («Мосфильм»).

С 90-х годов Михаил Казовский увлекся исторической прозой и драматургией: отдельными книгами вышли его романы «Дочка императрицы» (о крещении Руси), «Золотое на черном» (о галицком князе Ярославле Осмомысле) и трагикомедия «Поцелуй Джоконды» (сцены из жизни Леонардо да Винчи).

М. Казовский — лауреат нескольких литературных премий, в том числе в ФРГ (1991 год).

Исторический роман «Мечь Адельгейды» — новое произведение писателя.

¹ *тысяцкий* — военный предводитель городского ополчения (тысячи).

² *комуз* — трехструнный щипковый музыкальный инструмент.

³ *маркграф* (нем. Markgraf) — буквально граф Марки, в Средние века владетель феодального княжества.

⁴ *летник* — платье с длинными широкими рукавами, иногда разрезными.

⁵ *гарцун* — слуга, пробовавший все вина и блюда, чтобы предотвратить отравление императора.

⁶ *Унгрия* — русское название Венгрии.

⁷ *домино* — шелковый плащ с капюшоном.

⁸ *донжон* — отдельно стоящая главная башня феодального замка.

⁹ *граппа* — виноградная водка.

¹⁰ ...*альбигойцев, николаитов, трубадуров, катаров* — еретические движения в Западной Европе XI–XIII вв.

¹¹ *тамплиеры* — члены католического духовно-рыцарского ордена, основанного в Иерусалиме ок. 1118–1119 гг.

¹² «*Велесова книга*» — священное писание древних славян; была вырезана на буковых дощечках в VIII–IX вв. новгородскими жрецами и посвящена богу Велесу (Волосу) — покровителю скота, богатства и торговли.

¹³ *гишпанцы* — испанцы.

¹⁴ *ляхи* — поляки.

¹⁵ *целибат* — обязательное безбрачие католического духовенства.

¹⁶ *фогт* — в Средние века в Западной Европе должностное лицо, ведавшее административным округом (крупный феодал).

¹⁷ *Ego conjungo vos in matrimonium in nomine Patris, et Filii, et Spiriti Sancti.* — Я соединяю вас в супружестве во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа! (*лат.*)

¹⁸ *лен* — земельное владение, которое жаловалось королем в пожизненное пользование.

¹⁹ *инсигнии* — знаки высшей власти.

²⁰ *Stuotgarten* — кобылиный сад.

²¹ В XI–XII веках за право инвеституры происходила борьба между императорами Священной Римской империи и римскими папами.

²² *иерофант* — проповедник.

²³ *солярные знаки* — символические изображения Солнца.

²⁴ *гриди* — княжеские дружинники.

²⁵ *синодик* — списки для церковного поминовения.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

Не ранее 1069 г. — рождение Евпраксии. Отец — великий князь Киевский Всеволод Ярославич, мать — половецкая княжна Анна.

1083 г. — Евпраксию сватают за немецкого маркграфа Генриха Длинного. Она едет в Германию и начинает учебу в монастыре в Кведлинбурге.

1085 г. — знакомство Евпраксии с императором Генрихом IV у его сестры-аббатисы. Свадьба Евпраксии (в католичестве — Адельгейды) и Генриха Длинного.

1087 г. — внезапная смерть Генриха Длинного. Генрих IV делает Адельгейде предложение руки и сердца.

1088 г. — обручение Адельгейды и императора.

1089 г. — свадьба Генриха и Адельгейды.

1090 г. — поход Генриха IV в Италию.

1091 г. — переезд Адельгейды с новорожденным сыном Леопольдом в Верону.

1092 г. — неудачная попытка бегства из Вероны. Смерть маленького Леопольда.

1093 г. — бегство из Вероны в Каноссу, к Матильде Тосканской. Известие о смерти Всеволода Ярославича — отца Адельгейды-Евпраксии.

1094 г. — церковный собор в Констанце (Швабия), поддержавший жалобы Адельгейды на императора. Ее встреча с Папой Римским Урбаном II.

1095 г. — церковный собор в Пьяченце (Италия), давший развод императрице и отлучивший Генриха IV от церкви. Адельгейда поселяется у своего пасынка — короля Италии Конрада.

1097 г. — Адельгейда-Евпраксия едет в Венгрию.

1099 г. — возвращение на Русь.

1105 г. — отречение Генриха IV.

1106 г. — кончина Генриха IV. Пострижение Евпраксии в монахини.

1108 г. — смерть Катерины — младшей сестры Евпраксии.

1109 г., 10 июля — смерть Евпраксии.

1111 г. — захоронение Генриха IV в Шпейерском соборе. Смерть княгини Анны, матери Евпраксии.

1113 г. — вокняжение в Киеве Владимира Мономаха, старшего брата Евпраксии. Смерть игуменьи Янки, ее старшей сестры.

СОДЕРЖАНИЕ

Евпраксия Всеволодовна. <i>Биографическая статья</i>	5
М. Казовский. МЕСТЬ АДЕЛЬГЕЙДЫ	
<i>Исторический роман</i>	7
Комментарии	426
Хронологическая таблица	428

Литературно-художественное издание

Михаил Григорьевич Казовский
МЕСТЬ АДЕЛЬГЕЙДЫ

Исторический роман

Ведущий редактор *А. В. Варламов*
Художественный редактор *О. Н. Адаскина*
Технический редактор *Е. П. Кудиярова*
Корректор *И. Н. Мокина*
Компьютерная верстка *Е. Л. Бондаревой*
Компьютерный дизайн *Ю. А. Хаджи*

ООО «Издательство АСТ»
667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, 93

ООО «Издательство Астрель»
129085, Москва, проезд Ольминского, 3а

Наши электронные адреса: www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru

ООО «Транзиткнига»
143900, Московская обл., г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 7/1.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.